

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

Научный журнал

2016

№ 3 (41)

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.

Журнал входит в "Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук", Высшей аттестационной комиссии



***Редакционная коллегия журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»***

Т.А. Демешкина (Томск, Россия) –
главный редактор
И.А. Айзикова (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Ю.М. Ершов (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Д.А. Катунин (Томск, Россия) – отв.
секретарь
П.П. Каминский (Томск, Россия) –
зам. отв. секретаря
К.В. Анисимов (Красноярск, Россия)
Е.В. Иванцова (Томск, Россия)
В.С. Киселев (Томск, Россия)
Т.Л. Рыбальченко (Томск, Россия)
В.А. Суханов (Томск, Россия)

***Editorial Board of the
Tomsk State University
Journal of Philology***

T.A. Demeshkina (Tomsk, Russia) – Editor-
in-Chief
I.A. Aizikova (Tomsk, Russia) – Deputy Edi-
tor-in-Chief
Yu.M. Yershov (Tomsk, Russia) – Deputy
Editor-in-Chief
D.A. Katunin (Tomsk, Russia) – Executive
Editor
P.P. Kaminskiy (Tomsk, Russia) – Deputy
Executive Editor
K.V. Anisimov (Krasnoyarsk, Russia)
Ye.V. Ivantsova (Tomsk, Russia)
V.S. Kiselev (Tomsk, Russia)
T.L. Rybalchenko (Tomsk, Russia)
V.A. Sukhanov (Tomsk, Russia)

***Редакционный совет журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»***

Дж.Ф. Бейлин (Стоуни-Брук, США)
Е.Л. Варганова (Москва, Россия)
Н.Д. Голев (Кемерово, Россия)
Е.А. Добренко (Шеффилд, Великобритания)

М.Н. Липовецкий (Боулдер, США)
З.И. Резанова (Томск, Россия)
И.В. Силантьев (Новосибирск, Россия)
С.Л. Фрэнкс (Блумингтон, США)
Т.В. Шмелева (Великий Новгород, Россия)
А.С. Янушкевич (Томск, Россия)

***Editorial Council of the
Tomsk State University
Journal of Philology***

J.F. Bailyn (Stony Brook, United States)
Ye.L. Vartanova (Moscow, Russia)
N.D. Golev (Kemerovo, Russia)
E.A. Dobrenko (Sheffield, United King-
dom)
M.N. Lipovetsky (Boulder, United States)
Z.I. Rezanova (Tomsk, Russia)
I.V. Silantev (Novosibirsk, Russia)
S.L. Franks (Bloomington, United States)
T.V. Shmeleva (Veliky Novgorod, Russia)
A.S. Yanushkevch (Tomsk, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

Блохин А.В. Словообразование конкретных существительных с продуктивными суффиксами в новгородских берестяных грамотах XI–XIV вв.	5
Кравченко А.В. Эпистемологическая ловушка языка.....	14
Нелюбина М.С., Богоявленская Ю.В. Абсолютная причастная конструкция и смежные явления во французском языке	27
Резанова З.И., Скрипко Ю.К. Личность в среде дискурса: языковая репрезентация социально-психологических типов (на материале дискурса виртуальных фан-сообществ музыкальной направленности).....	37
Твердохлеб О.Г. Общая грамматическая характеристика конструкций с совокупным субъектом при глаголах соединения	57
Толстик С.А. Национальный образ внешности: к истории и этимологии русского диалектного прилагательного <i>букатый</i>	66
Чернявская В.Е. Прошлое как текстовая реальность: методологические возможности лингвистического анализа исторического нарратива.....	76
Якоба И.А. Модусная ориентированность при интерпретации событий-аттракторов медийного дискурса (на примере ситуации крушения самолета MH17 Malaysia Airlines).....	88

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Жучкова А.В. Изучение подсознательной составляющей поэтической речи О. Мандельштама	96
Козлов А.Е. Формы и образы времени в произведениях Н.Д. Хвощинской и В.А. Слепцова	106
Плеханова И.И. Книга «Сибирь, Сибирь...» В. Распутина как лирико-философско-публицистический трактат	115
Рыбальченко Т.Л. Роман А. Иличевского «Матисс» в контексте романа А. Платонова «Счастливая Москва»: антропологический аспект	135
Седельникова О.В. Литература и живопись в художественной критике А.Н. Майкова Статья первая. Основы сближения словесного и изобразительного искусств в критическом наследии А.Н. Майкова	156
Фаритов В.Т. Память и историчность как экзистенциальные мотивы пушкинской поэзии (Пушкин и Ясперс).....	170
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	181

CONTENTS

LINGUISTICS

Blokhin A.V. The formation of concrete nouns with productive suffixes in the Novgorod birch bark letters of the 11th–14th centuries.....	5
Kravchenko A.V. The epistemological trap of language.....	14
Nelyubina M.S., Bogoyavlenskaya Yu.V. The absolute participial construction in the French language and the adjoining phenomena	27
Rezanova Z.I., Skripko Yu.K. Personality in the medium of discourse: linguistic representation of psychological types (based on the discourse of virtual music fan communities).....	37
Tverdokhlebo O.G. General grammatical characteristics of structures with a combined subject of verbs denoting connection.....	57
Tolstik S.A. The national image of appearance: the history and etymology of the Russian dialectal adjective <i>bukaty</i>	66
Chernyavskaya V.E. Historical past as a textual reality: a linguistic approach in the historical narrative and its methodological implementation.....	76
Iakoba I.A. Modus orientation in cases of interpretation of media discourse events-attractors (a case study of Malaysia Airlines Flight MH17 crash).....	88

LITERATURE STUDIES

Zhuchkova A.V. The study of the subconscious component of O. Mandelstam's poetry	96
Kozlov A.E. Forms and types of the “provincial chronotope” in the Russian novels of the 19th century (V. Sleptsov and N. Khvoshchinskaya)	106
Plekhanova I.I. <i>Siberia, Siberia</i> by Valentin Rasputin as a lyrical-philosophical journalistic treatise.....	115
Rybalchenko T.L. A. Il'ichevsky's <i>Matisse</i> in the context of A. Platonov's <i>Happy Moscow</i> : an anthropological aspect.....	135
Sedelnikova O.V. Literature and pictorial art in A.N. Maikov's artistic criticism. <i>Article One</i> : The ground for oral lore and pictorial art rapprochement in A.N. Maikov's critical legacy.....	156
Faritov V.T. Memory and historicity as existential motifs of Pushkin's poetry (Pushkin and Jaspers)	170
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS	181

ЛИНГВИСТИКА

DOI: 10.17223/19986645/41/1
УДК 821.161.1'0.09:81

А.В. Блохин

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ КОНКРЕТНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ПРОДУКТИВНЫМИ СУФФИКСАМИ В НОВГОРОДСКИХ БЕРЕСТЯНЫХ ГРАМОТАХ XI–XIV ВВ.

В статье рассматриваются словообразовательные особенности конкретно-предметных существительных с продуктивными суффиксами -ък (-окк) и -ѡѡ(-ѡѡ), которые выявлены в новгородских берестяных грамотах XI–XIV вв. Основное внимание уделяется определению семантики и морфологических признаков производящих слов при сопоставлении с производными и проблеме выявления общих признаков каждой из представленных словообразовательных моделей. Анализ сопровождается уточнением лексических значений отдельных слов древненовгородского диалекта. Ключевые слова: существительное, конкретно-предметное значение, словообразовательный тип, производящее слово, производное слово, словообразовательное значение, новгородские берестяные грамоты.

Русское историческое словообразование – это наименее изученная область исторической грамматики: не определены основные цели, задачи, принципы, методы, методология, источниковедческая база, не выработан единый подход к исследованию, и вследствие этого отсутствует системное описание исторического словообразования как в синхронном, так и в диахронном аспекте. Проведенные ранее исследования охватывают широкий круг проблем русского исторического словообразования, решают многие теоретические и конкретные практические задачи, но все же остается неизученной синхронно-территориальная область словопроизводства, когда главным принципом отбора материала является его территориальное и хронологическое единство. Настоящее исследование словообразования имен существительных в новгородских берестяных грамотах XI–XIV вв. отличается от предыдущих тем, что в проводившихся ранее исследованиях в качестве объекта анализа были использованы словообразовательные модели с каким-либо одним формантом, причем в памятниках с широкой хронологией (например, XI–XVII вв.) [1] и пространной территориальностью (рассматривались факты разных говоров) [2].

Существительные с конкретно-предметным значением – самая обширная группа слов в новгородских берестяных грамотах XI–XIV вв. Здесь представлено разнообразие лексико-семантических групп существительных и множество суффиксальных способов словообразования, среди которых весьма интересными являются производные существительные с суффиксами -к (-окк) и -ѡѡ(-ѡѡ).

Существительные с суффиксом -ък (-окк):

блестка **блестъка** (золотые пронизи для золототканого дела или маленькие металлические пластинки, служившие для украшения) – **блесткѣ** (660) (*прим.* далее в скобках приводятся номера берестяных грамот); **бѣлка** (1) зверек, шкурка; 2) денежная единица) – **бело** (218, 410), **бьль** (223), **áüēī** (52, 410), **чѣтъри бьли** (223); **веревка** **Δ вѣревки** (133); **вѣдерко** **Δ вѣдѣроко** (259); **гвѣздка** (звезда в узоре) – **гвѣздъкѣ** (ст. Руса 8); **гүзка** – **гүска** (330); **десатокъ** – **Ѡ хого десанка** (463); **икүнка** **Δ на довоу икоүнокү** (549); **ковылка** **Δ оү іаковли ковылки** (500), **ковиляке** (42); **коробокъ** (или **коробка**) **Δ в коровки** (413); **колтокъкълатъкъ** (род височной подвески) – **кълатъкъ** **золотыхъ** (335), **кълатъкъ** **цетъири** (355), **во три колтокѣ** (644); **лодка** **Δ лоткү** (249); **лошадка** (или **лошатка**) – **лошаткү** (618); **мордакамърдъка** (денежная единица) – **коротокъхо мородоко** (108); **пелепелъка** **Δ пельпылоке** (774); **празкапразда** (арендная плата) – **празда** (131), **празка** (406), **празкү** (131); **привитка** (какой-то вид одежды) – **привитъкоү** (717); **пшенка** **Δ пшенки** (354); **рыбка** **Δ ривоко** (131); **семокъ** – **семъкү** (532); **списокъ** **Δ списокъ** (53); **сүдокъ** (сосуд) – **соүдок** (660); **түска** (род подати) – **на тѣске** (218); **үрѣзокъ** **Δ Ҫрезъкъ** (710); **үчастокъ** – **Ҫчастокѣ** (724); **үлокъ** (мера количества зерна) – **оүлакъв** (337), **3 үлки** (50), **4 үлки** (50), **13 үлки** (50), **14 үлки** (50); **четвертка** **Δ три четвероткѣ** (492); **шапка** **Δ шалпка** (141) [3].

Существительные с суффиксом -ък (-окк) – это слова мужского (9 производных), женского (17 производных) и среднего рода (1 производное).

Самая представительная группа существительных – слова женского рода, она насчитывает 17 производных и объединяет разные лексико-семантические единицы: во-первых, названия животных (**бѣлъка**, **рыбка**, **лошадка**, **ковылка**); во-вторых, название предметов одежды и различного рода украшений (**шапка**, **блестка**, **привитъка**, **гвѣздка**), название предметов обихода (**веревка**, **икүнка**, **лодка**, **пшенка**), название счетно-денежных единиц (**четвертка**, **мордака**, **бѣлка** (в значении «деньги»). Три существительных (**гүзка**, **пелепелъка**, **түска**) не могут быть объяснены через свои мотивирующие из-за отсутствия или неопределенности лексического значения, хотя формально выглядят как производные с суффиксом -ък (-окк), поэтому их включение в рассматриваемую группу носит лишь условно-потенциальный характер.

Большинство существительных женского рода являются отыменными производными. При отыменном характере словообразования сохраняется грамматический род производящего, при этом в качестве мотивирующих основ выступают, как правило, непроеводные слова (рыба, морда, лода) и лишь в отдельных случаях производные на I ступени словообразования (**ковыла**, **четвертъ**, **лошадь**), т.е. существительные с суффиксом -ък (-окк) являются производными на I или II ступени словообразования.

При сравнении отношений между мотивированными и мотивирующими выделяются два значения суффикса -ък (-окк): во-первых, конкретно-предметное, лишенное модификационности и оценочности; и, во-вторых,

модификационное значение уменьшительности с оттенком субъективной оценочности. Первым обладают такие производные, как **мордка**, **четвертка**, **гвѣздка**, **пшенка**, **бѣлка**, вторым наделены такие производные, как, например, **рыбка**, **лошадка**, **кобылка**, **веревка**, **икунка**, **лодка**, **шапка**. Очевидно, первичным являлось все-таки модификационное уменьшительное значение суффикса **-ѣк (-окк)**, которое вследствие лексических факторов (метафорического переноса при номинации от производящего к производному) конкретизировалось, опредмечивалось, утрачивая семантические связи между производным и производящим (ср. **мѣрда** Δ **мѣрдѣка**, **гвѣзда** Δ **гвѣздѣка**).

Так, для словопроизводства, помимо действия традиционных словообразовательных законов, потребовалось участие вспомогательных, а может быть, решающих лексических тенденций и приемов, т.е. словообразование существительных с конкретно-предметным немодификационным характером значения суффикса **-ѣк (-окк)** может быть расценено как лексикализованное, метафорически опосредованное.

Отглагольные существительные женского рода с суффиксом **-ѣк (-окк)** – это **блестѣка**, **привитѣка**, причем оба слова обозначают предметы одежды или украшения. Значение суффикса в данных производных лишено какого бы то ни было оттенка модификационности и носит конкретно-предметный характер. Однако при близости семантики двух слов словообразование их не отличается такой идентичностью, поскольку **блестѣка**, бесспорно, имеет производящую глагольную основу, а **привитѣка** допускает, очевидно, двойную словообразовательную мотивацию. Оно может восходить как к страдательному причастию прошедшего времени **ѣдѣаѣдѣу**, так и к непосредственно к основе глагола **привити**, при этом словообразование сопровождается наращением основы интерфиксальным элементом **-т-**, который оказывается общей финальной частью производящих основ двух производных. Учитывая лексико-семантическую близость производных, формально-звуковую оформленность финальной части производящих при возможной грамматической разнице производящих, можно сделать вывод, что в данном случае уместно использовать термин «формально-семантический словообразовательный тип». Структурно-семантические различия мотивирующих баз выражаются еще и в том, что производящие глаголы обладают набором разных грамматических признаков и разными структурами: **блестѣти** глагол непереходный, несовершенного вида, производный на I ступени словообразования. Однако это не является препятствием для производства слов со значением «предмет одежды».

Существительные мужского рода с суффиксом **-ѣк (-ок)**, так же как и слова женского рода, являются в большинстве отыменными, при этом производное сохраняет грамматический род производящего: **судѣ** Δ **судокѣ** (суд), **коробѣ** Δ **коробокѣ**, **кѣлтѣ** Δ **кѣлтѣкѣ**, **ѹлѣ** Δ **ѹлѣкѣ** (производящие слова не зафиксированы в новгородских берестяных грамотах, а восстановлены как гипотетически возможные, по аналогии, действовавшей при словообразовании с суффиксом **-ѣк**).

Два существительных мужского рода с конкретно-счетным значением мотивированы числительными: **семѣ** Δ **семокѣ**, **десять** Δ **десятокѣ**, ни в

том, ни в другом случае не удастся исходя из контекста определенно установить точное лексическое значение слов, но то, что производные лишены модификационного значения уменьшительности, очевидно. Модификационным значением уменьшительности обладают лишь слова **корвокъ** (маленький короб), **сѹдокъ** (небольшой сосуд) и **ѹлокъ** (меньшая, чем **ѹлъ**, мера количества зерна). Такой меры, как **ѹлъ**, не зафиксировано, однако если **ѹлъ** – это все-таки **ѹлей**, то **ѹлокъ** – это нечто меньшее по объему в сравнении с объемом среднестандартного улья.

Установить отношения между мотивированным и мотивирующим в паре **кълтъ** **Δ** **кълтѣкъ** достаточно сложно по той причине, что неизвестно значение (да и точный фонемно-структурный состав) производящего. Вполне возможно, что уже в древнерусский период было утрачено производящее и **кълтѣкъ** воспринимался носителями языка как непроемное, но членимое слово с суффиксом, указывающим не на уменьшительность, а на обыкновенную предметность.

Так же сложно определить производящее для существительного **ѹчастокъ**, которое своими корнями и фонетическими преобразованиями уходит в праславянскую эпоху. Несомненно лишь то, что в слове есть приставка, поэтому оно может быть рассмотрено как приставочно-суффиксальное образование от существительного **часть**. Но производящее, получается, относится к женскому роду, а, как известно, все слова с суффиксом **-ѣкъ (-окъ)** имеют за правило сохранение грамматического рода производящего, что не вписывается в общую схему словообразования с данным суффиксом. Объяснения подобного исключения либо сводятся к давности возникновения и существования слова **ѹчастокъ**, либо суффиксация в сочетании с префиксацией приводит к иным, чем было принято, считать результатам.

Особенностью существительных мужского рода с суффиксом **-ѣкъ (-окъ)** является то, что они производные на I ступени словообразования – это отличает их от существительных женского рода, среди которых есть производные и на II ступени.

Отглагольные существительные мужского рода с суффиксом **-ѣкъ (-окъ)** (**списокъ**, **ѹрѣзокъ**) обозначают предметы, являющиеся результатом действия мотивирующих, в качестве которых выступают переходные тематические глаголы III класса совершенного вида на I ступени словообразования, что говорит о полной лексико-грамматической идентичности производящих для данной словообразовательной модели. Значение суффикса **-ѣкъ (-к)** никак не может быть сведено к модификационному, что в корне отличает отглагольные производные от отыменных, среди которых модификационное значение преобладает. Отглагольные производные мужского рода отличаются и от отглагольных производных женского рода, во-первых, своим подчеркнутым результативно-законченным значением; во-вторых, единством семантико-грамматических свойств производящих и, в-третьих, словопроизводством без сопутствующих морфонологических явлений. Если отглагольные производные женского рода с суффиксом **-ѣкъ (-к)** объединяются в формально-семантический словообразовательный тип, то для пары отглагольных произ-

водных мужского рода с суффиксом **-ък (-ок)** уместно использовать термин «абсолютный словообразовательный тип».

Единственное слово среднего рода с суффиксом **-ък (-к)** **Δ веđerкo** является отыменным, мотивировано существительным среднего рода **веdpo**, при этом грамматический род производящего сохраняется в производном. Значение суффикса **-ък (-к)** в слове **веđerкo** – модификационное уменьшительное. Все эти показатели сближают производное среднего рода с отыменными существительными женского и мужского рода.

Таким образом, существительные с конкретно-предметным значением с суффиксом **-ък (-окк)** в новгородских берестяных грамот XI–XIV вв.:

- 1) являются словами мужского, женского и среднего рода;
- 2) имеют модификационное значение уменьшительности и развившееся на базе модификационного значение конкретной предметности без оттенка субъективной оценочности;
- 3) в большинстве случаев носят отыменный характер, в редких – отглагольный;
- 4) при отглагольном характере словопроизводства наблюдается лексико-грамматическая идентичность производящих;
- 5) являются производными на I или II ступени словообразования;
- 6) некоторые рассматриваются как условно-производные из-за трудности, а иногда и невозможности достоверного восстановления облика производящего.

Существительные с суффиксом **-ьц (-ец)**:

гвоздець Δ го--з-ьчoвъ (536); горнець Δ гцъ (718); кадьца (мера количества зерна) – **три кадьчъ (665), кадьць (665); кольце Δ во кольцю тню (644); котляець Δ котлець (506); мѣстьце Δ мѣсце (610); оковець Δ оков--ь (429); повоець Δ повоница (731); полотенець (о листах меди) – полотенеца со дова (439); полстець («ковер», «валяный полог») – з полосца (263); пьсьць – пeсѣцѧ (724); свинець Δ свинеце (439); сердцець Δ срѣце (521); ðāīāōī («полоннишко», «полотнецо») – хамече (644); чалець (чалый конь) – ðāēðā (266); чельце («очелье») – съ цъльцьмо (429) [3] .**

Существительные с суффиксом **-ьц (-ец)**, как и производные с суффиксом **-ък (-ок-к)**, являются словами мужского, женского и среднего рода. Их объединяет и тот факт, что среди них имеются как отыменные, так и отглагольные образования.

К отыменным существительным мужского рода относятся следующие слова: **гвоздець, горнець, котляець, пeсeць, свинець, хамець, чалець**. Эта группа слов разделяется: а) на обозначающие хозяйственно-бытовые реалии и б) обозначающие животных (**чалець, пeсeць**). В качестве мотивирующих для производных мужского рода с суффиксом **-ьц (-ец)** выступают субстантивные и адъективные основы.

Субстантивные мотивирующие основы имеют: **гвоздець (гвоздь), горнець (гърнь), котляець (котль), пeсeць (пьсь), свинець (свинь), хамець (хамъ)**, а адъективные мотивирующие основы – **чалець (чалъ, чалъи – «серый»)**. Суффикс **-ьц (-ец)** при сопоставлении мотивированного и мотивирующего в группе производных имеет значение «подобный тому,

похожий на то, что названо мотивирующим словом, но меньших размеров». Однако это значение на первый взгляд не проявляется в отадъективном производном **чалець** (чалый конь). На самом деле, очевидно, под словом **чалець** в грамоте № 266 подразумевается не взрослый конь, а молодой или даже жеребенок, поскольку автор послания Сидор приказывает Григорию забрать своего «**чальца**» и кормить каждый день овсом, а если Григорию придется куда-нибудь поехать, то он должен взять коня карельского (см. Гр. № 266) [3]. В производном **чалець** соединились несколько значений: уменьшительности, ласкательности и непосредственно указание на живое существо, являющееся носителем признака, названного мотивирующим прилагательным.

Таким образом, при морфологических различиях мотивирующих слов возникают и различия в словообразовательных значениях производных с суффиксом **-ьц (-ец)**, т.е. представлены две словообразовательные модели в рамках единой семантической группы (ср. **псьць** Δ **чальць**).

Отглагольными производными мужского рода с суффиксом **-ьц (-ец)** являются слова **повоець**, **оковець**. Они обозначают предмет, являющийся результатом действия, названного мотивирующим глаголом. В качестве мотивирующих используются одинаковые с лексико-грамматической точки зрения слова, а именно переходные глаголы совершенного вида на I ступени словообразования: **повити**, **оковати**. Однако функциональная принадлежность в быту оказывается различной: **повоець** – вид одежды (повойничек), а **іѣіааѣй** – ларчик. Допустимо также трактование **повоець**, **оковець** как отыменных производных с уменьшительно-ласкательным значением, как это делает, например, А.А. Зализняк, рассматривая **повоець** [3. С. 329]. Но структурно-семантическая обособленность этих двух производных от остальных слов с суффиксом **-ьц (-ец)**, наличие бесспорных примеров мотивации от глагольных основ для существительных с суффиксом **-ьц (-ец)** с другим, например личным, значением или в иных функциональных типах языка, например деловом, свидетельствуют не в пользу отыменного характера производности. Особенностью отглагольных существительных с суффиксом **-ьц (-ец)**, действительно, является тот факт, что они, помимо значения предмета, выражают дополнительное модификационное значение уменьшительности с оттенком субъективной оценочности.

Существительное **полстець** (ковёр, валяный полог) из-за спорного фонемного состава трудно поддается словообразовательному анализу, хотя членимость его очевидна. При таком фонетическом облике, какой зафиксирован в словнике А.А. Зализняка, вообще нельзя подобрать хоть какое-нибудь вразумительное мотивирующее для **полстець** – (неужели **полсть**?), ведь производное должно сохранить грамматический род производящего.

Непонятно, почему из словоформы **полосца**, засвидетельствованной в берестяной грамоте № 263, возникает начальная форма «**їїѣїааѣй**», а не, к примеру, слово **полосьць**, которое легко трактовать в лексическом и словообразовательном отношении: **полосьць** – небольшой отрез какого-либо материала, производное от **полость** (ср. **хамъ** Δ **хамець**).

Существительные среднего рода с суффиксом **-ьц (-ц)** обозначают различные реалии бытовой жизни: **кольце**, **мѣстьце**, **полотеньце**, **сердьце**,

чельце. Все они являются отыменными производными и в качестве мотивирующих основ имеют имена существительные: **кольце** (**коло**), **мѣстье** (**мѣсто**), **полотеньце** (**полотно**), **сердьце** (**сърдь**), **чельце** (**чело**). При этом проявляется тенденция к сохранению грамматического рода производящего слова. Словообразовательное значение суффикса **-ьц (-ц)** при сопоставлении мотивированных и мотивирующих в группе слов среднего рода в целом не отличается от отыменных существительных мужского рода и сводится к следующему: производное обозначает предмет, подобный или близкий тому, что названо мотивирующим существительным (ср. **кольце** Δ **коло**, **чельце** («очелье») – **чело**). Так или иначе все слова с суффиксом **-йѥ** выражают значение уменьшительности. Степень функциональной отдаленности производного от производящего различна и может колебаться от чуть меньших размеров производного при сравнении с производящим (**мѣстье**, **кольце**) до функционально-метафорического переноса свойств и признаков от производящего к производному (**полотеньце** – лист меди).

Отыменные существительные среднего рода в большинстве случаев являются производными на I ступени словообразования, **полотеньце** – производное на II ступени (**полоть** Δ **полотно** Δ **полотеньце**).

Существительное женского рода с суффиксом **-ьц (-ц)** Δ **кадьца** – обозначает меру количества зерна, относится к конкретно-счетным. Оно является отыменным производным на I ступени словообразования, в качестве мотивирующего для него выступает имя существительное **кадь**, также засвидетельствованное в новгородских берестяных грамотах со значением «мера количества зерна», т.е. словообразовательное значение суффикса **-ьц** в слове **кадьца** – модификационное уменьшительное. Грамматический род производящего сохраняется в производном.

Таким образом, существительные с суффиксом **-ьц (-ец-ц)** в новгородских берестяных грамотах XI–XIV вв.:

- 1) являются словами мужского, женского и среднего рода;
- 2) имеют модификационное значение уменьшительности и значение подобия, близости к тому, что названо мотивирующим словом, и значение «носитель постоянного признака, названного мотивирующим прилагательным». Сквозным значением, присутствующим в слове в большей или меньшей степени, является модификационное значение уменьшительности, иногда с оттенком субъективной оценочности;
- 3) в большинстве случаев носят отыменный характер (отсубстантивный и отадективный), и лишь несколько слов мужского рода расцениваются как отглагольные;
- 4) являются производными на I ступени (большинство) и на II ступени словообразования, ступень словообразования не зависит от морфологической структуры производящего.

Литература

1. Ваганова К.Р. Модель «от + иск» в контексте розыскного делового языка // Русский язык в школе. 2014. Вып. 2. С. 62–66.

2. Мазурина Н.К. Словообразование существительных со значением лица в русском языке XI–XIV вв. : дис. ... канд. филол. наук. М., 2007. 331 с.
3. Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. 720 с.
4. Блохин А.В. Общее и частное в словообразовании имен существительных с конкретно-предметным значением в новгородских памятниках письменности XI–XIV веков // Вестн. МГОИ. Сер.: филология. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2014. № 2. С. 10–17.
5. Блохин А.В. Окациональное словообразование существительных в новгородских грамотах XI–XV веков // Вестн. Костром. гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. 2015. Т. 21, № 1. С. 154–157.
6. Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 408 с.
7. Николаев Г.А. Русское историческое словообразование. Казань: Изд-во Казан. ун-та. 1987. 207 с.

THE FORMATION OF CONCRETE NOUNS WITH PRODUCTIVE SUFFIXES IN THE NOVGOROD BIRCH BARK LETTERS OF THE 11TH–14TH CENTURIES

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 3 (41). 5–13. DOI: 10.17223/19986645/41/1

Blokhin Alexander V., State Humanitarian and Technological University (Orekhovo-Zuevo, Russian Federation). E-mail: avb6767@mail.ru

Keywords: noun, concrete-subject meaning, derivational type which produces the word, derived word, derivational meaning, Novgorod birch bark letters.

This article is devoted to one of the most complex and insufficiently researched areas of modern Russian studies, and raises the issue of clarifying the specific suffixal word-formation of nouns with a particular meaning in the old Novgorod birch bark letters that reflect the natural spoken language, which stands out among other studies covering word-formation of nouns and verbs mainly in the book-written language of this period.

The article describes the derivational features of concrete-subject nouns with productive suffixes that are identified in the Novgorod birch bark letters of the 11th–14th centuries. The focus is on the determination of semantics and of morphological features of producing words in comparison with the derivatives and the problem of identifying common features of each word-formation model. The analysis is accompanied by specification of the lexical meanings of individual words of the Old Novgorod dialect.

The analysis identifies some individual characteristics of word formation in this group of words functioning in the Old Novgorod dialect. For example, word derivation of some nouns, in addition to the traditional grammar laws, required additional, perhaps decisive, lexical trends and techniques; so the formation of nouns with a concrete-subject non-modification meaning of suffixal formants can be regarded as metaphorically mediated lexicalization. Individual derivatives could form a special type of word-formation that occurs in case of lexical-semantic similarity of derivatives, form and sound identity of the final part of producing words, but their possible grammatical difference; such a model of word formation can be referred to as the “formal-semantic derivational type”.

All identified derivative suffixal nouns with a concrete meaning have derivational bases, different from the point of view of morphological relatedness and semantics. Derivational bases are noun and verbal stems. Derivatives themselves are of masculine, neuter and feminine gender. Among the most frequent derivatives is the modification meaning of diminutiveness and that of specific objectivity developed on its basis, without subjective evaluation. When word derivation is of verbal nature, the lexical-grammatical identity of derivational bases is observed. Some derivative nouns are treated as conventionally derived from the difficulty and sometimes impossibility of an accurate reconstruction of the form of derivational bases.

References

1. Vaganova, K.R. (2014) Model’ “ot + isk” v kontekste rozysknogo delovogo yazyka [Model “ot + isk” in the context of investigative business language]. *Russkiy yazyk v shkole*. 2. pp. 62–66.
2. Mazurina, N.K. (2007) *Slovoobrazovanie sushchestvitel’nykh so znacheniem litsa v russkom yazyke XI–XIV vv.* [Word formation of nouns with the meaning of face in the Russian language of the 11th–14th centuries]. Philology Cand. Diss. Moscow.

3. Zaliznyak, A.A. (1995) *Drevnenovgorodskiy dialekt* [Old Novgorod dialect]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
4. Blokhin, A.V. (2014) Obshchee i chastnoe v slovoobrazovanii imen sushchestvitel'nykh s konkretno-predmetnym znacheniem v novgorodskikh pamyatnikakh pis'mennosti XI-XIV vekov [The general and the particular in word formation of nouns with concrete substantive meaning in the Novgorod writing monuments of the 11th–14th centuries]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo gumanitarnogo instituta. Seria: Filologia, lingvistika i mezkulturnaa kommunikacia*. 2. pp. 10–17.
5. Blokhin, A.V. (2015) Occasional word formation of nouns in Novgorod letters in 11th–15th centuries. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova – Vestnik of Nekrasov Kostroma State University*. 21:1. pp. 154–157. (In Russian).
6. Valk, S.N. (1949) *Gramoty Velikogo Novgoroda i Pskova* [Letters of Veliky Novgorod and Pskov]. Moscow; Leningrad: USSR AS.
7. Nikolaev, G.A. (1987) *Russkoe istoricheskoe slovoobrazovanie* [Russian historical derivation]. Kazan: Kazan State University.

УДК 81'13

DOI: 10.17223/19986645/41/2

А.В. Кравченко

ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА ЯЗЫКА

В статье показывается ошибочность базовых положений когнитивизма о репрезентативной функции сознания и языка. Подчеркивается биосоциальная функция языка как когнитивной области кооперативных взаимодействий, в ходе которых формируется и развивается индивидуальное сознание. Понимание этого требует пересмотра повестки дня наук о языке, включая научное определение предметной области языкознания и непредвзятый анализ метаязыка традиционной лингвистики.

Ключевые слова: репрезентационализм, знание, сознание, биология языка, метаязык.

1. О чем предупреждал Сенека

«Человеку свойственно ошибаться» – кто не знает этой древней истины, равно как и другой, не менее расхожей: «Не ошибается тот, кто ничего не делает»? Вряд ли найдется человек, готовый их оспорить, и потому мы привыкли, что ошибаться – естественно, а ошибки можно и нужно прощать. Однако Сенека-старший не ограничился в свое время констатацией этой человеческой слабости, закончив мысль очень важным добавлением: «глупо упорствовать в своих ошибках». Обнаружив ошибку, нужно стремиться ее исправить, ибо настойчивое ее повторение обычно ни к чему хорошему не приводит, и этому в истории есть масса примеров (из Новейшей истории достаточно вспомнить академика Лысенко, упорно верившего в чудеса селекции и возможность получения ветвистой пшеницы – наперекор тому, что об этом говорили исследования генетиков).

Но как обнаружить собственную ошибку (если она есть)? Все зависит от того, каким родом деятельности занимается человек. Если это некое практическое взаимодействие с физическим миром, имеющее прагматическую направленность, то ошибка, как правило, обнаруживается опытным путем, потому что физический мир подчиняется определенным законам природы. Но если это деятельность, представления о существовании и характере которой формируются опосредованно, через другие виды наблюдаемых взаимодействий человека с миром, обнаружить ошибку не всегда оказывается так уж просто. Речь идет о так называемой мыслительной деятельности человека.

Выражение «так называемая» употреблено здесь не случайно: мы привыкли говорить о мыслительной деятельности как о чем-то вполне очевидном, хотя что собой представляет эта деятельность как процесс, остается во многом неясным. Если в фундаментальных исследованиях нечто, не явленное человеку в прямом ощущении, может быть обнаружено и измерено экспериментально-инструментальным путем (например, элементарные частицы в физике или молекулярный состав вещества в химии), то с мыслительными процессами этого проделать нельзя по простой причине: они не являются по своей природе чисто физическими взаимодействиями, хотя запускаются и

опосредуются этими последними (в частности, центральной нервной системой). Но это только часть проблемы.

Другая часть проблемы связана с тем, что же, собственно, понимается под словом «мышление», какое существо и при каких условиях можно называть мыслящим. Является ли примером мыслительного процесса яркий увлекательный сон, про который проснувшийся человек ничего не помнит, кроме того, что сон был? Что представляет собой мыслительный процесс у человека, сидящего с отрешенным взглядом за столом и механически отщипывающего кусочки хлеба от лежащей на тарелке булки? Можем ли мы быть уверены, что в этот момент он о чем-то думает («мыслит»)? Или наоборот, что у него в голове нет никаких мыслей? Являются ли мыслящими существами животные, обнаруживающие разумное, с нашей точки зрения, поведение? И если мы отвечаем «да» на этот вопрос, означает ли это, что мыслительный процесс, например, у собаки или дельфина в принципе подобен мыслительному процессу у человека? Или эти процессы все-таки существенным образом различаются?

На эти и многие другие вопросы пытается ответить нейронаука, занимающаяся изучением происходящих в мозге процессов (отнюдь не все из которых можно назвать собственно мыслительными) в надежде приблизиться к ответу на главный вопрос современности: что такое сознание/разум? Однако нужно хорошо понимать, что нейронные процессы, протекающие в мозге, не есть собственно свойство мозга как материального субстрата сознания, как принято считать в когнитивной науке первого поколения (см. критику в [1]). Мозг – это центр управления всем организмом, а всякий отдельно взятый организм не существует в вакууме: он погружен в множественные связи и взаимодействия с миром, частью которого является он сам, а нейронные процессы «отображают» эти взаимодействия с миром и самим собой. Изучение того, какие взаимодействия «отображаются» какими нейронными процессами, помогает понять, как функционирует мозг как орган, но не дает ответа на вопрос о *природе* мышления и сознания. Любые попытки осмысленно подойти к ответу на этот вопрос, равно как и на вопрос о сходстве или различии между нейронными процессами человека и других животных, должны начинаться с другого, гораздо более простого вопроса: чем человек как биологический вид радикально отличается от всех других видов (см. [2]) и не в этом ли различии кроются истоки разумности?

Очевидно, что отличительной чертой человека является его языковая способность: только изучая эту способность именно как биологическое, а точнее, как биосоциальное свойство, несущее *биологическую функцию*, можно приблизиться к пониманию природы человеческого разума. Но для этого надо четко понимать, в чем состоит биосоциальная функция языка. И здесь мы снова возвращаемся к афоризму Сенеки, потому что традиционная наука о языке, не задаваясь вопросом о его биосоциальной функции, продолжает придерживаться ошибочного по своей сути понимания языка как знаковой системы, функцией которой является «репрезентация» мыслей (т.е. их повторное представление, но уже в материальной форме языковых знаков) с целью «обмена» ими. В результате большая часть теоретических построений в лингвистике оказывается не чем иным, как замками на песке, потому что на

вопрос, в чем состоит биосоциальная функция «обмена мыслями», *вразумительного ответа быть не может.*

2. Миф, которым живет лингвистика

Согласно известному тезису Протагора «человек есть мера всех вещей», и в своем познании мира именно человек в различных своих свойствах, качествах и проявлениях служит той матрицей, на которую он накладывает и с которой сравнивает все им воспринимаемое и познаваемое. Тот факт, что посредством языка мы описываем различные аспекты мира, который, как нам кажется, существует независимо от нас, лежит в основании неосознаваемой (подсознательной) убежденности в том, что с помощью языка мы представляем (репрезентируем) этот мир друг другу, рисуя картины этого мира подобно тому, как художник рисует этот же мир красками. Рисуемый мир художник и говорящий об этом мире человек используют разные по своей природе, но одинаковые по функции «выразительные» средства, с помощью которых выводятся вовне некие мыслительные образы воспринятого, находящиеся в сознании. Отсюда – вера в то, что функцией сознания также является репрезентация – но уже мыслительная – объектов и явлений внешнего мира.

В нескольких словах суть репрезентационализма как теоретического направления в философии познания заключается в следующем: функция сознания состоит в том, чтобы отражать мир в виде неких ментальных образов, которые хранятся в сознании (мозге) и позволяют человеку познавать мир через адекватную практику взаимодействия с этим миром. Поскольку естественный язык – часть воспринимаемого мира, неизбежен вывод о том, что способности нашего сознания направлены в том числе и на усвоение и сохранение ментальных репрезентаций *лингвистических объектов* (таких, например, как звучащие слова); эти объекты, соединяя форму и значение, позволяют передавать мысли от одного сознания другому. На этом выводе основано целое научное направление в лингвистике, занимающееся изучением *ментального лексикона*; последователи Хомского идут дальше, утверждая, что в мозге есть специализированный «языковой орган». Однако вера в то, что в нашем сознании находятся слова, которыми мы пользуемся при говорении, а также правила для их соединения во фразы, – это есть не что иное, как широко распространенное заблуждение [3]. Тем не менее ортодоксальная лингвистика продолжает упорствовать в этом заблуждении, настаивая на репрезентативной функции языка и сознания.

Как мне уже приходилось говорить (см., напр., [4]), термин «языковая репрезентация», взятый на вооружение когнитивной лингвистикой, используется для характеристики отношения, существующего между сознанием (мышлением) как нематериальной сферой ментальных образов и языком как материальной системой явлений акустической природы (высказываний), наделенных семиотической функцией. В различных версиях структурализма и отчасти функционализма семиотическая функция языка отождествляется с функцией «трансляции» значений (смыслов, идей) от одного сознания другому сознанию в процессе языковой коммуникации. В процессе такой трансляции «ментальные структуры», представляющие собой неявные сущности, «оязыковываются», «репрезентируются» в языковых структурах как явных сущностях, доступных восприятию, а следовательно, и научному наблюдению.

нию/изучению. Таким образом, изучение языковых структур, по мнению когнитивистов, способно приоткрыть дверь в ненаблюдаемый мир мыслительных процессов и сознания, дав ключ к ответу на главный вопрос гуманитарной науки о том, что есть познание. При этом что представляют собой структуры знания (которые также часто называют «концептами») – вопрос далеко не праздный, внятного ответа на который до сих пор нет (см. [5, 6]).

Вера вульгарных материалистов в объективный реализм и репрезентативную функцию сознания и языка не помогла продвинуться по пути познания природы человеческого разума, который якобы находится в мозге и дает о себе знать с помощью языка как инструмента, позволяющего «объективировать» наши мысли как продукт работы разума (см. [7]). Воцарившаяся в когнитивной науке компьютерная метафора – уподобление работы мозга работе компьютера – продолжает составлять концептуальное основание лингвистических исследований в русле когнитивизма так называемого «главного направления», а функция языка по-прежнему отождествляется с обменом информацией в процессе коммуникации. Все это – часть языкового мифа, отображающего уровень осмысления человеком мира, в котором он живет (см. [8]).

Именно потому, что мы воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе, главным образом благодаря тому, что «наш выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества» [9. С. 261], когда «грамматика сама формирует мысль, является программой и руководством мыслительной деятельности индивидуума, средством анализа его впечатлений и их синтеза» [10. С. 209], мы, как люди, существуем в языке – «доме бытия человека» [11, 12]. Эта тривиальная истина затушевывается той картиной мира, которую рисует нам наш обыденный повседневный язык, – ибо мы видим мир таким, каким его «видит» язык, во многом сохраняющий в себе архаичное, наивное восприятие мира.

В наивной картине мира все, что движется без видимых внешних причин (ручей, который *бежит*, облака, которые *плывут*, или ветер, который *дует*) – живое, а в основании всего живого, способного, как нам кажется, к самостоятельному перемещению в пространстве, лежит *anima* ‘душа’, поэтому и ручей, и облака, и ветер – одушевленные (живые) сущности. Точно так же и метаязык лингвистики оказывается в эпистемологической ловушке естественного языка, ибо мы можем строить гипотезы о его устройстве и функционировании, исключительно опираясь на ту имплицитную картину мироустройства, которую он сам нам и диктует. С этой точки зрения и междисциплинарный проект когнитивной науки оказывается в плену той системы категоризации мира, которая дана нам в языке и через язык.

Так, в повседневной человеческой практике знание обычно рассматривается как некий продукт, как вещь, над которой можно проделывать все те манипуляции, которые можно проделывать с любыми физическими предметами. Мы *ищем знания, добываем их и приобретаем, извлекаем, получаем, владеем, храним, утрачиваем, обнаруживаем, показываем, передаем, делимся с другими или утаиваем, набираемся знаний, накапливаем знания, идем в поход за знаниями* и т. д., и т. п. Знание в наивной картине мира рисуется как некий материальный предмет, имеющий утилитарные свойства и потому об-

ладающий определенной ценностью, ср.: «В условиях создания общества, где лидирует экономика знаний, особую роль приобретает задача полноценного извлечения информации и знаний из различных источников... необходимо разрабатывать методы извлечения знаний из источников разного состава, природы и качества» [13. С. 126–127] (выделено мною. – А.К.). Закономерным следствием такого понимания знания явилось возникновение в последней четверти XX в. нового вида профессиональной деятельности, обучение которой вошло в учебные планы многих вузов во всем мире, – управления знаниями (knowledge management), под которым понимается систематизация процессов создания, сохранения, распределения и применения знаний как интеллектуального капитала. Однако, как это часто бывает с картиной мира, которую рисует наш язык, она мало соответствует действительности — действительности, понимаемой не в традиционном философском смысле как некая «объективная реальность», а как наше существование как наблюдателей в области языковых описаний, ибо «мы, человеческие существа, существуем постольку, поскольку мы существуем как осознающие себя сущности в языке» [14. С. 115]. Мы конструируем «объективную реальность» в когнитивной области наших языковых описаний, не замечая того, что реальность как универсум независимых сущностей, о которых мы говорим, есть фикция как продукт чисто описательной области [15]. Но это та фикция, которой мы на самом деле живем.

Именно такой фикцией является совокупность так называемых «научных» воззрений на природу и сущность языка, в соответствии с которыми язык – это система знаков, служащая инструментом для обмена мыслями (информацией), а сам подобный обмен составляет якобы суть языковой коммуникации. Закрепленная в языке наивная картина мира, в которой мы обмениваемся и делимся мыслями, подбираем нужные слова для выражения мысли, ухватываем (чужую) и упускаем (свою) мысль, а сами мысли разбегаются, ускользают, приходят, застревают и т. п., держит лингвистическую мысль в плену заблуждения, что мир таков, каким его рисует нам язык. Язык и мышление превращаются в манипулируемые, онтологически не зависящие друг от друга вещи: один – «где-то там», в так называемой «объективной реальности», а другое – «где-то здесь», в сознании/голове. Однако при этом мы не в состоянии определить в понятных терминах сферу неязыковых мыслей или идей, которые – в соответствии с ортодоксальными взглядами – кодируются языком.

Конечно, всякое научное описание – это описание чего-либо посредством языка, но из того, что мы как когнитивные (живые) системы существуем и оперируем в когнитивной области языковых взаимодействий, вовсе не следует, что мы не можем и не должны пытаться выйти за пределы той «феноменологии» языка, которую нам навязывает учение о языке как системно-структурном образовании. Язык – это не материальный объект, который человек осваивает в приписываемой ему инструментальной функции в ходе встраивания (ин-формирования) в среду, совершенствуя в дальнейшем свои навыки использования этого орудия себе во благо – как если бы у него был выбор этого и не делать. Несмотря на то, что «человек, с точки зрения биологии — языковой организм» [16. С. 33], традиционная официальная лин-

гвистика не задается вопросом о биосоциальной природе языковой способности и роли языка в эволюционном развитии человека как биологического вида (см. [17]).

3. Как выбраться из ловушки

Несмотря на то что проблема соотношения языка и мышления (разума) занимает умы ученых уже не одно столетие, приходится констатировать, что особого прогресса в решении этой проблемы в рамках традиционной (отражательной) теории познания, взятой на вооружение когнитивной наукой первого поколения, не наметилось. Когнитивная способность человека – в первую очередь мышление – продолжает рассматриваться сторонниками когнитивного интернализма как некое свойство мозга, к которому язык имеет в лучшем случае косвенное отношение – в качестве инструмента, с помощью которого «объективируется» мысль. До сих пор отсутствует консенсус в понимании природы человеческой когнитивной способности, а результаты исследований, проводимых в различных научных областях, пока не могут быть интегрированы в какую-то приемлемую или хотя бы непротиворечивую динамическую модель языка в рамках более широкой динамической модели когниции в целом.

Выход из этого застойного состояния возможен и необходим – для этого надо, по образному выражению Э. Рош (в личной беседе), «не дать засосать себя омуту убеждений, которые обычно принимаются на веру». Задаваясь вопросом о том, как соотносятся язык и сознание, надо не забывать о том, что оба имеют опытную природу [18]; опыт же возникает из взаимодействий со средой, важнейшей частью которой является язык как биосоциально обусловленное поведение человека. Одно из главных положений учения Л.С. Выготского состоит в том, что, научившись языку, ребенок переходит к *новому способу мышления*. Следовательно, сознание включает в себя язык, и по этой причине оно, как понятие, относится скорее к человеческому виду в целом, нежели к отдельному индивиду [19]: индивидуальное человеческое сознание формируется в динамических отношениях между собой и другими, оно изначально имеет межсубъектный характер [20]. Эти динамические отношения образуют реляционную область языка как консенсуальной области второго порядка (т.е. такой области взаимодействий, в которой компоненты консенсуальной области первого порядка – слова и высказывания в пространственно-временном контексте ситуации «здесь-и-сейчас» – употребляются без консенсуальной области), и именно поэтому сознание не существует и не может рассматриваться вне языка, равно как и противопоставляться ему. Растущее понимание этого в биологически ориентированной когнитивной науке третьего поколения говорит о начавшемся эпистемологическом повороте [21] и формировании новой научной парадигмы, в рамках которой исследования языка должны учитывать биологию познания и ее особенности применительно к человеку как живой системе [22].

Динамически развивающаяся когнитивная наука третьего поколения исходит из того, что, несмотря на ту картину мира, которую нам «рисует» язык, мозг не репрезентирует квазизязыковые формы, так же как он не дает нам возможность отражать в этих формах выделяемые в физическом мире сущности. С точки зрения биологии «деятельность нервной системы не связана с

созданием репрезентаций среды, в которой существует интегрированная в нее живая система» [23. С. 22]. Ответ на вопрос, в чем состоит (биосоциальная) функция языка, может быть получен только в том случае, если лингвистика уйдет от ущербного понимания языка как средства репрезентации мыслительного содержания и сосредоточится на *языковых взаимодействиях* как средстве ориентирования в мире себя и других с целью наилучшим образом приспособиться к среде, а в дальнейшем – перейти к управлению ею, создавая характерную для человеческого социума *экологическую нишу* [24]. Для этого нужно сделать то, что хорошо иллюстрируется известной задачей на проверку способности мыслить нетривиально: как, не отрывая карандаша от листа бумаги, соединить четырьмя прямыми линиями 9 точек, каждая из которых равно удалена от соседних точек. Поскольку наша привычка мыслить аналогиями заставляет нас увидеть квадрат, якобы образуемый этими точками, попытки провести четыре требуемых линии обычно направлены на то, чтобы с их помощью и получить этот квадрат. Но в условиях задачи ничего не говорится про квадрат, это искусственное ограничение, налагаемое особенностями нашей когниции, ибо мы всегда стремимся категоризировать воспринимаемое в *уже известных нам образах и понятиях*. Только перестав мыслить шаблонами, другими словами, перестав видеть квадраты там, где их нет (а это очень и очень непросто), мы можем найти адекватное решение проблемы, стоящей перед наукой о языке в целом. Какова же эта главная проблема, к решению которой надо подойти непредвзято, преодолев искушение нарисовать этакий лингвистический «квадрат»?

Конечно же, это новое определение предметной области лингвистики и ее объекта, исходящее из понимания языка как *особой когнитивной области* – области языковых взаимодействий как адаптивных взаимодействий ориентирующего характера. Язык – это *укорененный в человеческой биологии (телесно воплощенный) специфический вид социальной деятельности*, образующей реляционную область – область координаций поведения. Языковое поведение не является автономным видом деятельности,

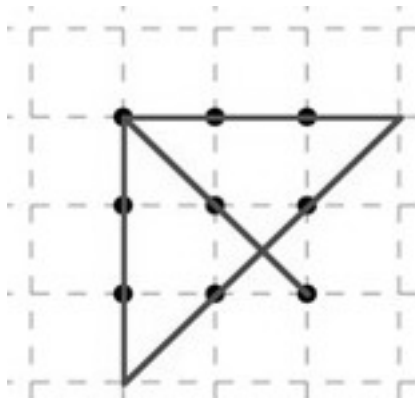


Рис. 1. Как соединить 9 точек

независимым от других видов человеческой деятельности, оно интегрировано в сложную поведенческую динамику человека и интерпретируется наблюдателем именно как таковое, т. е. как поведение в наблюдаемом физическом контексте в реальном времени, когда каждая мелочь принимается во внимание. Такое понимание языка предполагает иной набор исходных посылок и допущений, определяющих логику разработки *натуралистической* концепции языка, в отличие от принятой ортодоксальной лингвистикой *рационалистической* концепции, идущей от Декарта. Вот некоторые из этих допущений:

1. Вербальные структуры сами по себе (воспринимаемые на слух акустические колебания, производимые органами речи в конкретной ситуации в реальном времени при координированном взаимодействии двух и более индивидов) – это *не* язык. Язык – это неоднородный набор артефактов (в том числе письменных знаков) и практик, с помощью которых мы используем различные виды поведения таким образом, что становится возможным приписывание семиотических значимостей. Как объект традиционного лингвистического изучения, описания и анализа язык представляет собой *виртуальный объект* [25, 26].

2. Значения *не* содержатся в словах как «контейнерах» смысла; значение возникает из отношения между организмом и его физической и культурной средой (реляционной областью), определяемого ценностью среды для организма [27]. Наличие консенсуальной области взаимодействий создает предпосылки к приобретению разными индивидами *сходного опыта* (в том числе языкового опыта как специфического вида деятельности), мера которого и определяет степень адекватности интерпретации поведения других, т.е. то, что мы привыкли называть пониманием.

3. Высказывания, как естественно-языковые проявления, не «выражают» мысли, они – сигналы, которые ориентируют коммуникантов в их консенсуальной области взаимодействий, подсказки для конструирования значения и, как таковые, они никогда не являются самостоятельными. Высказывания всегда интегрированы с множественными аспектами физического контекста, в котором они осуществляются, равно как и с внутренними состояниями коммуникантов как структурно детерминированных организмов, имеющих каждый свою историю онтогенетического структурного сопряжения со средой; все это вместе участвует в конструировании значения.

3. Как следствие этого, естественно-языковая коммуникация не имеет никакого отношения к «трансляции» смыслов, вкладываемых в «контейнеры» слов, как это следует из кодовой модели языка; суть коммуникации [28] заключается не в обмене смыслами, закодированными в словах, а в *нахождении точек соприкосновения* в процессе интерпретации социально обусловленного поведения в реляционной области. Естественноязыковые высказывания, членя мир, существенной частью которого они сами являются, помогают *конструировать и упорядочивать мир как структурированную систему категоризированного опыта*. Эта структурированная система, коренясь в индивидуальном чувственном опыте мультимодальных когнитивных взаимодействий с миром, интегрирует в себе все аспекты такого опыта – как осознанного, так и неосознанного.

4. Не существует внутренних законов эволюции/развития языка отдельно от эволюции человека говорящего как биологического вида, поскольку эволюция живых систем – это «эволюция ниш, образуемых единствами взаимодействий» [29. С. 4]. Как люди мы становимся тем, что мы есть, будучи погружены в поток совместной деятельности с другими, образующей характерную для человека *экологическую нишу*, без и вне которой человека невозможно понять ни в биологическом, ни в социальном аспекте [30, 31].

5. Когнитивные способности человека, отличающие его от всех остальных биологических видов, **возникают** в процессе развития компонентов сис-

темы (молодых особей) в полностью функциональных субъектах, способных к целеполаганию и проявлению воли. Хотя системное поведение человеческого общества в целом зависит от когнитивных способностей его компонентов, сами эти когнитивные способности возникают в области языка (отношений между компонентами) **как системного поведения человеческого общества**. Именно в этом проявляется экологический характер отношений между человеческим обществом и областью языковых взаимодействий как той средой, в которой происходит формирование когнитивной структуры человеческого организма [32].

6. Игнорирование экологического характера языка как реляционной области приводит к непониманию процессов, формирующих когницию на уровне как индивида, так и общества. Эти процессы влияют на когнитивную структуру человека и организацию общества как живой системы, определяя соответствующие системы ценностей и экзистенциальные траектории [33]. Важнейшему измерению человека и общества, определяющему их эволюцию как когнитивных (живых) систем, не уделяется должного внимания, что отрицательно сказывается на общем состоянии когнитивной науки. Признание экологического характера языковых взаимодействий, обеспечивающих единство общества как живой системы, заставляет радикальным образом пересмотреть роль языка в эволюции когнитивной ниши человека. С экологической точки зрения можно говорить о языковых изменениях как изменениях в окружающей среде, вызванных деятельностью отдельных организмов; в свою очередь, эти изменения начинают оказывать влияние на самих индивидов.

Перечень обновленных познавательных установок для биологически ориентированной науки о языке можно продолжить, но и приведенных выше, как представляется, достаточно, чтобы сформулировать задачи на ближайшее будущее. Опираясь на биологию познания и языка У. Матураны как новую эпистемологию [34], следует сосредоточиться на том, как реляционная динамика языковых взаимодействий провоцирует изменения в нервной системе и в организме в целом и каким образом их взаимная каузальность различается и описывается говорящим наблюдателем в терминах *разума, интеллекта, сознания и самосознания* [23]. Для этого нужно радикально пересмотреть повестку дня наук о языке, начав с научного определения предметной области языкознания [35, 36] и непредвзятого анализа метаязыка традиционной лингвистики. Выбраться из эпистемологической ловушки языка можно лишь определив новые концептуально-теоретические рамки для когнитивных исследований [37, 38]. Построенная в этих рамках теория должна быть в состоянии объяснить язык как *биологически, социально и экологически обусловленное интеракционное поведение, в котором рождается интеллект*. Биологически ориентированная когнитивная наука уже начала движение по этому пути, и это вселяет надежду на то, что XXI в. станет веком преодоления укorenившейся традиции и освобождения науки о языке от эпистемологических пут репрезентационализма.

Литература

1. Kravchenko A.V. Whence the autonomy? A reply to Harnad and Dror // Pragmatics & Cognition. 2007. № 15(3). P. 587–597.

2. *Dennett D.C.* Kinds of Minds: Toward an understanding of consciousness. N.Y.: Basic Books, 1996.
3. *Lamb S.* Pathways of the Brain: The neurocognitive basis of language. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 1999. XII, 418 p.
4. *Кравченко А.В.* «Репрезентация мыслительных структур в языке» как тема научного дискурса // Когнитивные исследования языка. Вып. 12: Теоретические аспекты языковой репрезентации. Москва; Тамбов. 2012. С. 205–216.
5. *Кравченко А.В.* Что изучает концептология? // Материалы I Междунар. науч. конф. «Функционально-когнитивный анализ языковых единиц и его аппликативный потенциал», 5–7 окт. 2011, Барнаул, 2011. С. 248–251.
6. *Кравченко А.В.* Концепт, концепта, концепту: модный дискурс на незадавленную тему // Записки з романо-германської філології. Вип. 1(30). Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Одеса, 2013. С. 115–124.
7. *Кравченко А.В.* Некоторые соображения о сознании и языке: гомункулус когнитивного интернализма // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. Вып. 15. Владикавказ, 2013. С. 39–46.
8. *Кравченко А.В.* От языкового мифа к биологической реальности: переосмысля познавательные установки языкознания. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2013. 388 с.
9. *Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс Универс, 1993. 656 с.
10. *Уорф Б.Л.* Наука и языкознание // Языки как образ мира. М.; СПб., 2003. С. 202–219.
11. *Хайдеггер М.* Время и бытие. М.: Республика, 1993. 447 с.
12. *Кравченко А.В.* Гипотеза Сепира–Уорфа в контексте биологии познания // Вопросы когнитивной лингвистики. 2007. № 1. С. 5–14.
13. *Беляева Л.Н.* Проблема извлечения знаний и современные технологии // Язык в парадигмах гуманитарного знания: XXI век / под общ. ред. В.Е. Чернявской, С.Т. Золяна. СПб.; Лингва. 2009. С. 126–142.
14. *Maturana, H.R.* The biological foundations of self consciousness and the physical domain of existence // N. Luhmann, H. Maturana, M. Namiki, V. Redder, F. Varela, *Beobachter: Konvergenz der Erkenntnistheorien?* (2nd ed.). Munich, 1992. P. 47–117.
15. *Maturana H.R.* Biology of language: The epistemology of reality // G. Miller, E. Lenneberg (eds.), *Psychology and Biology of Language and Thought*. New York, 1978. P. 28–62.
16. *Jennings, R.E., Thompson J.J.* The biological centrality of talk // A.V. Kravchenko (ed.). *Cognitive Dynamics in Linguistic Interactions*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012. P. 33–63.
17. *Deacon T.W.* The Symbolic Species: The co-evolution of language and the human brain. W.W. Norton & Co, 1997. 527 p.
18. *Bartsch R.* Consciousness Emerging: The dynamics of perception, imagination, action, memory, thought, and language. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2002. X, 258 p.
19. *Järvillehto T.* Consciousness as co-operation // *Advances in Mind-Body Medicine*, 2000. № 16, P. 89–92.
20. *Thompson E.* Empathy and consciousness // *Journal of Consciousness Studies*. 2001. Vol. 8, № 5–7. P. 1–32.
21. *Кравченко А.В.* Объективный реализм и биология познания: эпистемологический поворот // Гуманит. чтения РГГУ-2014: сб. материалов. М., 2015. С. 697–709.
22. *Kravchenko A.V.* How Humberto Maturana's biology of cognition can revive the language sciences // *Constructivist Foundations*. 2011. Vol. 6, № 3. P. 352–362.
23. *Maturana H., Mpodozis J., Letelier J.C.* Brain, language, and the origin of human mental functions // *Biological Research*. 1995. № 28. P. 15–26.
24. *Kravchenko A.V.* Two views on language ecology and ecolinguistics // *Language Sciences*. 2016. Vol. 54. P. 102–113.
25. *Kravchenko A.V.* Native speakers, mother tongues, and other objects of wonder // *Language Sciences*. 2010. Vol. 32, № 6. P. 677–785.
26. *Кравченко А.В.* Является ли традиционный лингвистический анализ анализом языка? // Вестн. ТвГУ. Сер.: Филология. 2015. № 2. С. 54–62.
27. *Златев Й.* Значение = жизнь (+ культура): набросок единой биокультурной теории значения // *Язык и познание: методологические проблемы и перспективы* (*Studia Linguistica Cognitiva*. Вып. 1). М., 2006. С. 308–361.

28. Кравченко А.В. Что такое коммуникация?: Очерк биокогнитивной философии языка // В.В. Дементьев (ред.). Прямая и непрямая коммуникация. Саратов, 2003. С. 27–39.
29. Maturana H.R. Biology of Cognition. BCL Report # 9.0. University of Illinois, Urbana, 1970. 27 p.
30. Steffensen S.V. Beyond mind: an extended ecology of languaging // S. Cowley (ed.), Distributed Language. Amsterdam, Philadelphia, 2011. P. 185–210.
31. Kravchenko A., Boiko S. What is happening to Russian? Linguistic change as an ecological process // Russian Journal of Communication. 2014. Vol. 6, № 3. P. 232–245.
32. Кравченко А.В. Что такое «когнитивная структура», или Об одном распространенном заблуждении // Когнитивные исследования языка. Вып. 9: Взаимодействие когнитивных и языковых структур. Москва; Тамбов, 2011. С. 96–104.
33. Hodges B.H. Ecological pragmatics: Values, dialogical arrays, complexity and caring // Pragmatics and Cognition. 2009. Vol. 17, № 3. P. 628–652.
34. Кравченко А.В. Когнитивная лингвистика и новая эпистемология // Изв. АН. Сер. Лит. и яз. 2001. Т. 60, № 5. С. 3–13.
35. Кравченко А.В. Биологическая реальность языка // Вopr. когнитивной лингвистики. 2013. № 1. С. 55–63.
36. Кравченко А.В. О предметной области языкознания // А. А. Кибрик, А. Д. Кошелев (сост.). Язык и мысль: современная когнитивная лингвистика. М., 2015. С. 155–172.
37. Кравченко А.В. Понятие социолингвистики как метаязыковой казус // Язык – когниция – социум // Тез. докл. междунар. науч. конф., 12–13 ноября 2012. Минск, 2012. С. 47–48.
38. Кравченко А.В. Зачем и почему нужно трансформировать науку о языке // К. Янашек, Й. Митурска-Бояновска, А. Шунков, Б. Родзевич (ред.), НОМО COMMUNICANS II: Человек в пространстве межкультурных коммуникаций. Щецин, 2012. С. 128–133.

THE EPISTEMOLOGICAL TRAP OF LANGUAGE

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 3 (41). 14–26. DOI: 10.17223/19986645/41/2

Kravchenko Alexander V., Baikal National University (Irkutsk, Russian Federation). E-mail: sashakr@bgu.ru / sashakr@hotmail.com

Keywords: representationalism, mind, knowledge, biology of language, metalanguage.

Despite the focus of cognitivism on mental processes the concept of thought remains largely undetermined. Neuroscience can hardly lead to a major breakthrough until neuronal processes continue to be viewed as the property of the brain as their material substrate; understanding how the brain functions does not answer the question about the nature of thought. At the start, a much simpler question should be asked: How are humans as a biological species so radically different from any other species, and is it not this difference that accounts for the origin of human mind?

The epistemology of external realism construes the function of mind as the representation of the world in terms of mental images which are stored in the mind (brain) as knowledge about the world and thus allow humans to cognize the world in the course of adaptively adequate human-world interactions. Operations on such mental images, so it seems, constitute the core of mental processes which are further externalized via linguistic representation. It follows that knowledge is represented in linguistic form as an object in external reality (the world), which tempts us to think that knowledge is a thing 'out there'. This is a naive world view woven into the very fabric of our everyday language, and because 'language is the house of being', we take it for granted that language is a system of signs used as a tool for the transfer of thought; such transfer is believed to be at the basis of linguistic communication. Thus we push ourselves into an epistemological trap which precludes further progress in understanding the nature of language and mind.

Progress in this direction is possible with an understanding of the biosocial function of language as a cognitive domain of coordinated interactions in the course of which individual minds form and develop; mind does not exist and may not be viewed outside of languaging, nor can it be opposed to it. Leaning on the biology of language and cognition, researchers should focus on how the relational dynamics of linguistic interactions triggers changes in the nervous system and in the organism as a whole, and how their reciprocal causality is distinguished and described by the speaking observer in terms of mind, intelligence, consciousness, and self-consciousness. To that end, the agenda of language sciences must be radically revised, beginning with a scientific definition of their subject matter and an unbiased analysis of the metalanguage of traditional linguistics.

References

1. Kravchenko, A.V. (2007) Whence the autonomy? A reply to Harnad and Dror. *Pragmatics & Cognition*. 15(3). pp. 587–597.
2. Dennett, D.C. (1996) *Kinds of Minds: Toward an understanding of consciousness*. New York, N.Y.: Basic Books.
3. Lamb, S. (1999) *Pathways of the Brain: The neurocognitive basis of language*. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
4. Kravchenko, A.V. (2012) “Reprezentatsiya myslitel’nykh struktur v yazyke” kak tema nauchnogo diskursa [“Representation of mental structures in the language” as the theme of scientific discourse]. In: *Kognitivnye issledovaniya yazyka* [The cognitive study of language]. Is. 12. Moscow; Tambov: Institute of Linguistics RAS; Tambov State University. pp. 205–216.
5. Kravchenko, A.V. (2011) [What does conceptology study?]. *Funktsional’no-kognitivnyy analiz yazykovykh edinits i ego aplikativnyy potentsial* [Functional-cognitive analysis of language units and its applicative potential]. Proceedings of I international conference. 5–7 October 2011. Barnaul. pp. 248–251. (In Russian).
6. Kravchenko, A.V. (2013) Kontsept, kontsepta, kontseptu: modnyy diskurs na nezadannuyu temu [Concept, of concept, to concept: fashionable discourse on the topic unset]. In: *Zapiski z romano-germans’koi filologii* [Notes on Romance-Germanic philology]. Is. 1(30). Odessa: KP OMD. pp. 115–124.
7. Kravchenko, A.V. (2013) Nekotorye soobrazheniya o soznanii i yazyke: gomunkulus kognitivnogo internalizma [Some thoughts on consciousness and language: homunculus of cognitive internalism]. In: *Aktual’nye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki* [Topical problems of philology and pedagogical linguistics]. Is. 15. Vladikavkaz: North Ossetian State University. pp. 39–46.
8. Kravchenko, A.V. (2013) *Ot yazykovogo mifa k biologicheskoy real’nosti: pereosmyslyaya poznavatel’nye ustanovki yazykoznaniya* [From the language myth to the biological reality: rethinking cognitive orientations of linguistics]. Moscow: Rukopisnye pamyatniki Drevney Rusi.
9. Sapir, E. (1993) *Izbrannye trudy po yazykoznaniyu i kul’turologii* [Selected works on linguistics and cultural studies]. Moscow: Progress Univers.
10. Whorf, B.L. (2003) Nauka i yazykoznanie [Science and linguistics]. In: Korolyova, K. (ed.) *Yazyki kak obraz mira* [Languages as an image of the world]. Moscow: AST; St. Petersburg: Terra Fantastica.
11. Heidegger, M. (1993) *Vremya i bytie* [Time and Being]. Moscow: Respublika.
12. Kravchenko, A.V. (2007) Gipoteza Sepira-Uorfa v kontekste biologii poznaniya [Hypothesis of Sapir and Whorf in the context of the biology of cognition]. *Voprosy kognitivnoy lingvistiki*. 1. pp. 5–14.
13. Belyaeva, L.N. (2009) Problema izvlecheniya znaniy i sovremennye tekhnologii [The problem of extracting knowledge and modern technology]. In: Chernyavskaya, V.E. & Zolyan, S.T. (eds) *Yazyk v paradigmakh gumanitarnogo znaniya: XXI vek* [Language paradigms in the humanities: the 21st century]. St. Petersburg: SPbGUEF; Lingva.
14. Maturana, H.R. (1992) The biological foundations of self consciousness and the physical domain of existence. In: Luhmann, N. et al. *Beobachter: Konvergenz der Erkenntnistheorien?* [Observers: convergence of theories of knowledge?]. 2nd ed. Munich: Wilhelm Fink Verlag.
15. Maturana, H.R. (1978) Biology of language: The epistemology of reality. In: Miller, G. & Lenneberg, E. (eds) *Psychology and Biology of Language and Thought*. New York: Academic Press.
16. Jennings, R.E. & Thompson, J.J. (2012) The biological centrality of talk. In: Kravchenko, A.V. (ed.) *Cognitive Dynamics in Linguistic Interactions*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
17. Deacon, T.W. (1997) *The Symbolic Species: The co-evolution of language and the human brain*. W. W. Norton & Co.
18. Bartsch, R. (2002) *Consciousness Emerging: The dynamics of perception, imagination, action, memory, thought, and language*. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
19. Järvillehto, T. (2000) Consciousness as co-operation. *Advances in Mind-Body Medicine*. 16. pp. 89–92.
20. Thompson, E. (2001) Empathy and consciousness. *Journal of Consciousness Studies*. 8:5–7. pp. 1–32.
21. Kravchenko A.V. (2015) Ob’ektivnyy realizm i biologiya poznaniya: epistemologicheskiiy

povorot [Objective realism and biology of cognition: an epistemological turn]. In: *Gumanitarnye chteniya RGGU – 2014* [Humanities Readings RSUH – 2014]. Moscow: RSUH.

22. Kravchenko, A.V. (2011) How Humberto Maturana's biology of cognition can revive the language sciences. *Constructivist Foundations*. 6:3. pp. 352–362.

23. Maturana, H., Mpodozis, J. & Letelier, J.C. (1995) Brain, language, and the origin of human mental functions. *Biological Research*. 28. pp. 15–26.

24. Kravchenko, A.V. (2016) Two views on language ecology and ecolinguistics. *Language Sciences*. 54. pp. 102–113.

25. Kravchenko, A.V. (2010) Native speakers, mother tongues, and other objects of wonder. *Language Sciences*. 32:6. pp. 677–785.

26. Kravchenko, A.V. (2015) Is traditional linguistic analysis an analysis of language? *Vestnik TvGU. Seriya: Filologiya*. 2. pp. 54–62. (In Russian).

27. Zlatev, Y. (2006) Znachenie = zhizn' (+ kul'tura): Nabrosok edinoi biokul'turnoy teorii znacheniya [Meaning = life (+ culture): Sketch of a single biocultural theory of meanings]. In: *Yazyk i poznanie: metodologicheskie problemy i perspektivy* [Language and cognition: Methodological problems and prospects]. *Studia Linguistica Cognitiva*. 1. Moscow: Gnozis. pp. 308–361.

28. Kravchenko, A.V. (2003) Chto takoe kommunikatsiya? Ocherk biokognitivnoy filosofii yazyka [What is communication? Essay of the biocognitive philosophy of language]. In: Dement'ev, V.V. (red.). *Pryamaya i nepryamaya kommunikatsiya* [Direct and indirect communication]. Saratov: Kolledzh.

29. Maturana, H.R. (1970) *Biology of Cognition*. BCL Report # 9.0. University of Illinois, Urbana.

30. Steffensen, S.V. (2011) Beyond mind: an extended ecology of languaging. In: Cowley, S. (ed.) *Distributed Language*. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

31. Kravchenko, A. & Boiko, S. (2014) What is happening to Russian? Linguistic change as an ecological process. *Russian Journal of Communication*. 6:3. pp. 232–245.

32. Kravchenko, A.V. (2011) Chto takoe “kognitivnaya struktura”, ili ob odnom rasprostranennom zabluzhdenii [What is “cognitive structure”, or about a common misconception]. In: *Kognitivnye issledovaniya yazyka* [The cognitive study of language]. Is. 9. Moscow; Tambov: Institute of Linguistics RAS; Tambov State University. pp. 96–104.

33. Hodges, B.H. (2009) Ecological pragmatics: Values, dialogical arrays, complexity and caring. *Pragmatics and Cognition*. 17:3. pp. 628–652. DOI: 10.1075/p17.3.08hod

34. Kravchenko, A.V. (2001) Kognitivnaya lingvistika i novaya epistemologiya [Cognitive Linguistics and the new epistemology]. *Izvestiya AN. Seriya literatury i yazyka*. 60:5. pp. 3–13.

35. Kravchenko, A.V. (2013) Biologicheskaya real'nost' yazyka [The biological reality of language]. *Voprosy kognitivnoy lingvistiki*. 1. pp. 55–63.

36. Kravchenko, A.V. (2015) O predmetnoy oblasti yazykoznaniya [On the subject field of linguistics]. In: Kibrik, A.A. & Koshelev, A.D. *Yazyk i mysl': sovremennaya kognitivnaya lingvistika* [Language and thought: modern cognitive linguistics]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury

37. Kravchenko, A.V. (2012) [Concept of sociolinguistics as a metalinguistic incident]. *Yazyk – kognitsiya – sotsium* [Language – cognition – society]. Proceedings of the international conference. 12–13 November. Minsk: Minsk State Linguistic University. pp. 47–48. (In Russian).

38. Kravchenko, A.V. (2012) Zachem i pochemu nuzhno transformirovat' nauku o yazyke [Why one needs to transform the science of language]. In: K. Yanashek, K. et al. (eds) *HOMO COMMUNICANS II: Chelovek v prostranstve mezhkul'turnykh kommunikatsiy* [HOMO COMMUNICANS II: Man in the space of intercultural communications]. Shchetsin: GRAFFORM.

УДК 811.133.1

DOI: 10.17223/19986645/41/3

М.С. Нелюбина, Ю.В. Богоявленская

АБСОЛЮТНАЯ ПРИЧАСТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И СМЕЖНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматривается абсолютная причастная конструкция, функционирующая во французском языке. Целью является установление круга смежных явлений и разработка четких критериев идентификации АПК. Анализируются конструкции из современных художественных произведений. Авторы уточняют понятие абсолютной причастной конструкции, выделяют ее ключевые характеристики. Акцентируется внимание на особом типе АПК – конструкции без вербализованного подлежащего, а также на одном из особых вариантов графического оформления – парцелляции.

Ключевые слова: французский язык, абсолютная конструкция, абсолютная причастная конструкция.

Абсолютная причастная конструкция (далее АПК) – языковое явление, представляющее собой синтаксическую периферию, поскольку она не играет определяющей роли в структуре синтаксической единицы, но эти конструкции позволяют разнообразить синтаксический рисунок текста, выступают альтернативой придаточным предложениям, компактно передавая заложенное в них богатое содержание. Наряду с другими абсолютными конструкциями АПК составляет неотъемлемую часть синтаксической системы французского языка и потому требует всестороннего и глубокого анализа.

В отечественной лингвистике существует лишь несколько специальных исследований, объектом которых является АПК в романских языках. Структурно-семантические особенности испанской АПК и смежные конструкции рассмотрены в работах М.С. Нелюбиной [1, 2]. Автор определяет границы, отделяющие АПК от других абсолютных (инфинитивных, герундиальных, описательных, адъективных, предложных и наречных) оборотов. В центре внимания публикации Ю.В. Богоявленской находится синтаксическая организация французских абсолютных причастных конструкций. Опираясь на корпус конструкций, отобранных из текстов СМИ, автор классифицирует АПК по позиции по отношению к главному предложению, выявляет случаи несовпадения грамматического и семантического субъекта в АПК и дает морфосинтаксическую характеристику ее подлежащего [3]. Краткие сведения о структуре АПК и семантике ее отношений, поддерживаемых с главным предложением, даны в учебниках и монографиях, посвященных синтаксису французского языка [4–6] и сопоставительному исследованию грамматик французского и русского языка [7, 8].

Зарубежные исследования по проблеме представлены более широко. В частности, Ф. Муре в статье, посвященной французским абсолютным конструкциям с причастием и существительным, обращается к анализу их синтаксических особенностей и способности выражать вторичную предикатив-

ность [9]. Норвежский лингвист Б. Куллан в монографии «*Les constructions participiales du français et leurs traductions norvégiennes*» исследует синтаксические свойства причастных оборотов всех типов, в том числе АПК, и особенности их перевода на норвежский язык [10]. Д. Эрнандес также обращается к теме перевода французских абсолютных конструкций, сопоставляя французские АПК и их переводы на испанский язык [11]. А. Борилло рассматривает АПК в рамках работы о причастных оборотах с временным значением, имеющих вторичную предикативность. Лингвист выделяет две группы причастных оборотов: подчинительные структуры, которые сохраняют временной маркер, говорящий о том, что данная конструкция является сокращенной формой союзного предложения, и структуры без маркера, о временных отношениях в которых говорит лишь их «изолированный» характер [12]. Итак, АПК в зарубежных работах рассматривается чаще всего в рамках более общих вопросов: причастных оборотов или конструкций, имеющих значение вторичной предикативности, а также в контексте проблем перевода АПК на другие языки.

Анализ собственного корпуса приводит к выводу, что АПК представляет собой довольно сложное по своей синтаксической и семантической природе явление, которое не всегда однозначно идентифицируется в тексте, поскольку имеет некоторые сходные черты с некоторыми другими языковыми явлениями. Данная проблема еще не получила должного освещения в научной литературе. Таким образом, в настоящей статье поставлена цель установить круг этих явлений и разработать критерии, позволяющие отграничивать их от АПК.

Данное исследование опирается на материал полнотекстового корпуса, включающего произведения французских и бельгийских писателей К. Панколь (La valse lente des tortues, 2008), Ф. Вапрака (L'homme à l'envers, 1999; Debout les morts, 1995), П. Модино (La Petite Bijou, 2001; Dora Bruder, 1997), А. Гавальды (Ensemble, c'est tout, 2004; Je l'aimais, 2002), А. Нотомб (Mercure, 1998), Б. Вербера (Les fourmis, 1999). Обработка материала осуществлялась с помощью программы Linguistica, предназначенной для создания специализированных лингвистических корпусов, обработки языкового материала и получения статистических данных (свидетельство о государственной регистрации № 2014660349 от 06.10.2014).

Методом сплошной выборки в корпусе было выделено 287 фрагментов, содержащих конструкции, имеющие признаки АПК. В результате тщательного анализа 34 конструкции, обладающие схожими свойствами, были исключены из корпуса как не соответствующие АПК.

Прежде чем приступить к описанию критериев, отграничивающих АПК от смежных явлений, необходимо обратиться к определению этого понятия и сформулировать значимые характеристики этой конструкции, опора на которые в дальнейшем позволит четко идентифицировать АПК в тексте.

В научной литературе, посвященной изучению АПК, наблюдается некоторая терминологическая разногласия (АПК, причастное предложение, причастная группа и т.д.) и фигурируют довольно краткие определения конструкции, не дающие полного представления о синтаксической и семантической сложности исследуемой структуры.

П.И. Заславская определяет абсолютную причастную конструкцию (*construction participe absolue*) как *группу слов*, имеющую «собственный субъект действия, не совпадающий с подлежащим предложения, в состав которого входит такой причастный оборот». Эта самостоятельная группа слов имеет «значение обстоятельства времени, причины, условия и др.». [13. С. 224]. В работе Е.А. Реферовской и А.К. Васильевой говорится о *причастной группе* (*groupe participe*), обладающей независимостью благодаря присоединению к ней собственного подлежащего. Функция причастия в этой группе сближается с функцией сказуемого [14. С. 276].

Н.М. Флерова, М.А. Бабаян определяют абсолютные причастные конструкции как *особые обороты*, при которых «подлежащее главного предложения, где сказуемое выражено личной формой глагола, и подлежащее придаточного предложения, где сказуемое выражено причастием, не совпадают между собой, так как каждое из этих предложений имеет собственное, самостоятельное подлежащее» [15. С. 482].

Н.М. Штейнберг использует термин «*la proposition participe absolue*» (абсолютное причастное предложение), т.е. понимает под абсолютной причастной конструкцией не просто «группу слов», «особый оборот», а *бессоюзное придаточное предложение* [4. С. 135]. Аналогичные определения можно найти и в работах других лингвистов, например Л.И. Илия [5. С. 272] и др.

Б. Куллан называет абсолютной причастной конструкцией ту, которая состоит из двух компонентов, связанных предикативным отношением. Автор уточняет, что сама конструкция является цельной, но не обладает полной независимостью, являясь обособленным элементом предложения, отделенным от его синтаксического ядра. Автор заостряет внимание на особенности связи АПК с основным предложением, которая осуществляется без какого-либо соединительного слова [10. С. 18]. Следовательно, семантика отношений между АПК и основной частью предложения имплицитна, она не вербализуется при помощи того или иного служебного слова – показателя синтаксической связи.

Ядром конструкции является причастие – синкретичная часть речи, в которой переплетаются признаки двух частей речи – глагола и прилагательного. В абсолютном употреблении, в составе конструкции, причастие максимально приближается по выполняемой функции к сказуемому, проявляя высокую степень предикативного признака. Подчеркивается, что «степень предикативности причастия, имеющего собственное подлежащее, независимое от подлежащего основной части предложения, и используемого в качестве сказуемого, безусловно, очень высока. Однако причастие не способно полностью выполнять в полной мере функцию сказуемого, выраженного глаголом в личной форме» [3. С. 16–17]. Данная конструкция не может функционировать в речи самостоятельно, а только в составе включающего его предложения. Поэтому, на наш взгляд, речь должна идти не о «причастном предложении», а о причастной конструкции, которую следует определить как абсолютную конструкцию с причастием, которая имеет собственный субъект действия, не совпадающий с подлежащим главного предложения, и связана с ним обстоятельственными отношениями определенного типа.

В научной литературе, как правило, отмечается, что АПК имеет значения времени и причины. И.Н. Кузнецова добавляет к значениям АПК условие и уступку [7. С. 156], что находит подтверждение в нашем корпусе. 76% конструкций имеют временное (1) и/или причинное (2) значение:

(1) *Les femmes se divisent en deux catégories : les laides et les maquillées, les mères étant à part* (Katherine Pancol).

(2) *Elle resta un long moment, grelottant de peur. Et s'ils n'étaient pas morts, les pieds plombés au fond de la Tamise* (Katherine Pancol).

Ф. Муре добавляет, что АПК могут также иметь значение сопутствующего действия, и отмечает их низкую частотность у А. Роб-Грийе [9. С. 2]. Однако анализ собственного корпуса позволил зафиксировать довольно значительное количество АПК с этим значением (18%): *Conformément au rite, elles attendirent donc que cinq minutes passent, chacune à sa manière, l'une dévisageant l'autre qui fuyait son regard.* (Amélie Notomb) *Tout se passa exactement comme il l'avait prévu: «oui», «non», «ah bon?», «c'est pas vrai?», «ben merde...», «pardon...», «putain», «oups...» et «saper-lotte» furent les seuls mots qu'il prononça, Yvonne assurant les intervalles à la perfection...* (Anna Gavalda). Как правило, подобные конструкции располагаются в постпозиции по отношению к главному предложению.

Важно также и расположение АПК относительно основного предложения. Анализ корпуса позволил выявить две возможные позиции АПК. В большей части случаев (65%) конструкция занимает постпозицию и может иметь все вышеперечисленные обстоятельственные значения. Как отмечают Л.М. Кольцова, О.Ю. Новикова, постпозиционный причастный оборот может выделяться не только запятыми, но и другими знаками препинания, что способствует раскрытию «эмоциональных и психологических аспектов восприятия автором действительности» [16. С. 90]. В нашем корпусе в этой группе наблюдаются случаи парцелляции, т.е. отделения АПК от основной части знаком точки (6%). Парцелляция, «особый прием коммуникативно-стилистической организации текста» [17. С. 36], применяется «с целью актуализации значимой части высказывания» [18. С. 116]. Парцелляция абсолютной конструкции представляет собой оригинальный вариант ее графического оформления, позволяет автору сделать четкий акцент на содержательной стороне конструкции, повысить ее экспрессивность: *Elles avaient préparé la fête, Iris ruminant dans son coin, aidant du bout des doigts, hostile et silencieuse. Boudant les premiers invités, boudant les suivants. Jusqu'à ce qu'Hervé Lefloc-Pignel apparaisse* (Katherine Pancol).

Следующей, менее частотной группой (35%) является группа АПК, размещенных в препозиции. Эти конструкции имеют чаще всего временное или причинное значение: *Les fourrés traversés, elles continuent vers l'ouest* (B. Werber).

Таким образом, абсолютной причастной конструкцией можно считать ту, которая имеет следующие ключевые характеристики:

1) строевыми элементами АПК являются причастие, выступающее в функции сказуемого, и его собственное подлежащее – имя существительное или местоимение, не совпадающее с подлежащим основной части предложения;

2) между этими элементами устанавливаются субъектно-предикатные отношения, чему способствуют наличие у причастия собственного подлежащего и обособленное положение конструкции, однако предикативный признак выражен не полностью, так как причастие является неличной формой глагола и не может полноценно заменить его;

3) АПК выражает обстоятельственные значения времени, причины, условия, уступки, сопутствующего действия;

4) преимущественно постпозиционное размещение АПК по отношению к основной части предложения, однако возможна ее препозиция.

Во французском языке функционируют и другие абсолютные конструкции и обороты, имеющие схожие с АПК свойства. Однако в лингвистической литературе практически не обсуждается вопрос о смежных с АПК явлениях. Их анализ и выявление значимых отличий позволит еще более точно обозначить границы этого явления. Критериями смежности будет, во-первых, морфологический признак – причастие в основе конструкции; во-вторых, абсолютный характер рассматриваемых конструкций, который проявляется в наличии собственного подлежащего.

Причастный оборот – причастие с относящимися к нему зависимыми словами выступает в функции либо определения, либо обстоятельного определения: *Paulette vit seule, tombe beaucoup et cache ses bleus, paniquée à l'idée de mourir loin* (Anna Gavalda). *Puis-je vous demander de sortir des draps?* dit-elle d'une voix neutre, *préférant traiter celle qu'on lui disait malade comme une personne normale* (Amélie Notomb). Они не могут функционировать как придаточные предложения с обстоятельным значением времени, выражая предшествование, даже если оборот расположен в начале предложения [12. С. 14].

Причастный оборот не имеет строго фиксированной позиции в предложении. В образовании оборотов участвуют *participe présent* и *participe passé*, последнее согласуется с существительным или местоимением из основной части предложения, к которому оно относится. Следует отметить, что чаще всего обороты с *participe présent* не выделяются запятыми: *Je peux recevoir une lettre recommandée demain matin me sommant de quitter les lieux dans la semaine qui suit...* (Anna Gavalda) Редкие случаи обособления обозначаются в письменной форме запятой, а в устной речи – паузой [19. С. 50].

Причастные обороты и АПК схожи по своему функционированию в предложении: обладают обстоятельными значениями, синтаксически и семантически осложняют его структуру. Но в отличие от АПК причастные обороты не содержат собственного подлежащего, связаны с главным словом по способу согласования, не всегда подлежат обособлению и более свободны позиционно.

Абсолютная конструкция с существительным – оборот, состоящий из существительного и прилагательного, из существительного и существительного с предлогом либо из существительного, сопровождаемого причастием. Некоторые авторы [5. С. 273] относят последние к АПК в обстоятельном значении образа действия. В нашем исследовании мы разграничиваем данные конструкции, поскольку АПК семантически выступает эквивалентом придаточного предложения с обстоятельными значениями причины,

времени, условия, уступки и сопутствующего действия, тогда как АК существительное + причастие передает внешние и внутренние характеристики субъекта, например: *Elle aperçut l'inconnu qui venait à sa rencontre, les mains dans les poches (1), son bonnet enfoncé jusqu'aux sourcils (2)* (Katherine Pancol). Первая выделенная конструкция *les mains dans les poches* представляет собой схему существительное + существительное и выражает позу, манеру, с которой передвигается человек. Вторая конструкция *son bonnet enfoncé jusqu'aux sourcils* представляется в виде схемы существительное + причастие. Она обозначает внешнюю характеристику человека, выполняет функцию несогласованного определения. В такого рода конструкциях очевидно отношение типа «часть – целое», где «часть» является неотъемлемым элементом обладателя (*les mains, les sourcils*), о чем и пишет Ф. Муре: «...il doit exister une relation de possession de type partie-tout entre un GN... d'une part... et un référent saillant du procès... d'autre part» [9. С. 55].

Абсолютная конструкция с герундием не имеет своего подлежащего. В очень редких случаях, как отмечает Л.И. Илия, герундий не относится к подлежащему предложения: *En discutant, le soir tombait* [6. С. 193]. Как правило, в таких случаях субъект действия, к которому относится герундий, восстанавливается из контекста. Указаниями на него служат обычно местоимения-дополнения, притяжательные прилагательные и др. Как отмечает М. Эрслунд, смежными с АПК их делают обстоятельственное значение времени и относительно независимый характер [20. С. 93]. Отличительными чертами являются наличие частицы *en*, являющейся показателем герундия, отсутствие вербально выраженного подлежащего и невозможность согласования с ним. В отличие от конструкции с причастием настоящего времени, которая обозначает единую ситуацию с остальной частью предложения, конструкция с герундием – иную ситуацию, которая может быть четко отграничена от ситуации, описываемой в главном предложении.

Следует заострить внимание на одном из видов французской АПК, в котором, как и в рассмотренной нами выше абсолютной герундиальной конструкции, может отсутствовать логический субъект. Такой тип конструкций назван И.Н. Кузнецовой архаичным, но частотным случаем употребления АПК [7. С. 159]. Вслед за ней относим причастные конструкции без вербально выраженного субъекта к АПК на том основании, что он всё же может быть восстановлен из ближайшего контекста, при этом причастие подвергается согласованию с ним: *Mais une fois morte, il pouvait lui faire dire ce qu'il voulait.* (Fred Vargas). *Une fois sorti de la Méditerranée, ça lui avait donné un coup de fouet...* (Fred Vargas). Указание на субъект действия, выражаемый местоимением – косвенным дополнением *lui*, мы видим во второй части предложения. Поскольку местоимение заменяет существительное женского рода в первом примере, причастие согласуется с этим подразумеваемым подлежащим: *morte*.

В такие конструкции не могут входить безличные глаголы, указывающие на атмосферные явления, поскольку очевидна невозможность восстановления семантического субъекта: **Pleuvant trop, nous sommes restés au coin du feu* [21. С. 12].

Н.М. Штейнберг причисляет АПК без логического субъекта к одному из видов анаколуфа [4. С. 138]. Встречающийся в художественной речи, этот стилистический прием используется в АПК для придания экспрессивности. Подобные построения мы относим именно к АПК, так как они не противоречат ее пониманию как независимой конструкции с причастием, имеющей вышеуказанные обстоятельственные значения. Кроме того, наличие показателей иного субъекта действия, чем в основной части предложения, возможность его восстановления из контекста и согласование причастия позволяют включать подобные конструкции в число АПК.

Таким образом, анализ смежных явлений позволяет выявить следующие особенности АПК:

- 1) выполнение функций обстоятельств, отсутствие отношения обладания;
- 2) обязательное согласование причастия с относящимся к нему подлежащим;
- 3) обязательное обособление, что обеспечивает конструкции относительную независимость от основного предложения, но позволяет оставаться в пределах его интонационных границ;
- 4) наличие особого типа АПК, подлежащее которого восстанавливается из ближайшего контекста.

Итак, предпринятое исследование позволяет уточнить сущность данного явления. Под АПК мы понимаем обособленную конструкцию, строевыми элементами которой являются причастие, выступающее в функции сказуемого, и его собственное подлежащее – имя существительное или местоимение, не совпадающее с подлежащим основной части предложения. Обособленное положение конструкции и наличие у причастия собственного подлежащего способствуют установлению субъектно-предикатных отношений между этими элементами. АПК выражает обстоятельственные значения времени, причины, условия, уступки, сопутствующего действия и размещается преимущественно постпозиционно (реже препозиционно) по отношению к основной части. В особом – архаичном – типе АПК допускается опущение подлежащего, восстанавливаемого из контекста всего предложения. АПК имеют круг смежных явлений: конструкции, близкие АПК по морфологическим признакам (с причастием в основе), и абсолютные конструкции, объединенные наличием (или отсутствием, но с возможностью восстановления из контекста в случае конструкции с герундием) собственного логического субъекта. Абсолютные конструкции с существительным имеют значение образа действия, включают отношение обладания типа «неотъемлемая часть – целое». Абсолютные герундиальные конструкции оформлены с помощью частицы *en*, в них отсутствует относящееся к данной неличной форме глагола подлежащее, они имеют только обстоятельное значение времени и выражают действие одновременное с действием предиката основной части предложения.

Литература

1. Нелюбина М.С. Структурно-семантические особенности испанской АПК и смежные конструкции // В мире научных открытий. 2015. № 1.3 (61). С. 1413–1424.

2. Нелюбина М.С. Французская и испанская абсолютные причастные конструкции в ряду конструкций с неличными формами глагола // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты. Тверь. 2014. № 26. С. 143–146.
3. Богоявленская Ю.В. Синтаксические особенности абсолютных причастных конструкций (на материале французских газетных текстов) // Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. 2014. Вып. 5. С. 15–23.
4. Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка: Ч. 2: Синтаксис простого и сложного предложения. Л.: Просвещение, 1972. 240 с.
5. Илия Л.И. Синтаксис современного французского языка. М.: Изд-во лит-ры на ин. яз., 1962. 280 с.
6. Илия Л.И. Грамматика французского языка. М.: Высш. Шк., 1964. 304 с.
7. Кузнецова И.Н. Сопоставительная грамматика французского и русского языков. М.: Стратегия, 2002. 272 с.
8. Гак В.Г., Розенблит Е.Б. Очерки по сопоставительному изучению французского и русского языков. М.: Высш. шк., 1965. 378 с.
9. Mouret F. Deux types de constructions absolues dans La Jalousie de Robbe-Grillet // L'information grammaticale. Peeters Publishers, 2011. С. 51–56.
10. Kulland B. Les constructions participiales du francais et leurs traductions norvégiennes correspondantes. Masteroppgave: University of Oslo, 2008. С. 1–93.
11. Hernández D.G. La traduction français-espagnol des constructions absolues dans la presse // Synergies Espagne. 2010. № 3. Р. 95–106.
12. Borillo A. Quelques structures participiales de valeur temporelle en prédication seconde // Travaux Linguistiques du Cerlico. 2006. Р. 1–16.
13. Заславская П.И., Алямская Н.В. Грамматика французского языка. М.: Высш. шк., 1978. 323 с.
14. Реферовская Е.А., Васильева А.К. Теоретическая грамматика современного французского языка. М.: Просвещение, 1982. 430 с.
15. Бабаян М.А. Практическая грамматика современного французского языка / М.А. Бабаян, Н.М. Флерова. М.: Внешторгиздат, 1964. 502 с.
16. Кольцова Л.М., Новикова О.Ю. Графическая репрезентация причастия и причастного оборота в художественном тексте // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2014. №4. С. 88–91.
17. Богоявленская Ю.В. Парцелляция как средство повышения привлекательности газетного заголовка // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. 2014. Т. 14. Вып. 3. С. 35–39.
18. Богоявленская Ю.В. Тенденции эволюции структуры парцеллированной конструкции в русском и французском языках // Вестн. Ленингр. гос. ун-та им. А.С. Пушкина. 2013. Т. 7. № 1. С. 115–123.
19. Halmøy O. Les formes verbales en -ant et la prédication seconde // Travaux de linguistique. 2008. № 2 (57). Р. 43–62.
20. Herslund M. Le participe présent comme co-verbe // Langue française. 2000. № 127. Р. 86–94.
21. Muller C. Participe présent, conjonction et construction du sujet // Travaux Linguistiques du Cerlico, 19 : Les formes non finies du verbe-2. Presses Universitaires de Rennes. 2012. Р. 19–36.

THE ABSOLUTE PARTICIPIAL CONSTRUCTION IN THE FRENCH LANGUAGE AND THE ADJOINING PHENOMENA

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 3 (41). 27–36. DOI: 10.17223/19986645/41/3

Nelyubina Marina S., Bogoyavlenskaya Yulia V., Ural State Pedagogical University (Ekaterinburg, Russian Federation). E-mail: maranelubina@rambler.ru / jvbog@yandex.ru

Keywords: French language, absolute construction, absolute participial construction.

The article is about the French absolute participial construction. The absolute participial construction (APC) is one of the most complicated and understudied elements of the syntactic system of French. Domestic linguists disregarded many aspects of this linguistic phenomenon that requires a comprehensive study. These constructions allow to diversify the syntactic pattern of the text and serve as an alternative to subordinate clauses by shortly rendering their rich content.

The existing definition does not fully reflect the complexity of the syntactic and semantic nature of this phenomenon. The aim is to identify certain related phenomena and develop explicit criteria for APC identification.

The participle clause, the absolute construction with a noun and the absolute construction with a gerund are classified as adjacent constructions. Some constructions found in contemporary fiction are analyzed. The authors clarify the definition of APC and lay emphasis on its features. The attention is focused on a particular type of APC – construction without a verbalized subject, as well as one of the specific written options – parcelling.

The authors understand APC as an unattached construction to be formed by a participle acting as a predicate and its own subject – a noun or a pronoun that does not coincide with the subject of the main clause. The detached position of the construction and its own subject contribute to the establishment of subject-predicate relationship between these elements. APC has an adverbial meaning of time, cause, condition, concession, accompanying actions and is usually used in a postpositive (and prepositional, less frequently) position to the main clause. It is acceptable to omit the subject in a particular – archaic – APC type, and this subject is understood from the context of the whole sentence. APCs have some related phenomena: constructions being close to APC in the morphological sense (with a participial stem) and “absolute” constructions combined by the presence (or absence, but for constructions with gerund, when it is possible to understand the subject from the context) of their own logical subject. Absolute constructions with a noun have an adverbial meaning of manner, include the possession relationship such as “integral part – integer”. Absolute constructions with a gerund are marked by the particle *en*, they do not have their own subject related to this non-finite verb form, they have only an adverbial meaning of time and express an action concurrent with the predicative action in the main clause.

References

1. Nelyubina, M.S. (2015) Strukturno-semanticheskie osobennosti ispanskoy APK i smezhnye konstruksii [Structural-semantic features of the Spanish APC and related constructions]. *V mire nauchnykh otkrytiy – In the World of Scientific Discoveries*. 1.3 (61). pp. 1413–1424.
2. Nelyubina, M.S. (2014) Frantsuzskaya i ispanskaya absoljutnye prichastnye konstruksii v ryadu konstruksiy s nelichnymi formami glagola [French and Spanish absolute participial constructions in structures with non-finite verb forms]. *Inostrannye yazyki: lingvisticheskie i metodicheskie aspekty*. 26. pp. 143–146.
3. Bogoyavlenskaya, Yu.V. (2014) Sintaksicheskie osobennosti absoljutnykh prichastnykh konstruksiy (na materiale frantsuzskikh gazetnykh tekstov) [The syntactic features of absolute participial constructions (in the French newspaper texts)]. *Aktual'nye voprosy perevodovedeniya i praktiki perevoda*. 5. pp. 15–23.
4. Shteynberg, N.M. (1972) *Grammatika frantsuzskogo yazyka* [The grammar of the French language]. Pt. 2. Leningrad: Prosveshchenie.
5. Iliya, L.I. (1962) *Sintaksis sovremennogo frantsuzskogo yazyka* [The syntax of modern French]. Moscow: Izdatel'stvo literatury na inostrannykh yazykakh.
6. Iliya, L.I. (1964) *Grammatika frantsuzskogo yazyka* [Grammar of French]. Moscow: Vysshaya shkola.
7. Kuznetsova, I.N. (2002) *Sopostavitel'naya grammatika frantsuzskogo i russkogo yazykov* [Comparative Grammar of the French and Russian languages]. Moscow: Strategiya.
8. Gak, V.G. & Rozenblit, E.B. (1965) *Ocherki po sopostavitel'nomu izucheniyu frantsuzskogo i russkogo yazykov* [Essays on the comparative study of French and Russian]. Moscow: Vysshaya shkola.
9. Mouret, F. (2011) Deux types de constructions absolues dans La Jalousie de Robbe-Grillet [Two types of absolute constructions in La Jalousie by Robbe-Grillet]. In: *L'information grammaticale* [Grammatical Information]. Peeters Publishers. pp. 51–56.
10. Kulland, B. (2008) *Les constructions participiales du francais et leurs traductions norvégiennes correspondantes* [The participial constructions of French and their corresponding Norwegian translations]. Masteroppgave: University of Oslo.
11. Hernández, D.G. (2010) La traduction français-espagnol des constructions absolues dans la presse [The French-Spanish translation of absolute constructions in the press]. *Synergies Espagne*. 3. pp. 95–106.
12. Borillo, A. (2006) Quelques structures participiales de valeur temporelle en prédication

seconde [Some participial structures with the meaning of time in secondary predication]. *Travaux Linguistiques du Cerlico*. 23. pp. 1–16.

13. Zaslavskaya, P.I. & Alyamskaya, N.V. (1978) *Grammatika frantsuzskogo yazyka* [The grammar of the French language]. Moscow: Vysshaya shkola.

14. Referovskaya, E.A. & Vasil'eva, A.K. (1982) *Teoreticheskaya grammatika sovremennogo frantsuzskogo yazyka* [Theoretical grammar of modern French]. Moscow: Prosveshchenie.

15. Babayan, M.A. & Flerova, N.M. (1964) *Prakticheskaya grammatika sovremennogo frantsuzskogo yazyka* [Practical grammar of modern French]. Moscow: Vneshtorgizdat.

16. Kol'tsova, L.M. & Novikova, O.Yu. (2014) Graphic representation of participles and participle phrases in a literary text. *Vestnik VGU. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya – Proceedings of Voronezh State University. Series: Linguistics and intercultural communication*. 4. pp. 88–91.

17. Bogoyavlenskaya, Yu.V. (2014) Parcellation as a Tool Increasing a Newspaper Headline Attraction. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya Filologiya. Zhurnalistika – Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philology. Journalism*. 14:3. pp. 35–39. (In Russian).

18. Bogoyavlenskaya, Yu.V. (2013) Tendencies of the evolution of detached constructions structure in the Russian and French languages. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina – Vestnik of Pushkin Leningrad State University*. 7:1. pp. 115–123. (In Russian).

19. Halmøy, O. (2008) Les formes verbales en -ant et la prédication seconde [The verbal forms in -ing and secondary predication]. *Travaux de linguistique*. 2 (57). pp. 43–62.

20. Herslund, M. (2000) Le participe présent comme co-verbe [The verb-like present participle]. *Langue française*. 127. pp. 86–94.

21. Muller, C. (2012) Participe présent, conjonction et construction du sujet [Present participle, conjunction and construction of the subject]. *Travaux Linguistiques du Cerlico*. 19. pp. 19–36.

УДК 81-114.4

DOI: 10.17223/19986645/41/4

З.И. Резанова, Ю.К. Скрипко

ЛИЧНОСТЬ В СРЕДЕ ДИСКУРСА: ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ДИСКУРСА ВИРТУАЛЬНЫХ ФАН-СООБЩЕСТВ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ)

В статье определяется значимая характеристика моделируемой языковой личности – типовая, характеризующаяся по совокупности языковых средств, проявляемых в одном типе дискурса. Обосновывается направление анализа – от речевых/языковых особенностей к построению социально-психологического типа личности – и применение основных методов анализа – контент-анализ и социологическое портретирование. Анализируются дискурсивно релевантные черты характера типовых участников виртуальных фан-объединений. Выявлены языковые средства репрезентации дискурсивно актуальных свойств личности.

Ключевые слова: языковая личность, дискурсивная языковая личность, дискурс-анализ, фан-культура, дискурс фан-сообществ, виртуальный дискурс.

Задачи, решаемые в статье, входят в проблемное поле актуальных направлений лингвистики – теории языковой личности и дискурс-анализа. Проблема типов языковых личностей (ЯЛ), принципов их выделения и приемов анализа – одна из активно дискутируемых в настоящее время в лингвоперсонологии, так как она непосредственно коррелирует с определением границ понятия ЯЛ, степени «языковой реальности» конструируемых в лингвистических исследованиях моделей. Общий обзор принципов выделения типов ЯЛ дан в ряде работ, из числа которых назовем значимые для формирования теоретических основ проведенного исследования обзоры В.И. Карасика [1. С. 7–22.], Н.Д. Голева [2. С. 7–28], Е.В. Иванцовой [3. С. 72–95]. Мы представим лишь те оппозиции в типологиях, которые релевантны для обоснования описываемого в статье типа – дискурсивной личности.

Как представляется, одна из базовых исследовательских дихотомий лингвоперсонологии – моделирование *типовой (коллективной) vs. единичной (индивидуальной) ЯЛ*. Само понятие «личность» – базовый компонент составного термина – ориентирует на разработку проблем языкового существования отдельной личности, персоны, что и предпринято в значительном количестве работ. Отметим наличие важной «развилки» в определении предметной сферы лингвоперсонологических исследований: изучаются *все аспекты языкового существования ЯЛ*, которые фиксируются на протяжении длительного, нередко непосредственного включенного наблюдения; анализ языковых особенностей ведется на всех языковых уровнях, примером чего могут быть описания диалектной языковой личности ([4, 5] и др.).

ЯЛ изучается на основе фиксации отдельных дискурсов, в которых проявляется наиболее ярко; как правило, при этом ЯЛ моделируются по их соци-

ально значимым речевым, прежде всего художественным, практикам, как, например, в [6. С. 112–116].

В то же время в начале становления теории в работах Ю.Н. Караулова понятие ЯЛ разрабатывалось в варианте типовой усредненной личности [7], и это направление представлено весьма значительным количеством работ, раскрывающих обширный спектр аспектов языковой/речевой деятельности субъектов коммуникации, на основании которых происходит выделение типов. При этом объединяющим признаком данного направления является то, что выделение типовых ЯЛ базируется *на ограничении наблюдаемых исследователем дискурсивных практик, а также на ограничении языковых аспектов моделирования ЯЛ.*

Лингвоперсонология – междисциплинарное лингвистическое направление, формирующееся на пересечении теории и методологии лингвистики, психологии и социологии (с возможным привлечением понятийно-терминологического и методологического аппарата и других гуманитарных наук). В частных разработках, относимых к одному междисциплинарному направлению, непосредственный предмет исследования и привлекаемая методология могут взаимно меняться (например, в когнитивной лингвистике мы наблюдаем исследования языковых феноменов с привлечением методологического аппарата когнитивной науки или привлечение данных языка для объяснения когнитивных феноменов). Лингвоперсонологические исследования также могут быть в этом аспекте разделены на две группы: моделируются *социальные, психологические типы личностей* на основе лингвистического анализа их речевых манифестаций, как, например, в [2. С. 16–26; 85–132; 8. С. 199–207], или же целью исследования является *языковое портретирование*, осуществляемое с привлечением данных социального, культурного фона формирования личности, ее психологических особенностей.

В последнем случае есть также значимые различия предметной сферы исследования: 1) при моделировании *ЯЛ характеризуется комплексно*, с привлечением данных своеобразия использования языковых единиц всех уровней, исследователи стремятся охарактеризовать все речевые особенности ([4, 5] и др.); 2) *характеризуется один аспект языкового строя* [2. С. 37–50; 67–95], *речевых особенностей*, например особенностей стратегий коммуникативного взаимодействия [9. С. 298–311; 10. С. 110–114]; чаще всего моделируется ЯЛ, выступающая в роли адресанта, реже – адресата [2. С. 61–75; 11. С. 357–371].

Дискурсивная личность стоит в ряду типовых (коллективных) ЯЛ, выделяемых на основе особенностей коммуникативной деятельности в рамках каких-либо дискурсов, т.е., как правило, в результате анализа создается не комплексная, но аспектированная модель. Н.Л. Синельникова, отстаивая «научную легитимность» данного понятия, дает ему следующее определение: «Дискурсивная личность – это коммуникативная (интерактивная) личность, обладающая «коммуникативным паспортом» как совокупностью индивидуальных коммуникативных стратегий и тактик, когнитивных, семиотических, мотивационных предпочтений, сформировавшихся в процессах коммуникации» [12. С. 458]. Следуя в целом этому определению, мы не соглашаемся с тезисом автора о научной исчерпанности моделирования *языковой личности*

с выделением характеризующих особенностей в соответствии с уровневой стратификацией *языка*. Мы полагаем, что моделирование дискурсивной личности – это создание аспектированного описания языковой личности, т.е. личности в системе ее языковых репрезентаций, и в этом смысле дискурсивная личность – это вариант *языковой* личности. Все параметры «коммуникативного паспорта» репрезентированы в текстовой деятельности, в особенностях организации текстового пространства, формируемого солидарным участием единиц всех языковых уровней. И в этом отношении это также дискурсивная *языковая* личность. Языковые особенности текстового пространства дискурсов открывают возможность моделирования психологических, когнитивных, социальных установок личностей, формирующих дискурс (см. об. этом также [12. С. 457; 13]. Дискурсивная личность играет ключевую роль в формировании среды дискурса, одновременно порождая и «потребляя» его.

Таким образом, в данной работе представлен один из аспектов лингвокогнитивной модели дискурсивной личности. Мы моделируем *типовую дискурсивную* языковую личность на основании анализа текстов *одного дискурса*, при этом в сферу анализа попадает не один срез языковых особенностей текстопорождения, но отличительные черты *единиц разных уровней*, проявленные типовым образом в текстах дискурса. Анализ речевых особенностей участников дискурса направлен на моделирование их *социально-психологических типов*. Определение языковых особенностей ЯЛ не является в данной работе самоцелью, оно позволяет выявить когнитивное и психологическое своеобразие конкретных личностей, актуализируемое данным дискурсом, смоделировать психологические черты «усредненной», типовой личности дискурса.

Когнитивные, психологические, социальные установки отдельных личностей оказываются взаимно скоординированными, организованными единством дискурсивной картины мира [14. С. 15–94] и актуализированными в типовых видах социальной деятельности и коммуникативных практик – особых типах дискурсов. Участников дискурса характеризует единство концептуальной картины мира в сочетании с интенциональной общностью, готовностью следовать общим принципам общения в границах дискурса.

В статье анализируется субдискурс музыкальных фан-объединений, функционирующих в качестве группы социальной сети «ВКонтакте». Такой тип коммуникации интерпретируется нами как субдискурс, т.е. вариант реализации коммуникативной практики, зависимый от дискурса/дискурсов, занимающих более высокое положение в иерархии, в порядке дискурса (см. [15. С. 115]). Анализируемый субдискурс формируется на пересечении виртуального дискурса и субкультурного дискурса фан-сообществ, являющихся по отношению к нему дискурсами более высокого порядка и влияющими на его организацию. Способы организации каждого из дискурсов влияют на формирование порождаемого субдискурса особым образом.

Виртуальность, обеспечивая общий канал передачи информации, формируя среду коммуникации, предопределяет ее существенные черты (особенности хронотопа, мультимедийность и т.д.), в том числе и набор коммуникативно-поведенческих установок участников, проявляющихся главным образом в употреблении характерных для интернет-дискурса языковых и невер-

бальных средств: гипертекст, компьютерный сленг, письменная фиксация особенностей устной речи, наличие своеобразных эмотиконов и др. Мы присоединяемся к точке зрения О.В. Лутовиновой, противопоставляющей варианты использования виртуальной среды Интернета, обусловленные различием целей коммуникации. В первом случае коммуникация протекает в рамках так называемого реального бытового дискурса (общение с родственниками, знакомыми, деловое общение), в котором Интернет используется лишь в качестве канала связи, «служит лишь дополнительным средством, и коммуникация развивается по имеющимся, давно сложившимся моделям» [16. С. 32].

В другом варианте Интернет используется как особая площадка создания виртуальных групп коммуникантов – сообщества молодых матерей, спортивных фанатов, «геймеров», поклонников определенных музыкальных направлений или коллективов и т.п. Цель формирования подобных виртуальных групп – установление контактов с единомышленниками для обсуждения актуальных тем и событий. В этой ситуации коммуникация разворачивается в рамках виртуального обыденного дискурса, который является доминирующим видом общения в Сети и «развивается согласно своим собственным нормам, имеет определенные цели, ценности, стратегии, жанры, прецедентные тексты и дискурсивные формулы» [16. 33]. Участники сообществ выстраивают собственные модели репрезентации и самоидентификации, вырабатывают особый стиль коммуникативного поведения, выборочно сообщают о событиях из своей жизни и могут представлять перед другими пользователями в облике, не совпадающем с реальным. К этому типу и относится исследуемая нами сфера виртуального дискурса – субкультурное объединение типа «фан-клуб». Этот дискурсивный тип порождается и формируется дискурсивными личностями, причисляющими себя к поклонникам определённого музыкального исполнителя. Таким образом, второй тип дискурса высокого порядка, законы которого формируют анализируемый нами субдискурс, – дискурс субкультурного объединения музыкальных фанатов, в пределах которого формируются содержание и цели коммуникации, применяемые для их достижения стратегии, ценности и идеалы.

Как социально-психологический феномен музыкальный фанатизм стал неотъемлемой частью современной подростковой и молодёжной субкультуры [17. С. 3]. Фанатизм относится к аддиктивному типу девиантного поведения и определяется как «увлечение какой-либо деятельностью, достигающее крайней степени выраженности с формированием культа и создания идолов с полным подчинением человека и «растворением» индивидуальности» [18. С. 120]. В психологии описаны свойства личности, позиционирующей себя в качестве музыкального фаната: наличие одного сверхценного увлечения, некритичное, экзальтированное отношение к кумиру, подчинение собственных интересов интересам музыкального коллектива/кумира, суженный круг общения, действия по психологическим законам групп фанатов и некоторые другие [19]. Отмечается, что это единственный вид фанатизма, для которого характерны черты, присущие любовной аддикции, что во многом определяется тем, что «объектом фанатизма, как правило, является конкретный человек, а не абстрактная идея» [17. С. 11–12], а сам «музыкальный фанатизм начинается со стирания границ между творчеством исполнителя и его лично-

стью» [20. С. 19]. Однако любовная аддикция, или восприятие кумира как идеального партнёра, не всегда является основой для формирования музыкального фанатизма: выбор идеализированного объекта и формирование типа отношения к нему зависят от ряда факторов: гендерных, возрастных, психологических, социально-статусных и многих других [21. С. 15].

В процессе исследования были проанализированы фрагменты из общей совокупности текстов коммуникаций участников фан-объединений «Eric Saade | Эрик Сааде [Official VK Group]» [22] и «Официальный Российский Фан-Клуб Dead by April» [23], функционирующих в русскоязычной социальной сети «ВКонтакте». Общий объем проанализированного материала составил 4,25 п.л., взятых из текстов сообщений, оставленных 246 коммуникантами, из которых 128 являются участниками фан-сообщества, посвященного поп-исполнителю (далее ФПИ), 118 – поклонниками группы, работающей в стиле метал (ФГМ).

Для выявления базовых объективных и субъективных социальных характеристик, которые, по нашим предположениям, являются конституирующими в формировании дискурсивной личности, нами был использован метод социологического анкетирования анализируемых групп коммуникантов, в результате применения которого была выявлена совокупность социальных признаков: «пол», «возраст», «социальный статус», наличие/отсутствие серьёзных отношений с реальным партнёром.

Состав участников двух исследуемых фан-сообществ различается по всем перечисленным признакам. Большинство участников фан-сообщества поп-исполнителя составляют девушки (95%), как правило, младшего подросткового возраста (67% – до 18 лет), которые не получают высшее образование (72%) и не состоят в серьёзных отношениях с реальными партнёрами (95%). Представители данной возрастной категории находятся в стадии поиска и формирования системы ценностей и собственного идеала, в том числе идеала партнёра, спутника жизни. В связи с развитием масскультуры в качестве подобного идеала может быть избрана популярная медийная личность: певец, актёр театра и кино и т.д. Присущие девушкам-подросткам эмоциональность и склонность к стремительному развитию чувств способствуют закреплению подобного состояния фанатизма.

Большинство фанатов метал-группы составляют представители мужского пола (77%) более старшего возраста (61% – от 18 лет и старше), уже находящиеся на стадии получения высшего образования (39% студентов при 34,5% школьников) и преимущественно не состоящие в серьёзных отношениях (при наличии большого числа поклонников строящие серьёзные отношения с реальным партнёром: 38% тех, у кого есть парень/девушка). Значимым фактором является большой процент участников, самостоятельно строящих карьеру. Это свидетельствует о том, что они уже обладают некой выработанной системой ценностей и проходят процесс социализации. Музыкальные исполнители и их творчество лишь способствуют дальнейшему прохождению этого этапа и помогают поклонникам в реализации их общественных планов и установок.

Так как мы выделяем типовые особенности текстовых манифестаций участников одного дискурса, ведущими методами анализа выступают речевое

портретирование (описание наиболее употребляемых структурных языковых единиц и категорий в речи участников), контент-анализ (количественный подсчёт языковых единиц, преимущественно лексических, и описание преобладающих в текстах). Данные, полученные в результате лингвистического анализа, стали основой выявления *дискурсивно релевантных личностных характеристик, т.е. таких, языковая репрезентация которых значима и актуальна для участников исследуемых дискурсов.*

Многообразие черт характера, представленных в психосоциологическом облике личности, может быть репрезентировано в вербальных актуализациях коммуникаций в неодинаковой степени. В статье мы характеризуем те признаки, которые получают наиболее яркое представление в текстах виртуальных фан-сообществ и, как следствие, являются основными, конституирующими свойствами типового характера музыкального фаната групп / исполнителей разной музыкальной направленности.

Вначале охарактеризуем дискурсивно релевантные психологические черты личностей, проявляющиеся в речевых практиках групп фанатов как поп-исполнителя, так и поклонников группы метал. К таким дискурсивно актуализируемым чертам характера относим диалектическое сочетание актуализации эгоцентризма и отзывчивости, проявляемых в особенностях использования языковых средств маркирования коммуникативных намерений.

Эгоцентризм. Эгоцентрически настроенный коммуникант в качестве основного намерения, определяющего характер процесса общения, избирает возможность репрезентировать себя как уникального носителя тех или иных свойств или состояний без учёта точек зрения других участников. Данное качество характера коммуникантов обеих исследуемых групп находит отражение в лексическом уровне их коммуникаций. Из результатов автоматизированного контент-анализа следует, что наиболее частотной в употреблении лексемой в сообщениях, публикуемых участниками *группы фанатов поп-музыкантов*, является личное местоимение «я». Вместе с падежными формами («меня», «мне», «мной»), а также с соответствующим ему притяжательным местоимением «мой» «я» образует группу словоформ, составляющую 4,26% от общего числа используемых лексем: *Я с Джеймсом Франко поеду тогда; Отдайте мне Эрика!)) Моё!!)) Я ж не виновата, что я спала после экза :DD; сложилось у меня не лучшее мнение о нем, в основном из-за строчки, самоуверенно спетой "I will be popular" ахах))*¹[22].

В коммуникации фанатов группы метал общий процент использований данной лексической группы составляет 2,66% от всего числа словоупотреблений. Хотя данное соотношение количественно уступает приведенным выше показателям, в пределах этого фан-объединения данная личностно-местоименная группа является преобладающей по сравнению с другими, что свидетельствует о конституирующем значении эгоцентризма в характере коммуниканта.

Ещё одним лингвистическим подтверждением данного качества является преобладание в текстах коммуникаций глагольных форм 1-го лица настоящего и будущего времени (41% при 21% форм 2-го лица и 38% форм 3-го – в

¹ Здесь и далее сохраняются орфография и пунктуация авторов текстов.

дискурсе ФПИ): *жду* **теперь** что Катя скажет про мою идею структуры...; Екатерина, да ладно))) **переживу** как-нить))) ; Я **предлагаю** 30 октября) [22].

Языковым маркером данного качества является также активное использование представителями фан-объединения группы метал противительных союзов, употребляемых в сложных предложениях, в которых коммуникант сообщает об отличии собственного мнения от мнения большинства: *Не знаю как многим, а мне голос Сандро нравится, да малость попсовый, но он великолепно сочитается с голосом Джимми; я же написала что это мое мнение, а если не слышишь разницы, то тогда выходит ТЫ тот самый "ннсч"; Вот оно как получается, пока не собираемся, значит и язык не нужен. А у меня были мысли съездить погостить к шведам; да ну, всем нравится - но все равно не то))))) ; пусть меня критикуют, но лучше бы альбом вышел тогда, когда должен был [23].* Всего противительные союзы составляют около 16% от общего числа употреблённых союзов в проанализированных текстах сообщений дискурса ФГМ. Дополнительным подтверждающим речевым фактом является использование лексем и словосочетаний, указывающих на сугубо индивидуальную форму интерпретации информации и отношения к ней: *хотя мне лично не нравятся песни где только скрим; Моё личное мнение* *но* *меня трек вообще не зацепил, непонимаю как, тех, кто ценит саунд апрелей, истекает розовыми соплями по этому весьма второсортному и почти ничем не схожему с родным звуком DBA, треку...; Раздражают только комментарии по поводу слэма. Знали на что шли, че ныть, жаловаться? <...> Поднимали всех, кто падал. Лично всё своими глазами видела, рядом стояла [23].* Представители ФГМ намеренно противопоставляют себя остальному коллективу коммуникантов, стремясь сделать акцент на личностном восприятии.

Подобные результаты, на наш взгляд, лишний раз подчёркивают сугубо индивидуальную природу данного вида музыкального фанатизма, схожего с любовной аддикцией, при которой человеку свойственны не только глубокая и длительная сосредоточенность на объекте увлечения, но и убеждённость в индивидуальности своих чувств, позиционирование себя как единственной, уникальной личности, способной испытывать чувства такого типа.

Природа эгоцентризма сама по себе противоречит возможности коммуниканта адаптироваться к интересам коллектива, принимать другую точку зрения и абстрагироваться от субъективного взгляда на положение дел. Подобная разобщённость осознаётся самими участниками, поэтому в целях обеспечения единства в рамках фан-объединений коммуниканты стараются дополнительно актуализировать аспект коллективности, организовать совместную деятельность: *я понимаю, что некоторые хотят так, некоторые по-другому, ты тоже как-то хочешь, и я как-то хочу, но блин надо как-то решить :D [22].* Только подобное преодоление разобщённости участников усилиями наиболее активных их представителей позволяет функционировать фан-клубу как целостному коллективу и сохраняет единство намерений всех, кто входит в его состав. Подобное стремление участников приводит к появлению ещё одного личностного качества – отзывчивости.

Отзывчивость. Данное качество является одним из ключевых в характере исследуемых групп коммуникантов; его наличие способствует наиболее

успешному прохождению процесса социализации в избранном фан-сообществе, становлению гармоничных отношений и их оптимизации в среде участников, позволяет осуществлять гармоничную коммуникацию в пределах фан-клуба, построенную на принципе активного реагирования на состояние других коммуникантов, выражения поддержки и соучастия.

Свойство отзывчивости проявляется в переносе акцента внимания с говорящего на собеседника, активном реагировании на сообщаемую информацию, предложении способов решения высказанной проблемы и непосредственно помощи в её успешном преодолении.

На формальном лексическом уровне высокий уровень интерактивности, направленности участников друг на друга может быть продемонстрирован наличием относительно большого процента дейктических единиц, указывающих на собеседника или группу собеседников, – личных местоимений «ты» и «вы» со всеми их словоформами и соответствующими притяжательными местоимениями «твой» и «ваш» – 1,36% от общего числа словоупотреблений в группе ФПМ: *ты не можешь быть лузером только потому что тебе какой то парень не ответил; ты не переживай, тебя я тоже научу; Ведь вы же все равно желаете хорошего)* [22]. Данные контент-анализа свидетельствуют, что отзывчивость занимает не столь преобладающее положение в структуре характера данного типа личности, как *эгоцентризм*, однако именно это качество позволяет обеспечивать эффективное взаимодействие коммуникантов, придавать двусторонний характер их общению. Как правило, данное свойство характера проявляется вербально в качестве реакций на высказывания, содержащие отрицательную оценку говорящим самого себя или ситуации: *и потом буду трудности , и это пшик просто по сравнению с тем что придется пройти в жизни, нельзя так раскисать постоянно, собери себя!; Марин, правильно ведь ещё смелости набраться надо: D – наберемся, не страшно, у нас отличная группа и все будет супер, если мы будем вместе и слажено все будем делать; даже не переживай, вместе мы все сможем легко выучить))))))* [22]. Отзывчивость индивидов, входящих в состав фан-объединения, располагает к комфортному общению и быстрой адаптации в пределах нового социума. Данное качество характера может быть обусловлено высоким уровнем эмоциональности, свойственным участникам, благодаря которому реакции на высказывания выражаются в более доступной, экспрессивной форме: *ты же знаешь, что всегда тебе помогу)))); вместе у нас все получится!!!!!!!!!!*. Также отзывчивость может являться следствием конформизма как беспрекословной готовности соглашаться с решениями, принятыми другими коммуникантами: *надеюсь Марина не против)* – «*Марина всеми руками, ногами, ушами за!!!!!!!!!!!!*» [22]. Так или иначе, наличие данной черты характера у исследуемой группы участников способствует сохранению субкультурного единства и эффективному достижению коммуникативных намерений всех его участников.

Текстовым показателем качества отзывчивости является, на наш взгляд, и наличие диалогичной коммуникации, построенной по принципу «вопрос – ответ». Число вопросительных предложений, публикуемых с целью получения или уточнения интересующей информации, и соответствующих им ответных реплик составляет 18% от числа размещённых предложений в группе

ФГМ: Это **чтож получается?** У меня ваще тогда никто не придет?))) – Кристина, **почему?**) как поправишься, **организу**й на следующей неделе хотя бы)) – «организовать то организую, но **кто в таком случае придет то?**» – «ну так давай, **агитируй**»)); а где carry me ?? где все остольные песни? **почему вы их не показываете?** – «Павел, **больше 9 песен + 1 картинки не влезят в пост; а как минус сделан? записан в ручную на гитарах, барабанах и т.д. чтоли?** – Виталий, **барабаны-сэмплы, гитары живые. сэмплы-сэмплы** [23]. Задавая вопрос, участники имплицитно намерены не только получать нужные сведения, но и установить контакт, наладить диалог с собеседником и, как следствие, успешно социализироваться в избранном субкультурном образовании. Текстовым показателем, маркирующим качество отзывчивости, может служить и использование глагольных форм побудительного наклонения, содержащих рекомендацию, пожелание по выполнению какого-либо действия, которое, по мнению говорящего, могло бы способствовать решению высказываемой проблемы, а также наличие значительного количества реплик, содержащих признательность за конкретное проявление помощи в реальном или виртуальном социуме: *зашибись, главн чтоб в этот день дел не было*)))) - так ты **запланируй** на этот день концерт и другие планы отпадут; а что позже никак <встретиться>? ((((((» – «мы там с 15 будем сидеть, **присоединяйся**, когда сможешь. будем там, скорее всего до 19-20. :); И да, кому не понравилось – **выкладывайте** свои версии – будем сравнивать :-))))); **Спасибо тем чувакам, которые вытащили из толпы мой красный кошелек!** Вы лучшие<3 [23]. Участники фан-сообщества склонны оказывать поддержку друг другу в затруднительных ситуациях, способствовать налаживанию коммуникативного контакта посредством реализуемой взаимопомощи. Благодаря отзывчивости, проявляемой как вербально, так и в ходе определённых действий, упоминаемых в текстах коммуникаций, становятся возможными успешное развитие самого процесса общения и его гармонизация в среде фан-клуба.

Далее охарактеризуем дискурсивно актуализованные черты личностей коммуникантов, репрезентированные в текстах представителей двух фан-объединений.

Типичными дискурсивно проявляемыми **чертами личности участников виртуального фан-объединения поп-музыкантов** являются конформизм, низкая самооценка и мечтательность.

Конформизм как качество, определяющее способность индивида адаптироваться к коллективу, к которому он принадлежит, беспрекословно перенимать его установки и соблюдать правила, принятые большинством, является одним из свойств личности, стремящейся стать частью какого-либо объединения. Как личностное свойство конформизм находится в противоположных отношениях с эгоцентризмом, свойственным индивидам, которые испытывают состояние музыкального фанатизма, схожего с любовной аддикцией. Однако принимая решение присоединиться к группе единомышленников, быть признанным в рамках её социума, участник тем самым берёт на себя обязательство следовать её законам. Данное стремление к социализации побуждает коммуниканта к выработке качества конформизма, что находит отражение и в текстах дискурса.

На лексическом уровне это личностное качество находит отражение в употреблении относительно большого процента основных лексем, дефинирующих общность, – личного местоимения «мы» со всеми его словоформами и соответствующим притяжательным местоимением «наш», а также определительного местоимения «все» и наречия «вместе». В целом данная группа составляет 2,52% от общего числа всех словоупотреблений: *мы все сможем легко выучить))))))*; *В итоге мы что решили?:D*; *Ну точно время наверно договоримся что бы всем было удобно)))*; *у нас просто оно одно от троих)))*. Примечательно, что даже при общении с коммуникантами, которые поначалу дистанцируются от целостного социума, уже принадлежащие к группе участники стремятся идентифицировать новичков с большинством личностей, формирующих фан-клуб: *у все проходит и у тебя пройдет :)*; *мы всем будем рады, да и вам с нами будет супер; ты не лузер, это просто ерунда какая то, тогда блин все 20 тыщ лузеры вместе стобой* [22]. Таким образом участники фан-сообщества стараются сохранить образуемое субкультурное единство, унифицировать всех коммуникантов согласно принятым в объединении признакам и стереотипам, чтобы в дальнейшем облегчить коммуникацию.

Свойство конформизма проявляется также в высказываниях, в которых напрямую выражено стремление участников следовать решению большинства, даже если это противоречит их собственным интересам и умениям: *неважно...куда надо туда и приеду; Но все равно надо самой учиться) А то что вдруг яне выучу а вы все выучите и что из за меня(Учить когда будите меня:D) время будите терять?:)* [22]. Такие комментарии свидетельствуют о ярко выраженном желании коммуникантов стать частью предпочитаемого социума, поставить интересы большинства превыше собственных. Однако здесь необходимо отметить, что большинство коммуникантов данного типа музыкальных фанатов, реализующих в своём поведении качество конформизма, побуждают себя действовать подобным образом искусственно и по прошествии какого-либо времени отрезка прекращают общение в рамках фан-клуба полностью или частично.

Вербальным выражением **низкой самооценки** участников ФПИ могут служить высказывания, содержащие упоминания коммуникантов о собственных силах, способностях и возможностях. В проанализированных нами текстах коммуникаций были выявлены лишь утверждения, заключающие в себе негативную оценку самого себя индивидом: *Ну я ж всегда знала, что лузер. Что тут удивительного?; Просто я такая вот:(Я буду пробовать..... Обидно что я такая глупенькая...; я лошпеееед* [22]. Как правило, подобные высказывания вызывают яркую ответную реакцию собеседников, стремящихся убедить автора сообщения в его неправоте относительно оценки собственных сил, поддержать его и восстановить веру в себя: *кто тебе сказал такое, все у тебя будет просто этого захотеть надо , захочешь добьешься всего))))*; *Маишуль, не паникуй преждевременно щас. все будет ок* [22]. Фан-клуб как пространство, объединяющее и социализирующее поклонников поп-музыканта, предполагает предоставление возможности каждому участнику получить поддержку от других коммуникантов, осознать собственную значимость, несмотря на индивидуальную низкую оценку своего потенциала.

Это является ещё одной причиной присоединения личности подобного типа к коллективу фан-объединения.

Мечтательность является одной из базовых черт характера личности, испытывающей состояние анализируемой разновидности фанатизма. Сверхценное увлечение способствует возникновению «ведущей идеи, направляющей сознание человека определенным образом» [19]. Действительная иллюзорность этой системы ориентации личности побуждает индивида самостоятельно моделировать желаемую реальность усилиями собственного воображения. В целях придания своей идеальной картине мира большей достоверности участник вербализует её детали, выражает собственные желания и стремления, визуализируя их словесно.

На морфологическом уровне наиболее ярким выразителем данного качества может служить употребление глагольных форм сослагательного наклонения, описывающих желаемое или предполагаемое действие. Однако формы сослагательного наклонения составляют только 0,5% от общего числа употребляемых личных форм глагола: *я сама бы никогда бы не поверила, но это реально произошло со знакомыми со мною людьми...* [22]. Это связано со стремлением участников максимально конкретизировать даже желаемую ситуацию, приблизить её к реальной хотя бы на вербальном уровне. Поэтому даже при моделировании нереальных ситуаций коммуниканты прибегают к использованию других грамматических категорий, в большей мере подходящих для осуществления их намерений.

Согласно результатам автоматизированного контент-анализа глагольная лексика, репрезентирующая выражение желания (а именно словоформы глаголов *хотеть* и *желать*) составляет 0,49% от общего числа словоупотреблений, зафиксированных в обсуждениях: *я хочу жениться!!!!!! шо нужно сделать :D; Но безумно хочется побольше народу) – много народу и весело будет)))*; *Любовь не стихает и не потухает...Вижу фото и хочу быть с ним...* [22]. В текстах музыкальных фанатов метал-группы процент употребления подобной лексики существенно меньше (0,27%). Данное обстоятельство свидетельствует о том, что у группы поклонников поп-исполнителя более явно прослеживается несоответствие между желаемым и действительным и вследствие этого вырабатывается потребность в реализации желаемого любыми способами.

Одним из показателей мечтательности является романтизация, идеализация музыкального исполнителя. Данное восприятие, абсолютно некритичное, формирует соответствующее романтическое отношение у индивида к идолизированному объекту. Вербально это может быть выражено посредством употребления единиц с положительным оценочным компонентом значения, в том числе метафорическим: *вот в сентябре опять начала смотреть видео и падать в обморок...; Тоже с ума сходла где то до середины лета,я аж треслась от него; Алёну покори́л кареглазы́й швед со сладким голосом* [22]. Идеализируя объект своего поклонения и характер собственного отношения к нему, участники моделируют иллюзорную действительность в максимально предпочтительном для них ключе.

Наконец, свидетельством дискурсивной значимости мечтательности участника фан-объединения поп-исполнителя выступает наличие так называе-

мой игровой коммуникации. Основной интенцией коммуникантов при игровом взаимодействии является стремление приятно провести время, «примерить» на себя роль, несвойственную в реальной жизни. Виртуальность общения, сама среда, в которой осуществляется коммуникация, предоставляют больше возможностей для реализации взаимодействия подобного рода. В соответствии с избираемой тематикой игра позволяет построить модель желаемой ситуации. Так как основным коммуникативным намерением участников является моделирование идеальной картины мира, включающей в себя взаимоотношения с идеальным партнёром (кумиром), то и темы для игр выбираются соответствующие. Одним из примеров может служить игра «Свадьба», суть которой заключается в том, что участники «выбирают» себе виртуального «супруга», роль которого исполняет предпочитаемая коммуникантом знаменитость (певец, музыкант, актёр, модель и т.п.), и в подробностях воссоздают желаемое свадебное торжество с привлечением всех обязательных компонентов – назначения свидетелей, приглашения гостей, выбора наряда, вручения подарков и т.д.: *Вик я в свидетели, тоже Ксю хочу с Дани; а я хочу подарить паре Трунова-Эфрон виллу на Лазурном берегу во Франции)); Всех молодожёнов поздравляю :))) Любви, благополучия, взаимопонимания! Пупсиков побольше :)))* [22]. Это служит лишним доказательством того, что поклонники, которые видят в лице кумира идеального партнёра, соответственно испытывают потребность в таком партнёре в реальной жизни и поэтому стремятся компенсировать его отсутствие хотя бы в процессе игры. Развитая вследствие состояния фанатизма, схожего с любовной аддикцией, мечтательность способствует максимально глубокому включению в игровой процесс.

Дискурсивно релевантные черты личности **участника виртуального фан-объединения группы метал.**

Критичность. Индивид, обладающий критичностью как качеством характера, способен давать как позитивную, так и негативную оценку чего-либо. Формирование критичности основывается прежде всего на системе индивидуальных взглядов и установок коммуниканта, т.е. при оценивании чего-либо индивид в первую очередь руководствуется собственным мнением.

Данное дискурсивно релевантное свойство характера проявляется в активном использовании оценочных качественных прилагательных и наречий в различных степенях сравнения: *Проснулся сегодня с классным настроением, благодаря вчерашнему отжигу! <...>; Я бы не сказал что лучше оригинала. онли вокал лучше даже как то звучит.. имхо»; «мне казалось концерт дольше должен был быть, хотя всё шик!; Сетлист в принципе был более чем ожидаем, но столько левых треков было слышать не сильно приятно* [23]. Согласно результатам анализа, эти частеречные группы в совокупности составляют 5,8% от общего числа употребленных знаменательных частей речи. Данный показатель превышает аналогичный в предыдущем фан-сообществе на 2,3%, что свидетельствует о более развитой способности исследуемой группы коммуникантов давать сравнительную оценку исходя из собственной системы ориентации.

Для обоснования высказанной критической оценки, придания ей объективности коммуниканты прибегают к активному использованию средств ар-

гументации в пользу своей точки зрения: *слащавость* Сандро меня *бесит!!! Без Понтуса хреново, и да побольше бы драйва и поменьше соплей! Моё мнение первый альбом лучше; альбом не впечатлил((слишком попсово.... предыдущий был лучше; Все было просто супер!!! Апрель молодцы.выложились на полную! Не понравилось только одно- я пришла на концерт dead by april, а не атакаму! 9 песен для разогрева это уж слишком!* [23]. Отсутствие подходящей аргументации получает резко негативную оценку со стороны участников, что находит отражение и в вербальной коммуникации: *ты никак не доказал свою точку зрения кстати, именно поэтому я ее не уважаю. Если уж решил выделиться, то делай это обоснованно; Вентиляция в клубе с древних времен! - вентиляция норм как раз-таки, не гони. была весь концерт прям под конди, замерзла даже – Очень классный аргумент! Встала под кондей и говорит, что ей было норм, логика железная!* [23]. Однако примечательно, что, как правило, в обсуждениях, зафиксированных в пределах данного фан-объединения, использование аргументов рекомендуется в случае предоставления негативной, а не позитивной оценки. По нашему предположению, это может быть связано с тем, что по умолчанию в среде коммуникантов считается общепринятой именно положительная оценка как не требующая дополнительных аргументов; отрицательное мнение, напротив, может противоречить точке зрения большинства, и, чтобы добиться его признания в избранном социуме, индивид должен высказываться с привлечением дополнительных аргументов.

Качество критичности влияет на появление у коммуниканта такой способности, наличие которой на первый взгляд невозможно для индивида, пребывающего в состоянии музыкального фанатизма, – способности негативно оценивать любимых исполнителей и их творчество. Несмотря на развитое положительное восприятие идолизированного объекта, поклонник старается находить недостатки в его деятельности и открыто высказываться о них в пределах избранного фан-сообщества: *после первого прослушивания не очень понравилось, по сравнению с первым альбомом, этот оказался более попсовым; не понравился <...> бонус в виде песни Painting Shadows, имхо перепели очень убого, предыдущая версия была просто шедевром, а это...ужас какойто(* [23]. Подобные реплики свидетельствуют о стремлении коммуникантов выработать к избранному кумиру адекватное, объективное и критичное отношение, сохранить максимально реалистичное восприятие и, следовательно, не допустить усугубления собственного музыкального фанатизма до критической степени. С другой стороны, критика творчества может говорить о желании индивида идеализировать объект поклонения. Указывая на недостатки, препятствующие возведению исполнителя в статус идеального, музыкальный фанат тем самым пытается моделировать совершенный образ кумира, определяет необходимый для этого набор признаков и отмечает те, которые уже есть в наличии, и те, которые следует приобрести в будущем. Данное стремление коммуниканта выражается в репликах рекомендательно-оценочного характера: *альбом...не плох..но стиль надо меня...иногда кажется...что ещё чу чуть и попса какая-то будет)); хотелось более быстрых драйвовых треков... а не медленных баллад); ребятки хорошо постарались, но добавить бы гитарку, чтоб пожестче!))))* [23].

Как видно из выше представленного материала, исследуемая группа коммуникантов обладает способностью рассматривать одни и те же объекты и явления в разных оценочных категориях, независимо от личных предпочтений. Критике может подвергаться даже сам идолизированный объект, что свидетельствует о более адекватном восприятии кумира поклонниками и ином характере музыкального фанатизма по сравнению с поклонниками поп-музыканта.

Агрессивность. Следование агрессивной модели поведения в абсолютном большинстве случаев реализует намерение вступить в конфликт с собеседником, создать негативное отношение к себе. Наличие подобной черты характера служит серьёзным препятствием в процессе социализации и не позволяет наладить контакт с другими коммуникантами. Однако в пределах данного фан-сообщества случаи проявления речевой агрессии как способа причинения психологического вреда с использованием вербальных компонентов (инвективы, оскорбления и т. п.) довольно частотны. В данном случае агрессивность является следствием развитого свойства эгоцентризма: признание собственной точки зрения в качестве единственно верной порождает неприятие мнения собеседников и последующую негативную реакцию. Усилению проявлений агрессии способствует такое качество участников, как повышенная эмоциональность, которая позволяет максимально экспрессивно выразить отрицательное отношение.

На лексическом уровне данное качество отражается в употреблении эмоционально-экспрессивных лексем с резко отрицательной семантикой, среди которых могут встречаться бранные или даже обценные единицы, с целью нанести оскорбление, выразить резко негативное отношение к собеседнику или ситуации: *ворвался и все разрулил!» – Да куда ж тут без меня, когда два каких-то поросеночка лезут не в свое гнездо)))*; *Так что г**нари тут не все, но большинство. Не исключено, что ты тоже. Скорее всего так и есть; Каким надо быть идиотом, чтобы так систему выхода организовать??? Организаторы – олени!* [23]. Использование подобных выражений с яркой эмоциональной окраской способствует созданию напряжения в коммуникативных отношениях и может спровоцировать вербальные конфликты, однако не обязательно является их причиной.

Причиной для возникновения конфликтов в пределах данного фан-сообщества служит, как и во всех остальных случаях, несовпадение точек зрения двух или нескольких коммуникантов относительно одних и тех же объекта и/или ситуации. Отправной точкой является, как правило, высказанное негативное мнение, которое вызывает реакцию сторонников противоположной оценки и стимулирует дальнейшее протекание конфликта: *Музыка для г**нарей, думающих, что слушают тяжёлую музыку – Я конечно понимаю, что не всем нравится такого плана музыка,но это не даёт вам права оскорблять участников группы DEAD BY APRIL, и уж точно нас (участников группы Вконтакте.ру) Можно оставить своё прекрасное наивное мнение при себе. Их музыка очень сильная – ты оставяешь впечатление обиженного человека. И да, действительно можно оставить мнение при себе, а ещё можно его высказать, что я и сделал. Их музыка настолько же сильна как и музыка Бритни Спирс, Джастина Тимберлейка, Леди Гаги и*

прочих поп исполнителей [23]. Подчеркнуто экспрессивный характер высказываний и намеренная поляризация точек зрения, нежелание прислушиваться к репликам собеседников приводят к эскалации конфликта.

Однако общее стремление участников к социализации, адаптации в избранном субкультурном образовании побуждает их в итоге к подавлению проявлений агрессивности, ослаблению градуса напряжения и завершению конфликта. В проанализированных текстах сообщений зафиксированы добровольный и принудительный способы разрешения конфликта. В первом случае конфликт завершают сами участники, либо достигая компромисса по обсуждаемому вопросу (кому как. *Я первый раз их услышу и мне по кайфу. У вокалистки голос охрененно мощный – Вань, голос у неё среднячок. вот у Вики из Save мощный*))) а у этой хрип какой-то. да и не тянула местами – Вику не слышал, судить не могу. Клиз воис может у нее не самый шикарный, но в остальном разве он плохой?? <...> *Мне серьезно понравилось. Бывает разогрев хреновый, а здесь все было в тему.*) по крайней мере меня устроило)) - группа с разогрева норм играла, но они просто не подходят под разогрев к дба) не то немного) - ты права, но даже скорее аудитория не та. никто такого тяжеляка не ждал - правильно говорит Ксю, что они не в тему именно с ДБА)) - возможно, хз, в прошлый раз на них не был), либо решая не продолжать дискуссию вследствие осознания её «бесполезности» и потери интереса к ней (на этой позитивной ноте я предлагаю завершить нашу увлекательную дискуссию! :); я не вижу смысла в твоём цинизме и негативе дружисще =) Как тебе будет угодно; я уже понял, что здесь не ищут истину, а отстаивают свои убеждения. конструктивно разговор в этом случае не построить) [23]. Во втором случае завершению конфликта способствуют третьи лица, как правило администраторы фан-сообщества, которые, стремясь сохранить дружескую, благоприятную атмосферу внутри фан-клуба, призывают участников к соблюдению определённых правил коммуникации; в некоторых случаях возможно даже принудительное отстранение индивида от дискуссии и его исключение из состава членов фан-объединения (*все ваши сообщения выше удаляю и кто первый не выдержит и скажет еще что-то в адрес друг друга отправится в бан; Уважаемые господа, завязывайте ваш спор. При желании можете продолжить г**ниться друг на друга в личку, в этой теме ваши сообщения на эту тему далее будут удаляться*) [23]. Поддержание положительных отношений между участниками является одной из ключевых задач фан-сообщества, ставящего своей целью способствовать успешной социализации входящих в него индивидов, поэтому поклонники стремятся самостоятельно нейтрализовать любые проявления агрессивного коммуникативного поведения для обеспечения нормально протекающего процесса общения.

Вербальным подтверждением **высокого уровня самооценки** поклонников группы в стиле метал могут служить высказывания, содержащие описание отношения к самим себе в позитивном или негативном ключе. В процессе анализа было выявлено малое количество подобных утверждений, что может свидетельствовать об общем нежелании коммуникантов акцентировать внимание собеседников на личностных качествах. Однако зафиксированные реплики позволяют охарактеризовать уровень самооценки скорее как высо-

кий. Примечательно, что положительную оценку своих способностей, навыков и качеств представители данного субкультурного образования выражают посредством отрицания наличия каких-либо негативных признаков: *это твоя новость ? Ты постила ? – я на дуру похожа? чтоб путать метал - музыку и металл – железо; Музыка для г**нарей, думающих, что слушают тяжёлую музыку – Ошибаешься, музыка не для г**норей ! Попробуй сам такую музыку написать , с чего ты решил что люди слушающие DBA думают что слушают тяжёлую музыку ? Люди слушают потому что им нравится...* [23]. Данная особенность личностного позиционирования является следствием реакции на критичные высказывания других участников. Для того чтобы успешно противостоять проявлениям критичного, иногда даже агрессивного отношения других участников, индивиду следует репрезентировать себя в более выгодном ключе и оценивать себя положительно; в противном случае он в принципе не будет способен вести коммуникацию в пределах избранного фан-сообщества.

В роли косвенного показателя высокого уровня самооценки могут выступать высказывания, содержащие информацию о каких-либо достижениях коммуниканта и призыв к их оценке: *народ, зацените мой кавер на стене, на инструменталку "Dead By April - Dancing In The Neon Light")); Слушаем об-работку Freeze Frame в варианте В*** Г***!* [23]. Публикация собственных материалов в широком доступе и готовность к получению отзывов различного характера свидетельствуют об уверенности индивида в своих умениях, отсутствии опасения получить негативную оценку и способности относительно безболезненно переносить критику, что является ключевой характеристикой личности, обладающей высокой самооценкой.

Практичность как качество, противоположное мечтательности, основывается на реалистичном восприятии объектов и ситуаций, придании первоочередного значения реальным личным потребностям и приобретению реального опыта, а не абстрактных, неприменимых знаний. Наличие данной черты характера фактически исключает возможность возникновения ярко выраженного состояния музыкального фанатизма, так как соответствует формированию только реалистичной картины мира, а не идеално-иллюзорной. По этой причине развитие музыкального фанатизма у представителей данного фан-сообщества, обладающих этим личностным свойством, протекает в ином ключе, чем у поклонников поп-исполнителя. Состояние музыкального фанатизма в развитой форме и в данной группе сопровождается изменением эмоционального фона общения, что приводит к модификации и максимальной субъективизации восприятия и, соответственно, к возникновению потребности в экспликации данных изменений. Свойство практичности не препятствует осуществлению данного намерения, но определяет качественно иные способы и приёмы его реализации. К таким способам, зафиксированным в проанализированных текстах сообщений, можно отнести создание участниками собственных музыкальных произведений, написанных под влиянием творчества любимой группы: *вот кстати ремикс (version B) от arcticridge на трек Vadden & Dead By April - Freeze Frame:»* (под псевдонимами Vadden и arcticridge скрываются участники группы).

Во время сочинения инструментально-вокальных композиций коммуникант стремится передать субъективное восприятие мира или конкретных его аспектов, приближенное к идеальному, другими словами, смоделировать желаемую реальность по образцу кумира. Отличительной чертой данного метода является появление некоторого продукта, результата деятельности, которому, по мнению участника, может найтись некое практическое применение. Делясь своим творчеством с общественностью, реализуя себя как полноценного композитора и/или музыкального исполнителя, коммуникант может получить оценку и признание своих трудов как в среде фан-сообщества, так и в более широких кругах, обрести определённую популярность, иногда даже денежную прибыль и т.п. Данные практические аспекты музыкальной деятельности находят отражение и в текстах коммуникаций: *Народ, помогите скачать этот трек!!!! Вообще не выходит из головы, хочу на плеер скачать, а нигде нету... – Глеб, я личный менеджер Vaddena, пиши мне в личку, обговорим вопрос оплаты.* Таким образом, данное качество характера позволяет индивиду реализовывать стремление к моделированию идеальной реальности не просто ради его реализации, но с получением неких практических результатов и даже выгоды, что, безусловно, является одним из положительных проявлений состояния музыкального фанатизма.

Таким образом, в составе дискурсивно объективированных свойств характера участников двух виртуальных фан-объединений были обнаружены черты как сходства, так и различий. Кажущееся на первый взгляд несовместимым сочетание эгоцентризма и отзывчивости является ярким показателем противоречивой, дуалистической природы музыкального фанатизма, который, с одной стороны, стимулирует индивида к формированию уникального отношения к идолизированному объекту и осознанному обособлению от остальных членов социума, а с другой стороны, побуждает поклонника к вступлению в коммуникацию с единомышленниками с целью социализироваться в избранной субкультурной среде. Вариативность и даже оппозиционность других дискурсивно релевантных черт личности определяется различием объекта поклонения (стили поп и метал), половыми, социальными и возрастными различиями участников фан-объединений, которые характеризуются различием в уровне самооценки, в проявлениях качеств конформизма и критичности, миролюбия и агрессивности, мечтательности и практичности.

Литература

1. Карасик В. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2004. 390 с.
2. Лингвоперсонология: Типы языковых личностей и личностно-ориентированное обучение. Барнаул; Кемерово, 2006. 435 с.
3. Иванцова Е.В. Лингвоперсонология: Основы теории языковой личности. Томск, 2010. 160 с.
4. Иванцова Е.В. Феномен диалектной языковой личности. Томск, 2002. 312 с.
5. Лютикова В.Д. Языковая личность и идиолект. Тюмень, 2000. 188 с.
6. Нерознак В.П. Лингвистическая персонология: к определению статуса дисциплины // Язык. Политика. Перевод. М., 1996. С. 112–116.
7. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 262 с.

8. Ляпон М.В. Картина мира: языковое видение интроверта // Русский язык сегодня. М., 2000. Вып. 1. С. 199–207.
9. Седов К.С. Речевое поведение и типы языковой личности // Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург, 2000. С. 298–311.
10. Лебедева Н.Б. Речевая личность: параметры типологизации // Вопросы лингвоперсоналогии. Барнаул, 2007. Ч. 1. С. 110–114.
11. Резанова З.И. Языковая личность в институциональном дискурсе: позиция адресата // Американские исследования в Сибири. Вып. 9. Томск, 2008. С. 357–371.
12. Синельникова Л.М. О научной легитимности понятия «дискурсивная личность» // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. Филология. Социальные коммуникации. 2011. Т. 24 (63). №2, ч. 1. С. 454–463.
13. Баранов А.Г. Семиотические разновидности дискурсии [Электронный ресурс] // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2006. № 2. URL: http://tverlingua.ru/archive/002/02_4_02.htm (дата обращения: 10.11.2013)
14. Йоргенсен М.В., Филлипс Л.Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков, 2008. 352 с.
15. Резанова З. И. Дискурсивные картины мира // Картины русского мира: современный медиадискурс. Томск, 2011. С. 15–94.
16. Лутовинова О.В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса. Волгоград, 2009. 477 с.
17. Тверезовский К.И. Социально-психологические условия возникновения музыкального фанатизма в подростково-юношеском возрасте: автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2009. 27 с.
18. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. СПб., 2005. 445 с.
19. Варегина О.А. Признаки музыкального фанатизма личности [Электронный ресурс] // Психология для профессионалов, 2010. URL: http://www.b17.ru/article/priznaki_muzikalnogo_fanatizma/ (дата обращения: 27.11.2013).
20. Гагарина Е.А. Анализ личностных черт спортивных и музыкальных фанатов как аддиктов // Психология XXI века: материалы Междунар. науч.-практ. конф. молодых учёных «Психология XXI века», 22–24 апреля 2010, Санкт-Петербург. СПб., 2010. С. 222–225.
21. Белобрагин В.В. Половозрастные различия восприятия подростками имиджа музыкальных кумиров: автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2005. 24 с.
22. Eric Saade | Эрик Сааде [Official VK Group при поддержке Lingman&Co] [Электронный ресурс]: социальная сеть / «ВКонтакте», 2006–2014. URL: vk.com/ericsaade (дата обращения: 05.03.2012).
23. Официальный Российский Фан-Клуб Dead by April [Электронный ресурс]: социальная сеть / ВКонтакте, 2006–2014. URL: http://vk.com/russian_april_army (дата обращения: 06.02.2013).

PERSONALITY IN THE MEDIUM OF DISCOURSE: LINGUISTIC REPRESENTATION OF PSYCHOLOGICAL TYPES (BASED ON THE DISCOURSE OF VIRTUAL MUSIC FAN COMMUNITIES)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 3 (41). 37–56. DOI: 10.17223/19986645/41/4

Rezanova Zoya I., Tomsk State University, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: resso@rambler.ru / resso@mail.tsu.ru

Skripko Yulia K., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: freundvolkes@gmail.com

Keywords: language personality, discursive personalities, discourse analysis, fan culture, discourse fan communities, virtual discourse.

This paper presents an aspect of the linguo-cognitive model of a discursive personality. A typical discursive language personality is modeled on the basis of the analysis of texts belonging to one discourse that concentrates on the distinctive features of units at different levels typically expressed in discourse texts.

The identification of language features allows describing the cognitive and psychological specificity of individuals that the given discourse actualizes, and modeling the psychological features of the “average” typical discursive personality.

The study examined the fragments of communication texts of participants of fan associations “Eric Saade | Eric Saade [Official VK Group]” and “Official Russian Fan Club of Dead by April” in the Russian-language social network VKontakte. The authors understand this type of communication practices as subdiscourse which is formed at the intersection of virtual discourse and a subculture discourse of fan communities. Virtuality, providing a common information transmission channel, pre-determines its essential features (chronotope, multimedia, etc.). The discourse of subcultural music fan associations determines the content and purpose of communication, strategy for reaching it, values and ideals.

The leading methods of analysis are verbal portraiture and content analysis. Data obtained as a result of linguistic analysis formed the basis for identifying discursively relevant personal characteristics whose language representation is important and relevant for participants of the discourses under study.

First, common features of personalities that appear in the discourses of fan groups of both the pop artist and the metal band are characterized. Such features include the dialectical combination of the actualization of self-centeredness and responsiveness. The first apparent incompatible combination of self-centeredness and responsiveness is a clear indication of the contradictory, dualistic nature of musical fanaticism, which, on the one hand, stimulates the individual to form a unique attitude to the idolized object and to consciously isolate from the rest of society, and, on the other hand, urges the fan to communicate with like-minded people with the aim to interact in the selected sub-cultural environment. Variability and even oppositeness of other discursively relevant personality traits are determined by the difference of the object of worship (pop and metal styles), sex, age and social differences between fan associations participants. Fans of the pop star are opposed to fans of the metal band by the level of self-esteem (low vs. high), manifestations of conformity and criticality, peacefulness and aggression, dreaminess and practicality.

These psychological characteristics are reflected in the features of the use of linguistic resources. The authors characterize the specifics of the use of personal and possessive pronouns, abstract and concrete nouns, qualitative evaluative adjectives and adverbs, their individual semantic groups, typical verb tenses as indicators of the actualization of discursively relevant personality traits.

References

1. Karasik, V. (2004) *Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs* [Linguistic Circle: Personality, concepts, discourse]. Moscow: Gnozis.
2. Golev, N.D. et al. (eds) (2006) *Lingvopersonologiya. Tipy yazykovykh lichnostey i lichnostno-orientirovannoe obucheniye* [Linguopersonology. Types of language personalities and student-centered learning]. Barnaul; Kemerovo: Barnaul State Pedagogical University.
3. Ivantsova, E.V. (2010) *Lingvopersonologiya. Osnovy teorii yazykovoy lichnosti* [Linguopersonology. Fundamentals of language personality theory]. Tomsk: Tomsk State University.
4. Ivantsova, E.V. (2002) *Fenomen dialektnoy yazykovoy lichnosti* [The phenomenon of dialectal language personality]. Tomsk: Tomsk State University.
5. Lyutikova, V.D. (2000) *Yazykovaya lichnost' i idiolekt* [Language personality and idiolect]. Tyumen: Tyumen State University.
6. Neroznak, V.P. (1996) Lingvisticheskaya personologiya: k opredeleniyu statusa distsipliny [Language personology: to the definition of the discipline status]. In: *Yazyk. Politika. Perevod* [Language. Poetics. Translation]. 426. Moscow: Moscow State Linguistic University. pp. 112–116.
7. Karaulov, Yu.N. (1987) *Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost'* [Russian language and language personality]. Moscow: Nauka.
8. Lyapon, M.V. (2000) Kartina mira: yazykovoe videnie introverta [Picture of the world: linguistic vision of an introvert]. In: *Russkiy yazyk segodnya* [Russian language today]. Is. 1. Moscow: Azbukovnik. pp. 199–207.
9. Sedov, K.S. (2000) Rechevoe povedeniye i tipy yazykovykh lichnosti [Speech behavior and types of language personality]. In: Kupina, N.A. (ed.) *Kul'turno-rechevaya situatsiya v sovremennoy Rossii* [Cultural-speech situation in modern Russia]. Ekaterinburg: Ural State University.
10. Lebedeva, N.B. (2007) Rechevaya lichnost': parametry tipologizatsii [Speech personality: typology parameters]. In: *Voprosy lingvopersonologii* [Issues of linguopersonology]. Is. 1. Barnaul: Altai State Technical University. pp. 110–114.
11. Rezanova, Z.I. (2008) Yazykovaya lichnost' v institutsional'nom diskurse: pozitsiya adresata [Language personality in the institutional discourse: the addresser's position]. In: *Amerikanskie*

issledovaniya v Sibiri [American Studies in Siberia]. Is. 9. Tomsk: Tomsk State University. pp. 357–371.

12. Sinel'nikova, L.M. (2011) Scientific legitimacy of the notion “discursive personality”. *Uchenye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Seriya “Filologiya. Sotsial'nye kommunikatsii”* – *Proceedings of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series Philology. Social communication*. 24 (63):2:1. pp. 454–463. (In Russian).

13. Baranov, A.G. (2006) Semioticheskie raznovidnosti diskursii [Semiotics types of discourses]. *Mir lingvistiki i kommunikatsii*. 2. [Online]. Available from: http://tverlingua.ru/archive/002/02_4_02.htm. (Accessed: 10 November 2013).

14. Jorgensen, M.V. & Phillips, L.J. (2008) *Diskurs-analiz. Teoriya i metod* [Discourse analysis. Theory and Method]. Translated from English by A.A. Kiseleva. Kharkov: Gumanitarnyy tsentr.

15. Rezanova, Z.I. (2011) Diskursivnye kartiny mira [Discursive pictures of the world]. In: Rezanova, Z.I. (ed.) *Kartiny russkogo mira: sovremennyy mediadiskurs* [Pictures of the Russian world: modern media discourse]. Tomsk: Tomsk State University.

16. Lutovinova, O.V. (2009) *Lingvokul'turologicheskie kharakteristiki virtual'nogo diskursa* [Linguistic and cultural characteristics of virtual discourse]. Volgograd: Peremena.

17. Tverezovskiy, K.I. (2009) *Sotsial'no-psikhologicheskie usloviya vznikeniya muzykal'nogo fanatizma v podrostkovo-yunosheskom vozraste* [Social and psychological conditions of musical fanaticism in the adolescent age]. Abstract of Psychology Cand. Diss. Moscow.

18. Mendelevich, V.D. (2005) *Psikhologiya deviantnogo povedeniya* [Psychology of deviant behavior]. St. Petersburg: Rech'.

19. Varegina, O.A. (2010) Priznaki muzykal'nogo fanatizma lichnosti [Signs of musical fanaticism of a person]. *Psikhologiya dlya professionalov*. [Online]. Available from: http://www.b17.ru/article/priznaki_muzikalnogo_fanatizma/. (Accessed: 27 November 2013).

20. Gagarina, E.A. (2010) [Analysis of the personality traits of sports and music fans as addicts]. *Psikhologiya XXI veka* [Psychology of the 21st century]. Proceedings of the International scientific-practical conference of young scientists. 22–24 April 2010. St. Petersburg. pp. 222–225. (In Russian).

21. Belobragin, V.V. (2005) *Polovozrastnye razlichiya vospriyatiya podrostkami imidzha muzykal'nykh kumirov* [Age and sex differences in teenagers' perception of images of music idols]. Abstract of Psychology Cand. Diss. Moscow.

22. Vk.com. (2006–2014) *Eric Saade | Erik Saade* [Official VK Group with the support of Lingman & Co]. [Online]. Available from: vk.com/ericsaade. (Accessed: 05 March 2012).

23. Vk.com. (2006–2014) *Ofitsial'nyy Rossiyskiy Fan-Klub Dead by April* [Official Russian Fan Club of Dead by April]. [Online]. Available from: http://vk.com/russian_april_army. (Accessed: 06 February 2013).

УДК 81'367.332.6 / 81'367.625.2
DOI: 10.17223/19986645/41/5

О.Г. Твердохлеб

ОБЩАЯ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦИЙ С СОВОКУПНЫМ СУБЪЕКТОМ ПРИ ГЛАГОЛАХ СОЕДИНЕНИЯ

Статья подводит некоторые итоги изучения грамматических особенностей конструкций с двумя (и более) именами в субъектной позиции подлежащего при глаголах «соединить / соединять» в активной форме. В работе акцентируется внимание на морфологических особенностях глагола «соединения» в указанных конструкциях. Особое внимание уделено средствам связи между двумя (и более) именами в позиции подлежащего при глаголе «соединения», а также возможности / невозможности перестановки этих элементов. Материал данной статьи будет интересен специалистам в области исследования взаимных конструкций (проблемы реципрока) и симметричных отношений.

Ключевые слова: подлежащее, лексико-семантическая группа глаголов, совокупный субъект, союзная связь.

Русская лингвистика последней трети прошлого века и начала века нынешнего активно исследует семантический синтаксис, однако до сих пор остается еще много нерешенных проблем, среди которых однозначное определение «субъекта». Традиционно его отождествляли с синтаксическим понятием «подлежащее». Исследование субъектной семантики связано было с описанием падежных значений (М.В. Ломоносов, Ф.И. Буслаев, А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, В.В. Виноградов). Во второй половине XX в. исследование субъекта в лингвистике начинают связывать с синтаксической семантикой (С.Д. Кацнельсон, Н.Д. Арутюнова, Г.А. Золотова, Ю.Д. Апресян, А. Вежицка, А.В. Бондарко, Е.В. Падучева, З.Д. Попова и др.), исследуются значения субъекта, обусловленные, в частности, схемой предложения (Н.Ю. Шведова, В.И. Казарина).

Непротиворечивое оперирование понятием субъекта важно в исследованиях петербургской типологической школы (А.А. Холодович, В.С. Храковский, В.Н. Неद्याлков и др.), особенно при анализе глагольных лексем, так как названная глаголом ситуация (как структурно-семантический центр предложения) предполагает определенный качественный и количественный состав участников, необходимых для ее реализации и определяемых по «лексикографическому толкованию слова, выражающего данную ситуацию» [1. С. 6].

Предлагаемая статья связана с исследованием конструкций, образованных глаголами лексико-семантической группы *соединения* [2. С. 38; 3. С. 87–91], или глаголами *контакта* (*контактивы*) [4], предполагающими наличие субъектной валентности. Из различных источников, в том числе из Национального корпуса русского языка [5], нами выявлено более трех тысяч при-

меров с многозначным глаголом «соединить / соединять» в разных реализациях (словарь [6. С. 442–443] фиксирует 11 лексических значений), субъектная валентность которых может заполняться по-разному: изосемически и неизосемически [7. С. 163]. Ранее нами на большом иллюстративном материале было показано, что в субъектной позиции при глаголах соединения традиционно выделяемому Агенсу соответствуют разные таксономические классы имен (лица, сверхъестественные существа, животные) [8–9]. Цель данной работы – выявить и описать грамматические (морфологических и синтаксических) особенности конструкций, включающих в свой состав два (и более) элемента в субъектной позиции подлежащего при глаголах «соединить / соединять» в активной форме.

Методика описания конструкций с совокупным субъектом нужна для исследования взаимных конструкций (проблема реципрока) [10] и симметричных отношений [11. С. 280–281].

Учитывая сложность анализа всех семантических акантов, которые могут занимать субъектную валентность (мы планируем сделать это в следующей статье), мы ограничимся: а) описанием морфологических особенностей глагола, функционирующих в указанных конструкциях; б) определением количественного состава элементов в субъектной позиции, выявлением и описанием средств связи между этими элементами, а также возможности / невозможности перестановки этих элементов.

В нашей картотеке при активной форме анализируемых глаголов в позиции подлежащего могут быть представлены:

а) два и более имени существительных в форме именительного падежа, напр.: **Коган** (Им. п.) и **Яузов** (Им. п.) **соединили** (актив) *компы шнурком* [12];

б) два местоимения (в единичных примерах) в форме именительного падежа: *Янус имеет с Ямой то общее, что они «парные», «двулики» и что и **тот** (мест., Им. п.) и **другой** (мест., Им. п.) **соединяют** (актив) две сферы мира – либо «прошрое» и «будущее», либо «то, что сзади» и «то, что спереди», либо «царство живых» и «царство мертвых»* [13. С. 91].

Исследованный нами материал свидетельствует, что два (или более) имени репрезентированы в позиции субъекта при разных формах глагола, в частности:

- при форме глагола несовершенного вида «соединять» и совершенного вида «соединить», ср.: *...хотя бы **Австрия** и **Франция** **соединили** (сов. в.) свои силы* [14. Т. 8. С. 275]; *Почти лишенное очертаний в свете звезд **лицо** и **голос**, теплый, близкий, как бы **соединяли** (несов. в.) нас* [15. Т. 1];

- при формах глагола изъявительного наклонения всех трех времен:
 - настоящего времени: *Где бледнорозовые **веки** И **свет** твоих зелёных глаз **Соединяют** (изъяв. накл.; наст. вр.) нас навеки* [16];

- будущего: *...когда **судьба** и их собственные **усилия** **соединят** (изъяв. накл.; буд. вр.) их в одном городе и под одной крышей* [17. Т. 7. С. 389];

- прошедшего: **Коган** и **Яузов** **соединили** (изъяв. накл.; прош. вр.) *компы шнурком* [12];

- при формах глагола повелительного наклонения: **Пусть любовь и взаимопонимание... **соединит** (повел. накл.) наши судьбы при этой жиз-**

ни и в жизни будущей [18] и сослагательного наклонения: ...общее глубокое горе и задушевная беседа... как **бы** еще теснее соединили (сосл. накл.) нас [19].

В описываемых случаях имена в позиции субъекта при глаголе *соединить* / *соединять* представлены:

- попарно (чаще): *Когда Кассию был открыт путь, то Марцелл и Лепид соединили свои лагеря* [20];
- по три и более лексемы (реже): *Алчность, злоба и глупость соединят людей в клубок, словно змей* [21. С. 239].

Описываемые ряды имен в позиции субъекта соединяются между собой союзной связью (гораздо чаще) и бессоюзной (реже).

Два (или более) члена, представленных в позиции субъекта, обычно соединяет одиночный сочинительный соединительный союз *и*, который указывает на исчерпанность перечисляемого ряда, ср. примеры с двумя членами: ...самец и самка соединили свои голоса в один непрерывный, призывный крик [22], а также с тремя членами: Грозоходы, коньки и парусные сани соединяли села [23. С. 234]. В случаях с повторяющимся союзом и исчерпанности ряда нет: *И халат, и шапка соединяют в себе черты мужского и женского костюма* [24. С. 91]. Ср возможное продолжение: *и халат, и шапка, и обувь, и пояс соединяют в себе что-то*.

Пара имен, соединенных одиночным союзом *и*, допускает перестановку членов, ср. возможные трансформации: ...нам важно знать, какие чувства и стремленья соединяли членов дружеского союза [25. С. 107] → *стремления и чувства соединяли*. В позиции субъекта может быть представлено четыре однородных члена, соединенных союзом *и* попарно. Тогда перестановка допустима внутри каждой пары имен, ср. возможное: ...там смерть и слава, вера и надежда соединили сердца узами родства [26] → *слава и смерть, надежда и вера соединили*.

Перестановка невозможна в тех случаях, когда последующий член содержательно обусловлен предыдущим. Например, в предложении с тремя членами субъектной сферы: Биротто, жена его (притяж. мест.) и дочь соединили свои усилия [27. Т. 29] имя существительное *жена* содержательно связано (через указание с помощью притяжательного местоимения *его*) с предыдущим в ряду именем *Биротто*, что не допускает трансформации типа: **жена его и Биротто*. Ср. другую, лишь внешне аналогичную конструкцию: ...когда судьба и их (притяж. мест.) собственные усилия соединят их в одном городе и под одной крышей... [17. С. 389], где второй член *усилия* определяется также притяжательным местоимением *их*. Однако здесь перестановка возможна, напр.: → *их собственные усилия и судьба соединят*, так как местоимение *их* не обусловлено предыдущим именем *судьба*, представленным первым членом (нельзя: **их судьба и собственные усилия*).

Перестановка членов, соединенных повторяющимся союзом *и*, также невозможна, если они репрезентированы двумя местоимениями, обусловленными один другим: *Янус имеет с Ямой то общее, что они «парны», «двулики» и что и тот (мест.) и другой (мест.) соединяют две сферы мира – либо*

«прошлое» и «будущее», либо «то, что сзади» и «то, что спереди», либо «царство живых» и «царство мертвых» [13. С. 91].

Именная пара с союзом *не ... а (а не)* указывает на взаимное исключение, ср.: *Их* (Краггса и Кембла. – О.Т.) *соединяет друг с другом не оценка автора, а общий прием* [28]. Резкость взаимного исключения смягчена в союзе *не... но (ноне)*, ср.: *...ныне не выбор, но нужды соединяют людей...* [29]. Перестановка членов, соединенных союзами *не ... а (а не)* и *не ... но (но не)*, недопустима, так как при трансформации полностью меняется смысл высказывания, ср.: **не прием, а оценка соединяет*.

Несколько явлений, из коорых возможно только одно, названо именной парой с разделительными союзами *или, ли*, ср.: *Обрезательный нож винограда или плуг таинственным образом соединяет человека с землей...* [30]. Конструкции, включающие два члена в позиции субъекта, соединенные разделительным союзом, перестановку этих членов допускают, ср.: *→ плуг или нож соединяет*. Однако невозможна перестановка членов в позиции субъекта в высказывании, если вводится относительное ограничение, в частности по отношению ко второму члену, при помощи вводных слов *лучше сказать*: *Необыкновенный случай, или, лучше сказать, судьба, соединила меня с Силою Миничем* [31]. Ср. невозможные трансформации: **лучше сказать, судьба или случай* и **судьба или, лучше сказать, случай*.

Также невозможна перестановка членов в позиции субъекта, соединенных повторяющимся союзом *ли*, если они репрезентированы парой «имя существительное + местоимение, обусловленное этим же существительным»: *Мы с вами не подходящие друг к другу люди, но случай (сущ.) ли, другое ли что (мест.) соединили нас, к сожалению, навсегда* [32].

В паре имен, соединенных в позиции субъекта союзами *не только... но и, не столько... но и*, в семантическом плане формально равноправны два члена, но один из них актуализируется в направлении нарастания, напр.: *...соединяли этих великих писателей не только идеи великие, но и люди...* [33]; *...его (поэта. – О.Т.) с предшественниками соединяет не столько традиция, сколько отрицание* [34. Т. 1. С. 10]. Перестановка членов, соединенных союзами *не только... но и, не столько... но и*, недопустима, так как при трансформации полностью меняется актуализация смысла высказывания, ср.: *не только идеи великие, но и люди* → **не только люди, но и великие идеи*.

Пара имен в позиции субъекта, соединенных союзами *так и либо как и*, выражают присоединительные или присоединительно-сопоставительные отношения, напр.: *Шимпанзе, как и дети, соединяют язык знаков и язык тела* [35. С. 281]. При перестановке отношение сопоставления сохраняется, но меняется присоединяемый элемент, ср.: **дети, как и шимпанзе, соединяют*.

Бессоюзная пара в позиции субъекта обозначает соединение, при котором перечисляются усиливающие (дополняющие) друг друга признаки: *Мама надеялась, что праздничная столица, любимые родичи снова соединят их в родственной теплой кутерьме...* [36]. Перестановка таких членов субъектной сферы вполне возможна: *→ родичи, столица соединят*.

Таким образом, конструкции с двумя (и более) именами в позиции подлежащего при глаголах «соединить / соединять» в активной форме имеют ряд грамматических особенностей. Приведенный в статье иллюстративный материал свидетельствует, что два (или более) имени в современном русском предложении могут быть представлены в позиции подлежащего при разных формах глагола «соединения»: несовершенного и совершенного вида; изъявительного наклонения (всех трех времен), повелительного и сослагательного наклонения. Описываемые ряды имен в субъектной сфере соединяются между собой союзной связью и бессоюзной (реже), при этом союзная связь представлена (гораздо чаще) сочинительной разновидностью. На языковом материале, приведенном в статье, показано, что пара имен, репрезентированных в позиции подлежащего, допускает перестановку членов, если последующий член содержательно не обусловлен предыдущим.

Литература

1. Холодович А.А. Залог. 1: Определение. Исчисление // Категория залога: материалы конф. Л., 1970. С. 2–26.
2. Лексико-семантические группы русских глаголов: учебн. слов.-справ. / под общ. ред. Т.В. Матвеевой. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1988. 153 с.
3. Большой толковый словарь русских глаголов: идеографическое описание: Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы / под общ. ред. Л.Г. Бабенко. М.: АСТ-ПРЕСС: КНИГА, 2007. 576 с. (Фундаментальные словари).
4. Васильев Л.М. Системный семантический словарь русского языка. Предикатная лексика. Т. 1. Уфа: Гилем, 2005. 466 с.
5. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: [http:// search.ruscorpora.ru/](http://search.ruscorpora.ru/) (дата обращения: 05.12.2015).
6. Сазонова И.К. Русский глагол и его причастные формы: Толково-грамматич. слов. М.: Рус. яз., 1989. 590 с.
7. Золотова Г.А., Ониненко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 1998. 528 с.
8. Твердохлеб О.Г. Валентностное окружение глагола «соединить»: агенс (сверхъестественное существо) – объект // ФИЛОЛОГОС. Вып. 2(25). Елец, 2015. С. 62–66.
9. Твердохлеб О.Г. Валентностное окружение глагола соединить: 1. Агенс // Вестн. Юж.-Урал. гос. ун-та. Сер. Лингвистика. 2015. Т. 12, № 4. С. 5–7.
10. Князев Ю.П. Грамматическая семантика: Русский язык в типологической перспективе. М.: Языки славянских культур, 2007. 704 с.
11. Недялков В.П. Типология взаимных конструкций // Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость / отв. ред. А.В. Бондарко. СПб., 1991. С. 276–312.
12. Никитин Ю.А. Труба Иерихона. М.: Эксмо, 2003. 480 с. [Электронный ресурс]. URL: http://books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr_mr/nikit54.htm?14/56 (дата обращения: 27.01.2016).
13. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Языки русской культуры, 1997. 824 с.
14. Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. Т. 8. М.: Худож. лит., 1950. С. 275.
15. Райт О.Т. Островитяния. Т. 1. М.: Терра, 1996. 480 с. [Электронный ресурс]. URL: www.libros.am/book/read/id/258891/slug/ostrovityaniya-tom-pervyyj (дата обращения: 27.01.2016).
16. Паньков В. Золото // Стихи.ру [Электронный ресурс]. URL: <https://www.stihi.ru/2005/05/30-1276> (дата обращения: 27.01.2016).
17. Симонов К.М. Так называемая личная жизнь // Собр. соч.: в 10 т. Т. 7. М., 1982. С. 389.
18. Приворот на любовь // Приворот [Электронный ресурс]. URL: <http://iwitch.ru/tag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82-2/> (дата обращения: 27.01.2016).
19. Достоевская А.Г. Дневник 1867 года / изд. подгот. С.В. Житомирская. М.: Наука, 1993. 454 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://books.google.ru/books?isbn=5457354075> (дата обращения: 27.01.2016).

20. *Записки* Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне / под ред. М.М. Покровского. М.: Изд-во АН СССР, 1948. 570 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://books.google.ru/books?isbn=5998914961>
21. *Доброва Е.В.* Популярная история мифологии. М.: Вече, 2003. 512 с.
22. *Брэм А.Э.* Путешествие по северо-восточной Африке или по странам, подвластным Египту: Судану, Нубии, Сеннару, Россересу и Кордофану : в 2 ч. СПб., 1869. Ч. 1. 320 с.; Ч. 2. 514 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://books.google.ru/books?id=oeoxAQAAIAAJ> (дата обращения: 27.01.2016).
23. *Хлебников В.* Лебедя будущего // Собр. соч.: в 3 т. М., 2001. Т. 3. С. 234.
24. *Басилов В.Н.* Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. М.: Наука, 1992. 328 с.
25. *Водовозов В.И.* Новая русская литература (От Жуковского до Гоголя включительно). СПб.: Российская Империя, издание И.П. Мазурець, 1908. 393 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://books.google.ru/books?isbn=5446092058> (дата обращения: 27.01.2016).
26. *Скобелев И.Н.* Переписка и рассказы русского инвалида // Московский наблюдатель. СПб., 1838. Ч. 18, авг., кн. 2 // Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: <http://search.ruscorpora.ru/> (дата обращения: 05.12.2015).
27. *Бальзак О. де.* История Цезаря Биротто // Библиотека для чтения: журнал словесности, наук и политики. 1838. Т. 29 [Электронный ресурс]. URL: https://books.google.ru/books?id=9_I6AQAAIAAJ (дата обращения: 27.01.2016).
28. *Шкловский В.Б.* Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914-1933). М.: Советский писатель, 1990. 720 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://books.google.ru/books?isbn=5457074382> (дата обращения: 27.01.2016).
29. *Крылов И.А.* Рассуждения о дружестве // Крылов И.А. Избр. соч.: в 2 т. М., 1984. Т. 1. 467 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://books.google.ru/books?id=Wms2THxLQFwC> (дата обращения: 27.01.2016).
30. *Ладинский А.П.* В дни Каракаллы. М.: АСТ: Фолио, 1998. 624 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://books.google.ru/books?isbn=5457071863> (дата обращения: 27.01.2016).
31. *Булгарин Ф.В.* Иван Иванович Выжигин // Сочинения / сост., авт. Вступ. ст. и примеч. Н.Н. Львова. М., 1990. 704 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://books.google.ru/books?isbn=5457039293> (дата обращения: 27.01.2016).
32. *Амфитеатров А.В.* Бабы и дамы. М., 1911. 227 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://books.google.ru/books?isbn=5447857732> (дата обращения: 27.01.2016).
33. *Андронников И.Л.* А теперь об этом. М.: Сов. писатель, 1985. 544 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://books.google.ru/books?id=dndgAAAAMAA> (дата обращения: 27.01.2016).
34. *Шкловский В.Б.* Собрание сочинений. Т. 1. М.: Худож. лит., 1973. С. 10.
35. *Зорина З.А., Смирнова А.А.* О чем рассказали «говорящие обезьяны». М.: Языки славянских культур, 2006. 423 с.
36. *Попов В.Г.* Сон, похожий на жизнь. М.: ПРОЗАИК, 2010. 512 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://books.google.ru/books?id=xXs8AQAAIAAJ> (дата обращения: 27.01.2016).

GENERAL GRAMMATICAL CHARACTERISTICS OF STRUCTURES WITH A COMBINED SUBJECT OF VERBS DENOTING CONNECTION

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 3 (41). 57–65. DOI: 10.17223/19986645/41/5

Tverdokhle Olga G., Orenburg State Pedagogical University (Orenburg, Russian Federation). E-mail: ogtwr@gmail.com

Keywords: subject, lexical-semantic group of verbs, combined subject, syndesis.

The article summarizes some results of the study of grammatical features of constructions with two (or more) names in the subject and the verb *soedinyat'* [to connect] in the active voice.

The work focuses on the morphological characteristics of the verb denoting connection in these constructions. The material for the study was selected by continuous and partial sampling; it includes more than three thousand examples. It shows that two (or more) names are subjects with the verb in different forms, in particular: in the imperative and perfective forms of “to connect”; in the three tenses of the verb in the indicative mood; in the imperative and subjunctive mood forms of the verb.

Special attention is paid to the means of connection between two (or more) names in the subject with the verb “to connect”, as well as the possibility / impossibility of shifting these elements. The described constructions generally have two, less frequently three, names in the subject.

Names in the subject position are connected syndetically and asyndetically (less frequently); the syndetic connections are generally coordinating. Two (or more) names are usually connected by a single conjunction *i* [and] that signifies the end of the enumerated elements.

Pairs of names connected by “and”, *ili, li* [or] or asyndetically allows shifting their members. If the subject is expressed by four homogeneous parts, divided in pairs and connected by “and”, shifting is allowed within each pair of names.

Shifting members is impossible in some cases: 1) if the following member is semantically dependent on the previous one; 2) in pairs with conjunctions *ne... a* (*a ne*); *ne... no* (*no ne*) [not ... but], because the transformation changes the meaning of the statement; 3) if there is a relative limit, e.g., in relation to the second member expressed by introductory words; 4) if members of the subject connected by the repetition of “or” are represented by the pair “noun + pronoun dependent on the noun”; 6) if members of the subject are connected by the conjunctions *ne tol'ko... no i*; *ne stol'ko... no i* [not only ... but also], because the transformation changes the actualization of the meaning of the statement; 7) if members of the subject are connected by conjunctions *tak i, kak i* [as well as], because the comparison is preserved yet the joining element changes.

The proposed methodology of describing structures with the combined subject may be interesting for the study of reciprocal constructions and symmetric relations.

References

1. Kholodovich, A.A. (1970) [Voice. 1: Definition. Identification]. *Kategoriya zaloga* [The Category of Voice]. Proceedings of the conference. Leningrad: Nauka. pp. 2–26. (In Russian).
2. Matveeva, T.V. (ed.) (1988) *Leksiko-semanticheskie gruppy russkikh glagolov: Uchebn. slov-sprav.* [The lexical-semantic groups of Russian verbs: Study dictionary]. Sverdlovsk: Ural State University.
3. Babenko, L.G. (ed.) (2007) *Bol'shoy tolkovyy slovar' russkikh glagolov: ideograficheskoe opisaniye. Angl. ekvivalenty. Sinonimy. Antonimy* [The Great Dictionary of Russian verbs: ideographic description. English equivalents. Synonyms. Antonyms]. Moscow: AST-PRESS KNIGA.
4. Vasil'ev, L.M. (2005) *Sistemnyy semanticheskiy slovar' russkogo yazyka. Predikatnaya leksika* [The system semantic dictionary of the Russian language. Predicate vocabulary]. Vol. 1. Ufa: Gilem.
5. The Russian National Corpus. [Online]. Available from: <http://search.ruscorpora.ru/>. (Accessed: 05 December 2015). (In Russian).
6. Sazonova, I.K. (1989) *Russkiy glagol i ego prichastnye formy: Tolkovno-grammatich. sl.* [Russian verb and its participial forms: Explanatory-grammatical dictionary]. Moscow: Russkiy yazyk.
7. Zolotova, G.A., Onipenko, N.K. & Sidorova, M.Yu. (1998) *Kommunikativnaya grammatika russkogo yazyka* [Communicative Grammar of the Russian language]. Moscow: Russian Language Institute RAS.
8. Tverdokhle, O.G. (2015) Valentnostnoye okruzheniye glagola “soedinit’”: agens (sverkh” estestvennoye sushchestvo) – ob’ekt [Valency environment of the verb “to connect”: agens (supernatural being) – object]. In: *FILOLOGOS*. Is. 2 (25). Elets: Elets State University. pp. 62–66.
9. Tverdokhle, O.G. (2015) Valentnostnoye okruzheniye glagola soedinit’: 1. Agens [Valency environment of the verb “to connect”: 1. Agens]. *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya “Lingvistika”*. 12:4. pp. 5–7.
10. Knyazev, Yu.P. (2007) *Grammaticheskaya semantika: Russkiy yazyk v tipologicheskoy perspektive* [Grammatical semantics: The Russian language in a typological perspective]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.
11. Nedyalkov, V.P. (1991) Tipologiya vzaimnykh konstruktsey [Typology of reciprocal structures]. In: Bondarko, A.V. (ed.) *Teoriya funktsional'noy grammatiki: Personal'nost'. Zalagovost'* [The theory of functional grammar: Person. Aspect]. St. Petersburg: Nauka.
12. Nikitin, Yu.A. (2003) *Truba Ierikhona* [Trumpet of Jericho]. Moscow: Eksmo.[Online]. Available from: http://books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr_mr/nikit54.htm?14/56. (Accessed: 27 January 2016).
13. Stepanov, Yu.S. (1997) *Konstanty: Slovar' russkoy kul'tury* [Constants: The Dictionary of Russian Culture]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
14. Chernyshevskiy, N.G. (1950) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete works]. Vol. 8. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

15. Wright, A.T. (1996) *Ostrovityaniya* [Islandia]. Vol. 1. Moscow: Terra. [Online]. Available from: www.libros.am/book/read/id/258891/slug/ostrovityaniya-tom-pervyyj. (Accessed: 27 January 2016).
16. Pan'kov, V. (2005) *Zoloto* [Gold]. [Online]. Available from: <https://www.stihi.ru/2005/05/30-1276>. (Accessed: 27 January 2016).
17. Simonov, K.M. (1982) Tak nazyvaemaya lichnaya zhizn' [The so-called private life]. In: Simonov, K.M. *Sobranie sochineniy v 10 tt.* [Collected works in 10 vols]. Vol. 7. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
18. Privorot. (n.d.) *Privorot na lyubov'* [A spell for love]. [Online]. Available from: <http://iwitch.ru/tag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82-2/>. (Accessed: 27 January 2016).
19. Dostoevskaya, A.G. (1993) *Dnevnik 1867 goda* [A diary for 1867]. Moscow: Nauka. [Online]. Available from: <https://books.google.ru/books?isbn=5457354075>. (Accessed: 27 January 2016).
20. Pokrovskiy, M.M. (ed.) (1948) *Zapiski Yuliyi Tsezarya i ego prodolzhatel'ey o Gall'skoy voyne, o grazhdanskoy voyne, ob Aleksandriyskoy voyne, ob Afrikanskoy voyne* [Notes of Julius Caesar and his successors on the Gallic War, the Civil War, War of Alexandria, on the African War]. Moscow: USSR AS. [Online]. Available from: <https://books.google.ru/books?isbn=5998914961>.
21. Dobrova, E.V. (2003) *Populyarnaya istoriya mifologii* [The popular history of mythology]. Moscow: Veche.
22. Brem, A.E. (1869) *Puteshestvie po severo-vostochnoy Afrike ili po stranam, podvlastnym Egiptu: Sudanu, Nubii, Sennaru, Rosseresu i Kordofanu: v 2 ch.* [Travel Northeast Africa or countries subservient to Egypt: Sudan, Nubia, Sennar, Rosseresu and Kordofan: in 2 pts]. St. Petersburg: Tip. Germana Myullera. [Online]. Available from: <https://books.google.ru/books?id=oeoxAQAAIAAJ>. (Accessed: 27 January 2016).
23. Khlebnikov, V. (2001) Lebediya budushchego [Lebedia of the future]. In: Khlebnikov, V. *Sobranie sochineniy. V 3 tt.* [Collected Works. In 3 vols]. Vol. 3. Moscow: Akademicheskii proekt.
24. Basilov, V.N. (1992) *Shamanstvo u narodov Sredney Azii i Kazakhstana* [Shamanism among the peoples of Central Asia and Kazakhstan]. Moscow: Nauka.
25. Vodovozov, V.I. (1908) *Novaya russkaya literatura (Ot Zhukovskogo do Gogolya vklyuchitel'no)* [The new Russian literature (from Zhukovsky to Gogol inclusive)]. St. Petersburg: Rossiyskaya Imperiya, izdanie I.P. Mazurets. [Online]. Available from: <https://books.google.ru/books?isbn=5446092058>. (Accessed: 27 January 2016).
26. Skobelev, I.N. (1838) Perepiska i rasskazy russkogo invalida [Correspondence and stories of a Russian invalid]. In: *Moskovskiy nablyudatel'* [Moscow observer]. Pt. XVIII. August. Book 2 St. Petersburg: Tipografiya N. Grecha. [Online]. Available from: <http://search.ruscorpora.ru/>. (Accessed: 05 December 2015).
27. Balzac, O. de. (1838) *Istoriya Tsezarya Birotto* [The story of Cesar Birotteau]. *Biblioteka dlya chteniya: zhurnal slovesnosti, nauk i politiki*. 29. [Online]. Available from: https://books.google.ru/books?id=9_I6AQAAIAAJ. (Accessed: 27 January 2016).
28. Shklovskiy, V.B. (1990) *Gamburgskiy schet: Stat'i – vospominaniya – esse (1914-1933)* [Hamburg reckoning: Articles – memoirs – essays (1914–1933)]. Moscow: Sovetskiy pisatel'. [Online]. Available from: <https://books.google.ru/books?isbn=5457074382>. (Accessed: 27 January 2016).
29. Krylov, I.A. (1984) *Rassuzhdeniya o druzhestve* [Arguments about friendship]. In: Krylov, I.A. *Izbrannyye sochineniya v 2-kh t.* [Selected Works in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. [Online]. Available from: <https://books.google.ru/books?id=Wms2THXLQFwC>. (Accessed: 27 January 2016).
30. Ladinskiy, A.P. (1998) *V dni Karakally* [In the days of Caracalla]. Moscow: AST, Folio. [Online]. Available from: <https://books.google.ru/books?isbn=5457071863>. (Accessed: 27 January 2016).
31. Bulgarin, F.V. (1990) Ivan Ivanovich Vyzhigin [Ivan Vyzhigin]. In: Bulgarin, F.V. *Sochineniya* [Works]. Moscow: Sovremennik. [Online]. Available from: <https://books.google.ru/books?isbn=5457039293>. (Accessed: 27 January 2016).
32. Amfiteatrov, A.V. (1911) *Baby i damy* [Women and ladies]. Moscow: Tipografiya A.P. Poplavskogo. [Online]. Available from: <https://books.google.ru/books?isbn=5447857732>. (Accessed: 27 January 2016).

33. Andronnikov, I.L. (1985) *A teper' ob etom* [And now this]. Moscow: Sovetskiy pisatel'. [Online]. Available from: <https://books.google.ru/books?id=dndgAAAAMAA>. (Accessed: 27 January 2016).
34. Shklovskiy, V.B. (1973) *Sobranie sochineniy* [Works]. Vol. 1. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
35. Zorina, Z.A. & Smirnova, A.A. (2006) *O chem rasskazali "govoryashchie obez'yany"* [What "talking monkeys" told]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.
36. Popov, V.G. (2010) *Son, pokhozhiy na zhizn'* [Life-like dream]. Moscow: PROZAIK. [Online]. Available from: <https://books.google.ru/books?id=xXs8AQAAIAAJ>. (Accessed: 27 January 2016).

УДК 81-112

DOI: 10.17223/19986645/41/6

С.А. Толстик

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ВНЕШНОСТИ: К ИСТОРИИ И ЭТИМОЛОГИИ РУССКОГО ДИАЛЕКТНОГО ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО *БУКАТЫЙ*

*В статье исследуются происхождение русского диалектного слова **букастый** и история возникновения в его семантической структуре параметрического значения внешности ('толстый'). В результате проведенного историко-этимологического анализа выявлено, что **букастый** является производным от заимствованного из румынского языка слова **бука** 'кусок', 'хлеб'. Мотивирующим для признаков полноты тела человека и эстетической оценки внешности в русских говорах послужил либо признак увеличения в объеме в результате переедания (метонимия), либо признак 'похожий на хлеб' (метафора).*

Ключевые слова: диахрония, диалектология, сравнительно-историческое языкознание, этимология, историческая лексикология.

Анализируя адъективную лексику в русских народных говорах, репрезентирующую национальный образ внешности, мы обнаружили смоленское прилагательное *букастый* в значении 'толстый', которое фиксируется в диалектной лексикографии с XIX в. [1. Вып. 3. С. 264; 2. С. 43; 3]. Контексты в словарях в основном характеризуют животных такого телосложения: *Корова наша бука* *дужа* [1. Вып. 3. С. 264; 2. С. 43]. Найден также текст (без указания ареала) детской потешки:

*Идет коза рогатая,
Букастая с поля.
Говорит: Катю заколет,
Киль, киль, киль, киль! [4].*

Судя по многочисленным вариантам русских фамилий с этим корнем (*Букатнев, Бука* *ты, Бука* *тин, Бука* *тов, Бука* *та* и др.), анализируемое производящее для них прилагательное могло характеризовать и человека [5].

Это подтверждает и наличие диминутива от *букастый* – *бука* *тенький* в смоленских говорах, который характеризует полноту тела ребенка и детеныша животного: *Во* *пашол* *какой* *бука* *тинький* (ребенок). *Къкая* *у няго* (ребенка) *мордъчка* *бука* *тинькая*. *Ах ты, мой* *малинький, ах* *бука* *тинький* (о ягненке) [6. Вып. 1. С. 283].

Как оттенок значения 'толстый' (о человеке) в семантической структуре смоленского прилагательного *букастый* выступает характеристика беременной женщины: *Мотя* *тыкая* *бука* *тыя* *стала*. *Унучка* *бука* *титы*; *так* *бука* *та, верна, двыйня* *т* *родить* [6. Вып. 1. С. 283].

В западнорусских говорах прилагательное *букатый* имело еще одно значение, характеризующее не человека, а пространство с точки зрения размера – ‘обширный, просторный’: загадка *Хата буката, окон богато, а некуда вылезть* (ответ: ‘невод’) [1. Вып. 3. С. 264; 3]. В донских говорах существует выражение *букатое мясо* ‘кусок мяса без костей’: *Када вихроуцы свадьбу играют, ани мяса букатая варять* [7. С. 59–60; 8. Т. 1. С. 46].

С семантикой внешности, полноты тела в диалектах встречаются лексемы с корнем *бук-*: глаголы *букатеть* и *букатить* ‘становиться полнее, толстеть’ (Смол.), существительное *бука* ‘толстый человек’ (Холм. Пск.) и др. знач., *букленистый* ‘толстый, дородный’, ‘толстый, неповоротливый’ (Пск., Твер.) [1. Вып. 3. С. 265; 6. Вып. 1. С. 283; 9. С. 14; 10. Вып. 2. С. 207], *букленья*, *буклеха* ‘толстый, полный человек’ (Пск., Твер., 1855) [1. Вып. 3. С. 264; 9. С. 14; 10. Вып. 2. С. 207]. Значение ‘толстый, объемный’ не по отношению к человеку, а по отношению к предметам проявляется в существительных *буклешика* и *букляшка* ‘толстый обрубок дерева, чурбан’ (Пск., Твер.), *буклянья* ‘толстые короткие дрова’ (Перм.) [1. Вып. 3. С. 264; 10. Вып. 2. С. 207]. В уральских говорах есть существительное *букатина*, обозначающее рыбу большого размера [11. Т. 1. С. 176].

В русских народных говорах также наблюдаются, возможно, родственные лексемы, содержащие корневой элемент *бук-* с другими значениями [1. Вып. 3. С. 262–266; 3. 6. Вып. 1. С. 283; 8. Т. 1. С. 46; 10. Вып. 2. С. 207; 12. С. 69]:

- со звуковым значением: *букать* ‘раздаваться, звучать’ (Твер.), *букарить* ‘громко мычать’, ‘сердиться (о животных)’ (Арх.) и *букариться* ‘реветь, мычать’ (о коровах) (Свердл.), *букало* ‘колокольчик, подвязываемый скоту на шею’ (Пск.);

- с семантикой битья: *букать* ‘ударить кого-л.’ (Твер.), *букаться* ‘падать, ударяться’ (Твер., Куйбыш.), ‘бодаться’ (Смол.), *буканье* ‘действие по глаголу *букать*’ (Олон., Арх.);

- обозначающие насекомых: *букара* ‘насекомое, букашка’ (Яросл.), *букарака* ‘большое насекомое’ (Яросл.), *букарица* ‘насекомое, жучок, букашка’ (Иркут., Свердл., Арх.) и др.;

- обозначающие мифологическое существо, нечистую силу: *бука* ‘черт’ и др. знач. (Новг.), *буканка* ‘фантастическое существо, живущее в доме, домовый’ (Калуж., Перм.), *буканай*, *буканайко* ‘то же’ (Ср. Урал), *букан* ‘страшилище, которым пугают детей, бука, нечистая сила’ (Твер., Влад., Сиб., Барнаул), *букарка* ‘сказочное страшилище, которым пугают детей’ (Нижегор., Колым.) и др.;

- в некоторых названиях растений: *буковник* ‘буквица аптечная’ (Твер.), *буковица* – разные виды растений и др.;

- в рязанских говорах (Деул.) встречаются лексемы с корнем *бук-* со значением ‘распухать, набухать’, т.е. ‘увеличиваться в объеме’ (что наиболее близко к анализируемой нами семантике): *букнуть* ‘разбухнуть, размокнуть’ и *буклый* ‘разбухший, набухший’;

- с семантикой ‘хлеб’, ‘кусок’: *буката* ‘булка’ (Смол.), ‘буханка’: *Возьми хлеба букату* (Пск.), *букатка* (Зап., Сев.-Зап., Смол., Саратов) или ‘ку-

сок мяса': *Букатка мяса*. Дон. (Дон., Саратов.) или же в значении 'целая коврига, каравай хлеба' (Зап.): *По достатку пекут букатку*. Также с пищевым значением слово *букатка* зафиксировано как 'доля пищи бурлака в артели, укус' (Саратов.), отсюда *букатник* как шуточное название лоцмана – 'начальник артели бурлаков, выдающий членам артели их долю пищи' [1. Вып. 3. С. 264; 3].

На основании приведенного материала с корнем *бук-* пока нельзя однозначно сказать, имеет ли отношение данный пласт лексики к анализируемому прилагательному *букатый*.

Обращает на себя внимание последний ряд существительных, по всей видимости, однокорневых, обозначающих хлеб / кусок как наиболее близких по форме исследуемому прилагательному и имеющих тот же или близкий ареал (юго-западные или северо-западные территории России).

В сравнительном обороте существительное *букатка* может характеризовать внешность человека: *Девка, як букатка – букаточка*. Смол., Сев.-Зап. [1. Вып. 3. С. 264]. Полагаем, что в данном контексте это слово характеризует пышное, полное телосложение человека.

В лексикографических источниках современного русского литературного языка и в Национальном корпусе русского языка исследуемое прилагательное не фиксируется. В словаре синонимов онлайн к прилагательному *букатый* с опорой на диалектный материал приводятся синонимы *просторный, обширный* [13].

В XIX в. слово *букатый* отмечается только в словаре В.И. Даля как диалектное [3], в других словарях этого периода отсутствует. В русском языке XV–XVIII вв., в древнерусском языке анализируемое прилагательное также не зафиксировано.

Поскольку данные русского языка не прояснили происхождение данного слова, с целью определить внутреннюю форму прилагательного *букатый* и выявить признак, легший в основу номинации понятия 'толстый, полный', мы обратились к данным других славянских языков.

Прилагательное *букатый* в словарях других славянских языков не отмечается. Но О.П. Знойко в работе «Мифы Киевской земли» приводит украинский фольклорный контекст колядки с прилагательным *букатий* без семантики внешности – 'большой, пышный' (по отношению к пирогам, выпечке) [14. С. 69]:

*Свята Василя діжу місила,
Пироги пекла букатій, рогатій.*

В польском языке XVIII в. отмечается имя собственное *Franciszek Bukaty* (Франтишек Букаты) [15], по всей видимости, заимствованное из украинского языка.

О происхождении слова *букатый* в этимологической литературе почти не упоминается. Только А.В. Десницкая говорит о возможности связи прилагательного *букатый* с существительным *буката* / *bukata* [16. С. 43].

Слово *буката* встречается в восточнославянских и польском языках. В том числе и в именах собственных, в основном в фамилиях. Так, в словаре

Н.М. Тупикова упоминается имя *Станиславъ Букать* (боярин в Литве, 1520 г.) [17. С. 68].

Белорусские существительные *буката*, *букатка* имеют значение ‘булка хлеба’: *Толочане в полудзень зъели букатку хлеба. ...Хлеба букату на поле наишли. XVI в. Резового хлеба букать пять дали. 1710.* [18. Вып. 1. С. 404; 19. С. 38; 20. Вып. 2. С. 245]. В украинском языке слова *букат*, *буката*, *букатка*, *букатя* зафиксированы в значении ‘кусок’ (XVIII в.) [21. С. 101; 18. Вып. 1. С. 404; 22. Т. 1. С. 245; 23. Т. 1. С. 285; 24. Т. 1. С. 108; 25. С. 30; 26. С. 24], ‘ком’ (диал.) [27. Т. 1. С. 74]. В XVII в. в украинском языке отмечено *буката* ‘большой теленок, бычок’, ‘шкура бычка’ (от ‘теленка, предназначенный на убой’, ‘мелкая единица скота’ в украинском и польском из карпатских пастушеских говоров) [23. Т. 1. С. 285; 28. Т. 1. С. 152; 29. С. 93]. В староукраинском языке в XV в. фиксируется *боуката* со значением ‘делянка, участок’, по всей видимости, производным от значения ‘кусок’: *Ино мы видѣше и(х) доброе произволеніе и лагодоу, также и мы єсми дали томоу букатоу землю монастырю нашемоу о(т) нѣмца* [23. Т. 1. С. 285. 30. Т. 1. С. 130]. В русинском языке также отмечено слово *буката* ‘кусок мяса, хлеба’ [31. Т. 1. С. 100].

В польском языке существительное *bukat* (в словаре Я.Б. Рудницкого – *bukata*) имеет семантику, в основном совпадающую с семантикой в белорусском и украинском языках: помимо значения ‘кусок’, имеет значения ‘бычок, теленок’ и ‘шкура теленка’ (скотобойный и дубильный термин) [22. Т. 1. С. 245; 23. Т. 1. С. 285; 32. С. 93; 32; 33. Т. 1. С. 192; 34. С. 75; 35. С. 74]. В старопольском языке существительное *bukat* / *bukata* не фиксируется, в среднепольский период – в XVI в. приводится в значении ‘кусок (мяса)’ [36. Т. 2. С. 502; 37. С. 48]. Как и в украинском языке, отмечается в значении ‘участок, делянка, поле бедняков’ [39]. Диалектный диминутив *bukacik* ‘посуда, мастерски сделанная из одного куска дерева’ также содержит сему ‘кусок’ [39. Т. 1. С. 135]. Интересующая нас семантика внешности, таким образом, у слов *буката* / *букат* на восточнославянском и польском материале не прослеживается.

По данным этимологических словарей, в белорусский и польский языки эта лексема пришла через украинский [18. Т. 1. С. 404; 22. Т. 1. С. 245; 33. Т. 1. С. 230]. Говоря об ареале восточнославянского существительного *буката*, А.В. Десницкая указывает пути проникновения в русские говоры через белорусские диалекты из карпатского ареала (украинско-карпатские говоры) [16. С. 43].

Что касается происхождения слова *буката*, то можно выделить несколько гипотез.

Во-первых, В.И. Даль высказывает предположение о связи прилагательного *букатый* с *бухнуть*, *разбухать* (под вопросом) [3], что семантически вполне оправданно, ср. прилагательное *пухлый*, диалектное *ботелый* со значением ‘полный, толстый’ (Арх.), *бутной* (Пск.) > ‘распухший’ [40. С. 40–41; 41. Т. 1. С. 170].

Во-вторых, Г.О. Осетрова в связи с исследованием названия села *Бакота* в Тернопольской области в Кременецком районе рассматривает происхождение слова *буката* и возводит к и.-е. **bheg-* ‘отрезать’ (откуда значение ‘ку-

сок»), далее сопоставляя с индоевропейским **bhag-* «делить, чем-то наде-
лять», ср. заимствование **bogъ* в славянские языки из иранских [42].

В ЭССЯ этот материал не приводится, следовательно, авторы данного словаря не включают его в праславянский лексический фонд. Поэтому при учете ареала вполне закономерно возникает третье предположение – о заимствованном характере производящего для прилагательного *букатый* существительного *буката*.

В основном, говоря о происхождении слова *буката* и однокорневых образований, исследователи характеризуют эту лексику как древнее заимствование из восточнороманских языков – из румынского (со ссылкой на молдавское *букатэ* ‘кусок’) [16. С. 43; 18. Вып. 1. С. 404; 22. Т. 1. С. 245; 24. Т. 1. С. 285; 26. С. 24; 30. Т. 1. С. 130; 29. С. 93; 43. Т. 1. С. 184]. А. Брюкнер говорит о заимствовании из итальянского [37. С. 48], однако в любом случае речь идет о романском заимствовании в славянские языки. В румынском языке существительное *bucătă* имеет значение ‘кусок’ и другие производные значения и восходит к латинскому *buccata* ‘полный рот, кусок’ [18. Вып. 1. С. 404; 22. Т. 1. С. 245–43. Т. 1. С. 184].

Далее в латыни восходит к *bucca*, *ae f* ‘полная, надутая щека’ (в отличие от *gena*, *ae f* ‘щека’), ‘глоток или кусок’ [23. Т. 1. С. 285; 44. С. 123] и является просторечным синонимом (в вульгарной латыни) к *os*, *oris n* ‘рот, уста’ [16. С. 43]. В производных словах прослеживаются также значения ‘щека’, ‘кусок’: *bucella* ‘кусочек (пищи)’, *buccula* ‘щечка, ротик’, ‘кусок хлеба’ и др., *bucculentus*, *a*, *um* ‘толстощёкий, большеротый’, *buccea* ‘кусок (пищи)’, семантика ряда сложных производных связана с солдатской пищей *buccellārius* ‘состоящий на довольствии солдат’, *buccellātum* ‘солдатский пайковый хлеб’ [45. Т. 1. С. 120; 44. С. 123; 46. Т. 1. С. 588–589; 47. Т. 1. С. 764–766].

Продолжением в современных романских языках являются франц. *bouche*, исп. *boca*, итал. *bocca* ‘рот’, ‘устье реки’, ‘отверстие’ [16. С. 42]. А.В. Десницкая, изучая вопросы проникновения балканизмов в восточнославянские языки в связи с «валашской колонизацией» – переселением восточнороманских пастушеских коллективов (на протяжении последних 500–600 лет), обращается и к романской лексеме *bukata*.

Продолжение латинского слова *bucca* на Балканах – в албанском и восточнороманских языках получило несколько иное семантическое развитие: алб. *bukë* ‘хлеб’, ‘дневная (обед) или вечерняя (ужин) еда’, ‘жизнь-бытие’; арумунское (арумынское) (а) *bûca* ‘кусок’, ‘порция пищи, принимаемая за один раз’, ‘щека’, ‘ягодица’; рум. *buca* ‘щека’, мн. ‘ягодицы’ [16. С. 42–43; 48. С. 21]. «Самостоятельные значения получило образованное на восточнороманской почве производное рум. *bucătă*, молд. *букатэ* ‘кусок (хлеба, мамалыги, дерева и др.)’, ‘промежуток, расстояние, интервал времени’ и др. производн. знач., мн. *bucate* ‘кушанье, блюдо’, ‘злаки, зерновые хлеба’» [16. С. 42]. То есть в восточнороманском ареале в основном преобладают значения ‘щека’ и ‘кусок’. А.В. Десницкая предполагает, что слово *буката* распространилось в русских говорах на Волге как элемент аргумента бурлаков, о чем свидетельствуют его передвижение: «Пути движения этого интересного слова, таким образом, протянулись из карпатской области, через белорусские говоры и далее через северо-западные говоры русского языка, да-

леко на юго-восток – в области Нижней Волги и Дона» [16. С. 43]. Употребление русских диалектных саратовских слов *букатка* в значении ‘бурлацкая доля, кус’ и *букатник* ‘начальник бурлацкой артели, выдающий пищу’ [1. Вып. 3. С. 264; 3] подтверждает это предположение.

Проанализировав славянский и романский материал, вернемся к русскому диалектному адъективу *букатый*.

Подводя итоги, отметим, что русское прилагательное *букатый* как характеристика полного тела человека и животного было зафиксировано в русских говорах достаточно поздно – в XIX в.

В русский язык производящие существительные *буката*, *букат*, как и в белорусский, русинский и польский языки, были заимствованы из украинского (об этом говорит и западнорусский ареал этого слова). Анализируемое прилагательное в значении ‘полный, толстый’ возникло на базе ‘кусок’, ‘хлеб’ уже в русских говорах, хотя в украинском языке данное прилагательное имеет место без семантики внешности. Исследуемое нами прилагательное производно от заимствованного из восточнороманских языков существительного *буката*. Прочие этимологии являются менее убедительными.

Проведенный этимологический анализ показал, что к словам с корнем *бук-* со звукоподражательной семантикой, к обозначениям насекомых, лексемам с семантикой разбухания, увеличения в объеме и др. исследуемый нами заимствованный материал не имеет явного отношения, эти слова относятся к пласту исконной лексики, изначально звукоподражательного характера (куда и само латинское *bussa* восходит) [23. Т. 1. С. 285; 49. Вып. 3. С. 87–88; 50. Т. 1. С. 236].

Мотивирующим для признака полноты тела в данном случае в русских говорах послужил либо признак увеличения в объеме в результате переедания: ‘такой, который много ест (хлеба), прожорливый’ > ‘полный, толстый’ (метонимический перенос), либо признак ‘похожий на хлеб, пышный, румяный’ > ‘полный, толстый’ (метафорический перенос).

Литература

1. *Словарь русских народных говоров* / гл. ред. Ф.П. Филин, Ф.П. Сороколетов, С.А. Мызников. Л. (СПб.): Наука. Ленингр. отделение, 1968–2013. Вып. 1–46.
2. *Добровольский В.Н.* Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914. 1022 с.
3. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка (онлайн версия). URL: <http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Dal-term-2232.htm>
4. *Детский фольклор.* Малые фольклорные формы. URL: http://infourok.ru/albom_detskiy_folklor.malye_folklornye_formy-331358.htm
5. *Максимов В.О.* Из истории фамилий. URL: http://www.nkj.ru/archive/articles/26299/index.php?PAGEN_3=2&ELEMENT_ID=26299
6. *Словарь смоленских говоров* / под ред. А.И. Ивановой. Смоленск: Смол. пед. ин-т им. Карла Маркса, 1974–1993. Вып. 1–6.
7. *Большой толковый словарь донского казачества.* М.: ООО «Русские словари»: ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд-во АСТ», 2003. 608 с.
8. *Словарь русских донских говоров* / авт.-сост. З.В. Валюсинская, М.П. Выгонная, А.А. Дибров и др.; отв. ред. В.С. Овчинникова. Ростов, 1975–1976. Т. 1–3.
9. *Дополнение к Опыту областного великорусского словаря.* СПб., 1858. 328 с.
10. *Псковский областной словарь с историческими данными* / редкол. Б.А. Ларин и др. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1967–2013. Вып. 1–24.

11. Малеча Н.М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков. Оренбург: Кн. изд-во, 2002. Т. 1–4.
12. Словарь современного русского народного говора (д. Деулино) / сост. Г.А. Барина, Т.С. Коготкова, Е.А. Некрасова и др.; под ред. И.А. Оссовецкого. М.: Наука, 1969. 612 с.
13. Словарь русских синонимов. URL: http://jeck.ru/tools/Synonyms_Dictionary/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B
14. Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні: науч.-попул. ст., розвідки: для ст. шк. в. / передм. В.Р. Коломійця. Киев: Молодь, 1989. 304 с.
15. *Encyklopedia*. URL: <http://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/bukat.html>
16. Десницкая А.В. О ранних балкано-восточнославянских лексических связях // *Вопр. языкознания*. 1978. № 2. С. 42–51.
17. Тушков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имён. СПб., 1903. 857 с.
18. *Этымалагічны слоўнік беларускай мовы*. Мінск, 1978–2010. Т. 1–13.
19. Носович И.И. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870. 756 с.
20. *Гістарычны беларускай мовы / Ін-т мовы літаратуры НАН Беларусі*. Мінск: Беларус. навука, 1982–2010. Вып. 1–30.
21. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Киев: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
22. Рудницький Я.Б. *Етимологічний словник української мови* = An etymological dictionary of the Ukrainian language. 2-е изд. Вінніпег: УВАН, 1962–1972. Т. 1–10.
23. *Этимологический словарь украинского языка* / сост. Р.В. Болдырев и др. Киев: Наукова думка, 1982–1989. Т. 1–7.
24. *Словарь украинского языка*, собранный редакцией журнала «Киевская старина» / ред. с добавлением собственных материалов Б.Д. Гринченко. Киев, 1907–1909. Т. 1–4.
25. *Гуцульські говірки*. Короткий словник. Відповідальний редактор Я. Закревська. Львів, 1997. 232 с.
26. Miklosich F. *Etymologisches Wörterbuch des slavischen sprachen*. Wien, 1886. 547 с.
27. Омишкевич М.И. *Словник бойківських говірок* / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. Київ: Наукова думка, 1984. Ч. 1–2.
28. *Історичний словник українського языка*. Харків: Укр. радян. енцикл., 1930. Т. 1–2.
29. Bańkowski A. *Etymologiczny słownik języka polskiego*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Т. 1–2.
30. *Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.* Київ: Наукова думка, 1964. Т. 1–2.
31. Керча И. *Русинско-русский словарь*. Ужгород: ПоліПрінт, 2007. Т. 1–2.
32. *Słownik języka polskiego*. URL: <http://sjp.pwn.pl/szukaj/bukaty.html>
33. *Słownik języka polskiego przez M. S. B. Linde*. Drukarnia XX. Pijarów. Warszawa, 1807–1814. Т. 1–6.
34. *Słownik języka polskiego*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 1360 s.
35. *Słownik poprawnej polszczyzny* / red. A. Markowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 1162 s.
36. *Słownik Polszczyzny XVI w.* Wrocław, 1966–2010. Т. 1–34.
37. Brückner A. *Słownik etymologiczny języka polskiego*. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. 805 с.
38. <http://korpusy.klf.uw.edu.pl/pl/slownik-lindego/query/>
39. Karłowicz J. *Słownik gwar polskich*. Kraków, 1900–1911. Т. 1–6.
40. Толстик С.А. К истории и этимологии русского диалектного прилагательного *бутной* // *Вестн. Том. гос. ун-та. Филология*. 2013. № 4(24). С. 36–42.
41. *Словарь говоров русского Севера* / под ред. А.К. Матвеева. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2001–2011. Т. 1–5.
42. Осетрова Г.О. До питання про походження назви м. Бакота. URL: http://kampot.org.ua/ukraine/history_ukraine/istoria_mist/211-bakota-zvidki-ti.html, http://niazkamenec.org.ua/doslidgena/stata_9.shtml
43. Огієнко І. *Етимологічно-семантичний словник української мови* / Митрополит Іларіон; за ред. Ю. Мулика-Луцика. Вінніпег: накладом т-ва «Волинь», 1979–1994. Т. 1–4.
44. Дворецкий И.Х. *Латинско-русский словарь*. 12-е изд., стер. М.: Рус. Яз., 2009. 1055 [7] с.
45. Walde A., Hofmann I.B. *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*. Heidelberg, 1939–1954. Bd. 1–2.

46. *Totius latinitatis lexicon /opera et studio A. Forcellini. 1858–1879.*
47. *Du Cange D. Glossarium mediae et infimae latinitatis. Niort: L. Favre, imprimeur-editeur, 1886. Т. 1–7.*
48. Албанский словарь онлайн. <http://www.fjalor.ru/>
49. *Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд / ред. О.Н. Трубачев. М.: Наука, 1974–2014. Вып. 1–39.*
50. *Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачёва. М.: Прогресс, 1964–1973. Т. 1–4.*

THE NATIONAL IMAGE OF APPEARANCE: THE HISTORY AND ETYMOLOGY OF THE RUSSIAN DIALECTAL ADJECTIVE BUKATYY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 3 (41). 66–75. DOI: 10.17223/19986645/41/6

Tolstik Svetlana A., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: stolstik@mail.ru

Keywords: diachrony, dialectology, comparative-historical linguistics, etymology, historical lexicology.

This article presents the history of the meaning of appearance in the semantic structure of the Russian dialect word *bukatyy*.

The adjective *bukatyy* describes human and animal appearance in Russian folk dialects in parametric terms, namely the volume of the body (thick, fat). This word is used in Smolensk dialects only.

The analysis of cognate dialect words in the Russian language showed that the semantic structure of a number of these words also contains the meaning of the human body volume. The derivational basis for the adjective *bukatyy* is the dialect noun *bukata* meaning ‘bread’, ‘piece’.

In order to reveal the inner form of the word, the sources of primary motivation of the adjective *bukatyy*, the emergence of the meaning of the human body volume, the author refers to the data of Russian history. The adjective was not recorded in the Russian literary language throughout all stages of its development.

Bukatyy is not fixed in dictionaries of other Slavic languages, but in Ukrainian folklore the adjective *bukatiy* functions in the meaning ‘large, puffy’ (about pies). Tracing the history of the word in the East Slavic languages, the author found that the semantics of the human body volume is not presented in the material.

Further, the author analyzed the material of all the other Slavic languages. The noun *bukata* and some cognates are represented only in the Eastern Slavic languages and in Polish primarily in the meaning ‘bread’, ‘piece’.

There are several hypotheses on the origin of the word *bukata*, the main of which is the hypothesis of an ancient borrowing from Romanian. The Romanian noun *bucătă* means ‘piece’ and other derived meanings, and comes from the Latin *buccata* ‘full mouth, piece’. In Latin it goes back to *bucca*, *ae* (f) ‘full, inflated cheek’, ‘sip or bite’.

Russian, as well as Belarussian, Ruthenian and Polish, borrowed the nouns *bukata* / *bukat* from Ukrainian (the West-Russian area where this word is used proves this fact). The meaning of the adjective characterizing the volume of the human and animal appeared on the basis of meanings ‘piece’, ‘bread’ in Russian dialects.

A conclusion is made that the motivating feature for the body volume meaning in Russian dialects was either the feature of the increase in volume as a result of overeating, ‘one that eats a lot (of bread), gluttonous’ > ‘thick’ (metonymy) or ‘similar to bread, puffy’ > ‘thick’ (metaphor).

References

1. Filin, F.P. Sorokoletov, F.P. & Myznikov, S.A. (eds) (1968–2013) *Slovar' russkikh narodnykh govorov* [Dictionary of Russian folk dialects]. Vols 1–46. Leningrad (St. Petersburg): Nauka.
2. Dobrovol'skiy, V.N. (1914) *Smolenskiy oblastnoy slovar'* [Smolensk regional dictionary]. Smolensk.
3. Dahl, V.I. *Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka* [The Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language]. [Online]. Available from: <http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Dal-term-2232.htm>.

4. Infourok.ru. (n.d.) *Detskiy fol'klor. Malye fol'klornye formy* [Children's folklore. Small folklore forms]. [Online]. Available from: http://infourok.ru/albom_detskiy_folklor.malye_folklornye_formy-331358.htm.
5. Maksimov, V.O. (2015) *Iz istorii familiy* [From the history of surnames]. [Online]. Available from: http://www.nkj.ru/archive/articles/26299/index.php?PAGEN_3=2&ELEMENT_ID=26299.
6. Ivanova, A.I. (ed.) (1974–1993) *Slovar' smolenskikh govorov* [The Dictionary of Smolensk dialects]. Vols 1–6. Smolensk: Smolensk Pedagogical Institute.
7. Degtyarev, V.I. et al. (eds) (2003) *Bol'shoy tolkovyy slovar' donskogo kazachestva* [The Great Explanatory Dictionary of the Don Cossacks]. Moscow: Russkie slovari: Astrel': AST.
8. Valyusinskaya, Z.V. et al. (1975–1976) *Slovar' russkikh donskikh govorov* [The Dictionary of the Russian Don dialects]. Vols 1–3. Rostov.
9. Imperial Academy of Sciences. (1858) *Dopolnenie k Opytu oblastnogo velikorusskogo slovarya* [Supplement to the experience of the regional Great Dictionary]. St. Petersburg: vtoree otd. Imperatorskoy akademii nauk.
10. Larin, B.A. et al. (eds) (1967–2013) *Pskovskiy oblastnoy slovar' s istoricheskimi dannymi* [Pskov regional dictionary with historical data]. Vols 1–24. Leningrad: Leningrad State University.
11. Malecha, N.M. (2002) *Slovar' govorov ural'skikh (yaitskikh kazakov)* [Dictionary of Ural (Yaik Cossacks) dialects]. Vols 1–4. Orenburg: Orenb. knizhnoe izdatel'stvo.
12. Ossovetskiy, I.A. (ed.) (1969) *Slovar' sovremennogo russkogo narodnogo govora (d. Deulino)* [Dictionary of Modern Russian folk dialect (v. Deulino)]. Moscow: Nauka.
13. Jeck.ru. (n.d.) *Slovar' russkikh sinonimov* [Dictionary of Russian synonyms]. [Online]. Available from: <http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9>.
14. Znoyko, O.P. (1989) *Mifi Kiïvs'koï zemli ta podii starodavni* [Kiev land myths and ancient events]. Kiev: Molod'.
15. *Encyklopedia*. (n.d.) [Online]. Available from: <http://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/bukat.html>.
16. Desnitskaya, A.V. (1978) O rannikh balkano-vostochnoslavjanskikh leksicheskikh svyazyakh [On the early Balkan-Eastern Slavic lexical links]. *Voprosy yazykoznanija*. 2. pp. 42–51.
17. Tupikov, N.M. (1903) *Slovar' drevnerusskikh lichnykh sobstvennykh imen* [Dictionary of Old Russian personal proper names]. St. Petersburg.
18. Navuka i tekhnika. (1978–2010) *Etymalagichny sloŭnik belaruskay movy* [Etymology dictionary of the Belarusian language]. Vols 1–13. Minsk: Navuka i tekhnika.
19. Nosovich, I.I. (1870) *Slovar' belorusskogo narechiya* [Dictionary of the Belarusian dialect]. St. Petersburg.
20. Institute of Language and Literature of the National Academy of Sciences of Belarus. (1982–2010) *Gistarychny belaruskay movy* [History of the Belarusian language]. Vols 1–30. Minsk: Belarus. navuka.
21. Busel, V.T. (ed.) (2005) *Velikiy tlumachniy slovník suchasnoï ukrains'koï movi (z dod. i dopov.)* [Great Dictionary of modern Ukrainian language (amended and supplemented)]. Kiev: Irpin': VTF "Perun".
22. Rudnits'kiy, Ya.B. (1962–1972) *Etymologichniy slovník ukrain'skoy movi* [An etymological dictionary of the Ukrainian language]. 2nd ed. Vols 1–10. Vinnipeg: UVAN.
23. Boldyrev, R.V. et al. (1982–1989) *Etymologicheskij slovar' ukrainskogo yazyka* [An etymological dictionary of the Ukrainian language]. Vols 1–7. Kiev: Naukova dumka.
24. Grinchenko, B.D. (ed.) (1907–1909) *Slovar' ukrainskogo yazyka, sobrannyy redaktsiye zhurnala "Kievskaya starina"* [Dictionary of the Ukrainian language, compiled by the editors of the journal Kiev Antiquity]. Vols 1–4. Kiev.
25. Zakrevs'ka, Ya. (ed.) (1997) *Gutsul's'ki govorki. Korotkiy slovník* [Hutsul dialect. Concise Dictionary]. Lviv.
26. Miklosich, F. (1886) *Etymologisches Wörterbuch des slavischen sprachen* [Etymological Dictionary of Slavic dialects]. Wien.
27. Onishkevich, M.I. (1984) *Slovník boykivs'kikh govirok* [Dictionary of Boiko dialects]. Pts 1–2. Kiev: Naukova dumka.
28. Petrenko, G. (ed.) (1930) *Istoričniy slovník ukrains'kogo yazyka* [Historical Dictionary of the Ukrainian language]. Vols 1–2. Kharkov: Ukr. radyan. Entsiklopediya.
29. Bańkowski, A. (2000) *Etymologiczny słownik języka polskiego* [Etymological dictionary of the Polish language]. Vols 1–2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

30. Naukova dumka. (1964) *Slovník staroukrajinskoi movi XIV–XIV st.* [Dictionary of the Old Ukrainian language of the 14th–16th centuries]. Vols 1–2. Kiev: Naukova dumka.
31. Kercha, I. (2007) *Rusinsko-russkiy slovar'* [Ruthenian-Russian dictionary]. Vols 1–2. Uzhgorod: PoliPrint.
32. *Słownik języka polskiego* [Dictionary of the Polish Language]. [Online]. Available from: <http://sjp.pwn.pl/szukaj/bukaty.html>.
33. Linde, M.S.B. (1807–1814) *Słownik języka polskiego* [Dictionary of the Polish Language]. Vols 1–6. Warsaw: Drukarnia XX. Pijarów.
34. Wydawnictwo Naukowe PWN. (2007) *Słownik języka polskiego* [Dictionary of the Polish Language]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
35. Markowski, A. (ed.) (2009) *Słownik poprawnej polszczyzny* [Dictionary of correct Polish]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
36. Mayenowa, M.R. & Peplowski, F. (eds) (1966–2010) *Słownik Polszczyzny XVI w.* [Dictionary of Polish of the 16th century]. Vols 1–34. Wrocław.
37. Brückner, A. (1974) *Słownik etymologiczny języka polskiego* [Etymological Dictionary of Polish]. Warsaw: Wiedza Powszechna. [Online]. Available from: <http://korpusy.klf.uw.edu.pl/pl/slovník-lindego/query/>.
39. Karłowicz, J. (1900–1911) *Słownik gwar polskich* [Dictionary of Polish dialects]. Vols 1–6. Cracow.
40. Tolstik, S.A. (2013) On history and etymology of the Russian dialectal adjective. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 4(24), pp. 36–42. (In Russian).
41. Matveev, A.K. (ed.) (2001–2011) *Slovar' govorov russkogo Severa* [The dictionary of dialects of the Russian North]. Vols 1–5. Ekaterinburg: Ural State University.
42. Osetrova, G.O. (2010) *Do pitannya pro pokhodzhennya nazvi m. Bakota* [On the origin of the noun Bakota]. [Online]. Available from: http://kampot.org.ua/ukraine/history_ukraine/istoria_mist/211-bakota-zvidki-ti.html; http://niazkamenec.org.ua/doslidzhenia/stata_9.shtml.
43. Ogienko, I. (1979–1994) *Etimologichno-semanticzny slovník ukrains'koï movi* [Etymological and semantic dictionary of the Ukrainian language]. Vols 1–4. Vinnipeg: Volin'.
44. Dvoretzkiy, I.Kh. (2009) *Latinsko-russkiy slovar'* [Latin-Russian dictionary]. 12th ed. Moscow: Russkiy yazyk.
45. Walde, A. & Hofmann, I.B. (1939–1954) *Lateinisches etymologisches Wörterbuch* [Latin etymological dictionary]. Vols 1–2. Heidelberg.
46. Forcellini, E. (1858–1879) *Totius latinitatis lexicon* [The entire Latin Lexicon].
47. Du Cange, D. (1886) *Glossarium mediae et infimae latinitatis* [Dictionary of Middle and Low Latin]. Vols 1–7. Niort: L. Favre, imprimeur-editeur.
48. *Albanskiy slovar' onlayn* [Albanian dictionary online]. [Online]. Available from: <http://www.fjalor.ru/>.
49. Trubachev, O.N. (ed.) (1974–2014) *Etimologicheskii slovar' slavyanskikh yazykov: praslavyanskiy leksicheskiy fond* [The etymological dictionary of Slavic languages: Proto-Slavic lexical stock]. Vols 1–39. Moscow: Nauka.
50. Fasmer, M. (1964–1973) *Etimologicheskii slovar' russkogo yazyka* [The etymological dictionary of the Russian language]. Translated from German by O.N. Trubachev. Vols 1–4. Moscow: Progress.

УДК 81-13

DOI: 10.17223/19986645/41/7

В.Е. Чернявская

ПРОШЛОЕ КАК ТЕКСТОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИСТОРИЧЕСКОГО НАРРАТИВА

В статье осмысляется проблема лингвистического поворота в истории и его методологические следствия в анализе исторических знаний. Сопоставлены методологические подходы к литературному и историческому нарративу, взаимодействие исторического и лингвистического методов анализа. Лингвистическая интерпретация с опорой на функционально и когнитивно ориентированные принципы рассматривается как дополнительный инструмент, не подменяющий, но развивающий специальные методы историографии, позволяющие квалифицировать текст как историческое знание либо как субъективно-оценочное, квазинаучное высказывание, в котором цели историка подменяются иными целями.

Ключевые слова: историческое знание, текст, лингвистический поворот, исторический нарратив.

Постановка проблемы и метод анализа

Цель исследования – показать на основе научного междисциплинарного анализа методологические возможности лингвистического анализа в интерпретации и оценке исторических фактов. Такая исследовательская задача фокусирует проблему «текстовой реальности» в истории, при которой определенный взгляд на прошлую реальность конструируется средствами языка.

При подходе к историческому тексту существенно разграничение, с одной стороны, истории как последовательности событий, с другой – истории как описания некоторой последовательности событий, фактов. С конца 1970-х гг. происходит лингвистический поворот (linguistic turn) в исторических исследованиях. Включение в проблематику исторической реальности вопросов о языке и значении является тенденцией последних десятилетий XX в. в мировой науке, когда «история как реальность» стала наполняться еще одним смыслом, а именно как реальность, изображенная в тексте. В соответствии с такими представлениями исторические тексты создают «образ реальности», выступая посредниками между исследователем и реальными фактами.

Основополагающим допущением в проведенном исследовании является положение о том, что лингвистический анализ дает возможность объективно наблюдать и оценить содержание объективированного в текстах знания. Лингвистический анализ служит дополнительным инструментом выявления коммуникативно-познавательных и прагматических интенций и ценностей автора. В качестве основных методов анализа использовался когнитивно-дискурсивный и лингво-прагматический анализ. В соответствии с когнитивно-дискурсивным методом текстовая форма признается адекватным отражением ценностных представлений и операциональных установок субъекта ре-

чевой деятельности. Дискурсивность означает понимание текста не как изолированной единицы, но как составной части метатекстовой системы. Дискурс выражает коллективное речевое действие. Это означает возможность широкого социального управления и манипулирования, при котором особым образом «канализируются» теории, идеи, оценки, взгляды, суждения, посткоммуникативные действия различных субъектов / коллективов (подробнее см.: [1]–[4]).

Теоретические основания лингвистического поворота в историографии

Лингвистический поворот рассматривается как зонтичный термин, объединяющий различные исследовательские направления и различные дискуссии о целях и возможностях исторической науки, о самоидентификации дисциплины. Феномен лингвистического поворота был отчетливо артикулирован в 1950–1960-х гг., при этом его истоки фиксируются раньше. В строгом смысле изначально следовало бы говорить не о лингвистике в современном понимании дисциплинарных границ, но о логическом анализе языка и исторической причинности. Первоначально лингвистический поворот связывался с аналитической философией и логическим позитивизмом. Истоки усматриваются в «Логико-философском трактате» Витгенштейна, (немецкий оригинал 1921 г., перевод на английский 1922 г.), в котором сформулированы задачи изучения структуры в логическом пространстве языка, понимания логики языка. Язык – это одежда для мысли. Языковая избыточность, неопределенность способны порождать логические ошибки. В фокусе оказались, таким образом, явления грамматики, грамматического значения и грамматической семантики, способные порождать логические ловушки языка.

В последующем, в 1950–1960-е гг. позитивистский пафос освобождения мысли от одежды языка и, значит, от неполноты, неточности, от логических заблуждений трансформируется в идею о том, что мысль вне языка не существует. С 1980-х гг. активно задан новый способ проблематизации исторической науки как части гуманитарных исследований вообще: язык не просто / не только передает значения, но задает и создает восприятие и интерпретацию ситуации, а также предопределяет способ действия в ситуации. Язык – инструмент для человека, использующего язык. Язык – инструмент социальной власти. Язык структурирует реальность и оформляет представления о реальности. Понимаемый так лингвистический поворот отразил общее стремление гуманитарных наук обосновать свой особый эпистемологический статус. «Ключевыми... стали как традиционные категории языка, сознания, культуры и истории, так и только вводимые в научно-философский оборот понятия деятельности, игры, символа, функции, коммуникации, жизненного мира» [5. С. 25].

В центр социогуманитарного знания выдвинулся текст, универсальная категория текстуальности, ограничиваемая спецификой предметной области. Текст – универсальный объект гуманитарного познания. Эта убежденность Г. Шпета, М. Бахтина, Ю. Лотмана выводит понимание языка за границы только и именно чистой лингвистики. Специфика гуманитарного познания вообще определяет принцип понимания одного сознания другим через посредство текстов. «Человек в его человеческой специфике всегда выражает

себя (говорит), то есть создает текст... Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, это уже не гуманитарные науки» [6. С. 142]. Реальный мир существует в неустранимой диалогичности, адресованности другому. Поиск смыслов определен несовпадением авторского и читательского взгляда, игрой позиций. Особый интерес для гуманитарного знания представляет сближение интересов исторической науки и филологии, точнее литературоведения, в последние десятилетия XX в., ср.: [7. С. 105].

Лингвистический поворот в историографии подразумевает использование литературных приемов анализа применительно к историческому тексту, поиск интертекстуальных связей, моделей повествования, риторических средств выражения пространственных и временных отношений. Наиболее выражено это в работах Х. Уайта и его последователей. Основное значение лингвистического поворота специалисты связывают с новым способом проблематизации историографии, а именно с перемещением фокуса на субъекта исторического текста и формы нарративной истории.

Осознание художественных импликаций в работе историка, нарративности, риторических приемов связано в историографии с работами Х. Уайта и его поэтикой истории. Уайт противопоставил аналитической философии истории альтернативный, по сравнению с формальной логикой, способ восприятия прошлой действительности. По Уайту, историки не только и не столько выбирают события из множества возможных и объясняют их с опорой на научно установленные закономерности / специальные критерии научности в истории. Историки организуют события в сюжет, что предполагает оценочную интерпретацию. Х. Уайт констатировал различные измерения в историческом дискурсе – онтологическое и эпистемологическое, этическое, идеологическое, эстетическое и формальное.

Этот исследовательский вектор стал, как известно, предметом анализа в рамках нарративно-лингвистической исторической эпистемологии, возникшей в 1970-е гг. Постструктуралистское направление представлено литературными теоретиками и философами (Р. Барт, М. Фуко, Ж. Деррида, Ю. Кристева, Ж. Женетт, У. Эко и др.), которые рассматривают исторический нарратив как один из множества «дискурсивных» кодов, который может или не может быть применим к репрезентации реальности. В работах представителей французской семиотической школы Р. Барта, Ю. Кристевой, Ж. Деррида и их последователей акцентирована связь истории-текста с идеологией, а основная прагматическая функция исторических текстов виделась в утверждении (навязывании) обществу определенной картины мира путем создания соответствующей текстовой реальности.

Действительно, историческое описание сближается с художественной интерпретацией реальности, когда предполагается объяснение психологической причинности, выявление интенций автора текста. Историк, так же как и нарратор, создает идентичности и управляет восприятием читателя через избранные стратегии повествования. Задается способ оценки и переживания событий, восприятия времени и пространства. Особое значение получает, таким образом, осмысление не нейтральности, но заданности точки зрения на события – подвижной точки зрения. Исторический текст преломляет, отражает оценки своего субъекта, нарратора.

Ассоциации лингвистического поворота в истории с постмодернизмом, с методом деконструкции, подменявшим историографию поэтикой и риторикой литературного (фикционального) текста, вызывали в разные периоды критику методологов исторической науки. Выразительно и с позиции специалиста этот критический настрой передает следующая цитата: «Граница между историей и филологией охраняется с одной стороны. Филологи любят ее пересекать, а историки не любят. С точки зрения филолога, между текстом и событием нет принципиальной разницы: во-первых, текст сам по себе является событием, во-вторых, текст вызывает к жизни новые события, в-третьих, о событиях мы знаем только через тексты и, в-четвертых, – это уже идея нового историзма – сами события разворачиваются подобно текстам, имея свою лексику, грамматику и поэтику. Историки со всем этим, скорее всего, не согласятся... События движутся сами по себе, а тексты важны только тем, что они об этом движении говорят» [8. С. 8].

Предпринятый анализ не ставит целью детальное и полное теоретическое осмысление лингвистического поворота в историографии, не предполагает ответ на вопрос о перспективности или противоречиях лингвистического направления в истории. Одновременно анализ не предполагает детальную позицию в теоретических и методологических дискуссиях историков. Сошлюсь на те принципиально значимые суждения, которые существенны для предлагаемого здесь анализа и логики предлагаемой аргументации.

Лингвистический поворот отражает переосмысление методологического подхода к гуманитарной науке в целом, суть которого исчерпывающе выразил Ю.М. Лотман. «В разных областях науки актуализируется одна и та же проблема языка, взаимодействия метаязыка описания и описываемого объекта. Из наивного мира, в котором привычным способом восприятия и обобщения его данных приписывалась достоверность... из мира, в котором ученый рассматривал действительность «с позиции истины», наука перешла в мир относительности. Вопросы языка стали касаться всех наук. По сути дело здесь в следующем: наука исходила из того, что ученый является внешним наблюдателем, смотрит на свой объект извне и поэтому обладает абсолютным «объективным» знанием. Современная наука в разных своих сферах видит ученого внутри описываемого им мира и частью этого мира» [9. С. 386]. И далее Лотман говорит о специфике исторического познания: «Прежде чем установить факты «для себя», исследователь устанавливает факты для того, кто составил документ, подлежащий анализу (область исключенного)... Можно было бы составить интересный перечень «нефактов» для различных эпох... Каждая культурно значимая разновидность текста отбирает свои факты. То, что является фактом для мифа, не будет таковым для хроники, факт пятнадцатой страницы газеты – не всегда факт для первой. Таким образом, с позиции передающего, факт – всегда результат выбора из массы окружающих событий события, имеющего, по его представлениям, значение» [9. С. 337]. И.Т. Касавин, анализируя концепцию Ю.М. Лотмана, пишет о его важном для социальной эпистемологии выводе: «Лотман представляет сильный лингвистический аргумент в пользу социального конструктивизма, согласно которому всякое знание – социальная конструкция, и адекватное истолкование знания предполагает выявление содержащихся в нем актов дея-

тельности, коммуникации и элементов прошлой культуры» [5. С. 40]. По Лотману, методология текстового анализа не тождественна методологии исторического исследования и не подменяет ее. Текст одновременно и средство понимания исторической реальности и препятствие к этому пониманию. Историк должен преодолеть сложность текстовой реальности, выступая в роли дешифровщика целей, намерений, интересов создателя текста. «Факт для него не исходная точка, а результат трудных усилий. Он сам создает факты, стремясь извлечь из текста внетекстовую реальность, из рассказа о событии – событии» [9. С. 336]. В историческом исследовании, по Лотману, происходит реконструкция авторского кода, изымающая факт из контекста. Факт без контекста – релевантный исторический факт.

Следующие системообразующие положения исторической теории позволяют на современном этапе квалифицировать историческое знание как знание научное, т.е. новое, доказательное, преемственное.

В историографии с 1990-х гг. по-новому фокусируются вопросы верификации, принципы доказательности, корректности научного утверждения [10. С. 7]. Профессиональное сообщество историков переживает ситуацию смены, а точнее, сосуществования и противоборства парадигм в смысле общего для сообщества видения своего объекта и познавательных возможностей истории как науки. Одна из парадигм истории как строгой науки стремится к критериям точности, системности и доказательности знания. Другая парадигма видит организующий момент исторического знания в ценностном выборе историка [10. С. 16]. Такое сосуществование подходов создает теоретико-методологическое напряжение. В результате академических дискуссий сформулирована методологическая установка на более тонкий и углубленный анализ взаимодействия между текстом и читателем.

Историк всегда предполагал определенный разрыв, дистанцию смыслов автора источника и его интерпретатора. Проблема заключается, собственно, не в том, что историк не осознает дистанции, но в том, что это потребовало методологической рефлексии относительно исследовательского метода исторической науки. Принципиально значимым стало осознание меры междисциплинарного взаимодействия, ответ на вопрос, чем цели интерпретации исторического текста отличаются от целей интерпретации литературного произведения [7. С. 106]. «В ходе научного анализа источника голоса обоих субъектов – автора и исследователя – должны быть четко различимы... Лишь синтез двух взаимодополняющих подходов к изучению источника дает возможность представить изучаемый источник как явление культуры» [7. С. 127].

Данное утверждение влечет за собой принципиально значимую специфику в работе с историческим прошлым. В исторической науке используется метод репрезентации, суть которого в замещении реального объекта моделью, а именно языковой структурой, текстом, которые выступают в качестве посредника между исследователем и самим объектом познания. Это существенно повышает роль субъектного фактора в историческом познании (подробнее см.: [11–15]). Возможна множественность описания исторического прошлого, которая порождается на двух уровнях. Во-первых, вербализованная реальность, т.е. реальность, сконструированная средствами языка, не то-

жественна самой реальности как последовательности фактов, событий, явлений. И во-вторых, множественность оценок может быть интенционально обусловленной и зависеть от психологических, социальных, религиозных, этнических, идеологических ценностей автора текста.

Текстовый анализ

Вариативность исторической интерпретации может становиться инструментом конструирования «национальной истории», т.е. новой интерпретации исторического нарратива в связи с иной политической идентичностью народа. Столкновение различных национальных политических проектов неизбежно порождает столкновение различных описаний истории / исторических нарративов. Исторический нарратив может получать статус государственной идеологии в условиях латентного политического конфликта.

Примером такого конфликта в XX в. может служить ситуация в Кавказском регионе в отношениях между Арменией и Азербайджаном. В основе конфликта – вопрос о государственной принадлежности территории Нагорного Карабаха. Исторические истоки этнополитического конфликта таковы. Равнинная и нагорная части Карабаха уже в конце VII – начале VI в. до н.э. стали территорией серьезных политических и этнических сдвигов, перегруппировок сил. В 1905–1907 и 1918–1920 гг. Нагорный Карабах дважды становился ареной кровопролитного армяно-азербайджанского конфликта. При советской власти равнинный Карабах входит в состав Азербайджана, Нагорный же Карабах становится ареной сначала споров, а затем вооруженных столкновений между азербайджанцами и армянами. Начиная с 1921 г. Нагорный Карабах вошел в состав Азербайджанской ССР, а в 1923 г. была создана вначале автономная область Нагорного Карабаха, которая в 1937 г. стала Нагорно-Карабахской автономной областью (НКАО). В период распада СССР регион стал зоной конфликта, который перешел в стадию вооруженного столкновения в 1992–1994 гг. В 1992 г. учреждена Минская группа тогда еще Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сопредседателями которой ныне являются США, Россия и Франция.

Показательным примером политизированной интерпретации прошлого является известный специалистам политологам и историкам Указ президента Азербайджана Г. Алиева от 1998 г. о геноциде азербайджанцев. В абсолютном начале текста – его инициальном предложении сформулировано: *Достижение независимости Азербайджанской Республики сделало возможным воссоздание объективной картины исторического прошлого нашего народа.*

В структуру высказывания заложено скрытое суждение: ранее историческое прошлое азербайджанского народа представлялось необъективно. Эта навязанная пресуппозиция поддерживается далее значением языковых единиц, создающих в своей совокупности два противоположных семантических поля: объективная история vs сфальсифицированная история: *Раскрываются засекреченные долгие годы, находящиеся под гнетом запрета истины, выявляется подлинная суть сфальсифицированных в свое время фактов.*

Геноцид против азербайджанского народа... является одной из нераскрытых страниц истории.

В советской печати армянами искажались исторические факты, вводя в заблуждение общественное мнение.

В республике не была дана правильная оценка... на начальном этапе...

Ложная армянская история... возводилась до уровня государственной политики.

Языковые единицы «воссоздать, раскрывать, засекреченные документы, истина, подлинная суть; сфальсифицированное, ложное, искажались» и др. выступают как антитезы, создавая эффект содержательного контраста.

Историческое прошлое в этом тексте предстает не как последовательность событий, но как еще – пока – неизвестное, засекреченное прошлое. Иное описание этого прошлого представляется как ложное и полностью отрицается. Как следствие, событийная последовательность становится вторичной по отношению к той идеологической позиции, которую занимает автор текста. Языковые средства описания, оценки, аргументации направлены в своей совокупности на оппозицию: «объективная история» представлена здесь, в этом тексте, у других же – «сфальсифицированная история». Язык становится не инструментом описания действительности, но инструментом конструирования действительности, средством воздействия на получателя сообщения с целью сформировать, изменить его оценки в интересах отправителя сообщения. Это следует, среди прочего, из того, что в указе 1998 г. «армянская» картина исторического прошлого сопровождается только и именно отрицательной оценкой. Она создается за счет номинаций с негативной семантикой типа *агрессор, кровожадный враг* в отношении армян; за счет номинаций азербайджанской стороны как жертвы, объекта захватнических действий со стороны другого *геноцид азербайджанцев; оккупация азербайджанских земель, оккупация армянскими вооруженными силами 20% нашей территории*; за счет указания на неправомерный статус армянской государственности: *...так называемая «армянская область»; таким искусственным территориальным делением были созданы предпосылки...; авантюристические территориальные притязания армян.*

Вмешательство политики в исторический дискурс связано также с привнесением идеологической оценочности в историческую хронологию. Связываются не события, но их интерпретация. В анализируемом тексте создается такая содержательно-смысловая и формальная связность структуры, при которой разные по своим причинам события из прошлого выстраиваются в одну логическую и тематическую цепочку. События из прошлого становятся как бы эталоном для оценки настоящего. В тексте созданы определенные семантические и композиционные доминанты, т.е. такие компоненты текстового целого, которые определяют восприятие и интерпретацию всех прочих компонентов текстовой структуры. Так, указ 1998 г. композиционно членится на микротексты по внешнему хронологическому принципу от одного этапа прошлого к другому. Каждая из этих структурных составляющих прагматически фокусирует ключевой тезис «Азербайджан – жертва, и это состояние непрерывно продолжается от одного исторического этапа к другому». Приведем фрагментарно границы выделяемых тематических разделов (нумерация моя. – В. Ч.).

1. С подписанием в 1813 и 1828 гг. Гюлистанского и Туркманчайского договоров началось расчленение азербайджанского народа <...>.

2. Воодушевленные иллюзиями о создании «Великой Армении» армянские захватчики в 1905–1907 годах провели ряд широкомасштабных кровавых акций против азербайджанцев. ...Были разрушены и стерты с лица земли сотни населенных пунктов <...>.

3. Используя в своих целях ситуацию после Первой мировой войны, Февральской революции и октябрьского переворота 1917 г. в России, армяне стали добиваться реализации своих планов под знаменем большевизма <...>. С марта 1918 г. приступили к осуществлению преступного плана. Совершенные армянами в те дни преступления навсегда запечатлелись в памяти азербайджанского народа <...>.

4. Армяне в своих гнусных целях в 1920 г. объявили Зангезур и ряд земель Азербайджана территорией Армянской ССР <...>.

5. В феврале 1992 г. армяне учинили невиданную расправу над населением города Ходжалы... Во время оккупации армянскими вооруженными силами 20 % нашей территории пали жертвами и стали инвалидами тысячи наших сограждан.

6. Все трагедии Азербайджана, произошедшие в XIX–XX веках, сопровождались захватом земель, являлись различными этапами осуществляемой армянами против азербайджанцев политики геноцида...

В ознаменование всех трагедий геноцида, совершенных против азербайджанского народа, постановляю: объявить 31 марта Днем геноцида азербайджанцев <...>.

Обращает на себя внимание сквозная хронологическая прогрессия: 1813 г. и 1828–1905–1907–1917–1918–1920–1992 гг. Она объединяет в единое целое различные по своей природе исторические события. Хронология задает очень широким штрихом рамки исторического прошлого. При этом хронологические маркеры не нацелены на точное объективное указание на исторический контекст события. Здесь это в первую очередь тактика манипулирования, отсылающая адресата к прошлому, но функционально создающая квазиисторическое описание.

Конец текста содержит ясно выраженные сигналы, заставляющие читателя объединить данную в тексте последовательность событий и их оценку. Создана своего рода рамочная конструкция, отсекающая потенциальную множественность интерпретаций. Исторический анализ подменен готовой оценкой. А альтернативные факты, вводимые в историческое описание, не расширяют объяснительный потенциал исторической науки, но отсекают от анализа иные возможные точки зрения. Возникший образ прошлого – одномерный и тотальный. Подобная практика оперирования хронологическими рядами, делающая прошлое актуальным настоящим, характерна для специфического типа политического мышления. Эта практика позволяет политикам распространять технологический подход на будущее, настоящее и прошлое – «у нас всегда остается шанс вернуть «неправильную» ситуацию к моменту, когда было «правильно» [16. С. 135].

Заключение

Лингвистический анализ не подменяет и не заменяет специальный анализ историков. Методологические возможности лингвистической интерпретации исторических текстов заключаются в том, что представляются и научно описываются способы модусы лингвистического конструирования реальности: «мир в прошлом» соотносится с миром «в настоящем» и в желаемом будущем. Это значит, что лингвистический анализ способен создать особый ракурс рассмотрения проблемы верификации и удостоверения исторического знания, а именно поставить в фокус внимания фундаментальный для гуманитарного знания вопрос о том, насколько реальность заменяется ее описанием.

Лингвистический аппарат и инструментарий функционально и когнитивно ориентированной науке о языке позволяет реконструировать не только доминирующую коммуникативно-прагматическую стратегию автора текста, но и расчленить ее на операциональные прагматические установки, обеспечивающие тонкий глубинный анализ подлинного смысла высказывания / текста. Основываясь на формах вербализации, исследователь может делать вывод об истинных, а не декларируемых интенциях субъекта коммуникативной деятельности. И в таком аспекте лингвистическая интерпретация становится дополнительным инструментом наряду со специальными методами и принципами историографии, позволяющим квалифицировать некий текст как историческое знание, т.е. научное, доказательное знание, либо как субъективно-оценочное, квазинаучное, квазиисторическое высказывание, в котором цели историка подменяются иными целями. В таком методологическом и операциональном соединении видится действительное значение междисциплинарного вектора современной гуманитаристики.

Политизированные тексты об истории показывают, что историческая действительность конструируется в зависимости от интенции субъекта описания (автора текста) и – шире – субъекта власти. В зависимости от политической позиции автор / субъект описания истории выбирает соответствующий собственным ценностям образ исторической реальности – реальности, какой она должна была бы быть в его политической картине мира. Иное оказывается недействительным, а значит, неисторическим.

В лингвистическом конструировании прошлого опасно безальтернативное представление для широкой общественности, не обладающей специальными знаниями в области истории. Именно неспециалист, массовый получатель информации выступает как адресат политического воздействия. Показателем ненаучности исторического описания следует считать такое языковое формулирование, при котором невозможно разграничить факты и их оценку. Языковые средства способны создавать и усиливать впечатление о конфликте как существующем всегда и неизбежно. Языковыми средствами можно провоцировать и пролонгировать конфликт. Лингвистическая методика дает возможность научного объяснения и противостояния конфликтогенности и, среди прочего, фальсификации истории.

Литература

1. Молодыхенко Е.Н. Об операционализации категории «ценность» в текстовом и дискурсивном анализе: к вопросу о лингвистической аксиологии // Вестн. Моск. город. пед. ун-та. 2015. №3. С. 90–97.
2. Чернявская В.Е., Молодыхенко Е.Н. История в дискурсе политики. Лингвистический обзор «своих» и «чужих». М.: УРСС Либроком, 2014.
3. Чернявская В.Е., Молодыхенко Е.Н. История в политике: методология и методика дискурсивного анализа // Язык. Текст. Дискурс. 2014. Вып. 12, ч. 1. С. 43–64.
4. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. М.: УРСС: Либроком, 2013.
5. Касавин И.Т. Язык и сознание как элементы социокода. Истоки современного дискурсивного анализа // Язык и сознание: аналитические и социально-эпистемологические контексты. М.: Альфа-М, 2013. С. 24–60.
6. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
7. Медушевская О.М. Теория, история и метод источниковедения // Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцев М.Ф. Источниковедение: теория, история, метод. Источники российской истории. М., 2000. С. 19–170.
8. Эткнд А.М. Новый историзм, русская версия // Новое литературное обозрение, 2001, № 47. С. 4–12.
9. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2001.
10. Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. 360 с.
11. Iggers G. Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Post-modern Challenge. GeorgWesleyan, 2005. 208 p.
12. Уайт Х. Метаистория / пер. с англ. Екатеринбург, 2002.
13. Küttler W., Rüsen J., Schulz E. (Eds.) Geschichtsdiskurs. Bd. 1: Grundlagen und Methoden der Historiographieggeschichte. Frankfurt/M., 1993.
14. Меггил А. Историческая эпистемология. М.: Канон+, 2007.
15. Медушевская О.М. Теория исторического познания. СПб.: Университетская книга, 2010.
16. Золян С.Т. Описание регионального конфликта как методологическая проблема // Полис (Политические исследования). 1994. № 2.

HISTORICAL PAST AS A TEXTUAL REALITY: LINGUISTIC APPROACH IN HISTORICAL NARRATIVE AND ITS METHODOLOGICAL IMPLEMENTATION

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 3 (41). 76–87. DOI: 10.17223/19986645/41/7

Chernyavskaya Valeria E., Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: tcherniavskaia@rambler.ru

Keywords: verbalization of the past, text, linguistic turn in history, historical narrative.

The article examines the linguistic turn and its impact on the relationship between language and history which began to be significant in the humanities in the early 20th century. The linguistic turn has challenged the traditional tenets of historical objectivity which assume that there is a real past which can be described as it actually happened. Instead, proponents of the linguistic turn (H. White, G. Iggers, R. Barthes, F. Ankersmit, J. Derrida) argue that the past does not exist outside our textual representations of it. Textual representations cannot be separated from the ideological and axiological values of historians – text authors. These are profound changes in the ideas about the nature of history and historiography.

The paper focuses on a contemporary interdisciplinary approach in historiography moving away from postmodernism and deconstructivism in historical narrative towards balanced approaches that give greater attention to socio-cultural factors in the interpretation of the past. The key presumption is that history is a mode of knowing the reality due to the objective facts and its active anthropocentred

interpretation. Historical representations are not static, they reflect pluralities of meanings. They are flexible and more than prone to distortion when values come into play. A clash of different political perspectives is a clash of different historical descriptions. And in this clash a power-wielding social agent has the power to reinterpret the history that will fit their political narrative with other interpretations outlawed and rendered unhistorical.

The aim of the research is to look into specific linguistic principles of analyzing “the verbalized past”. Thus, the study of the historical narrative should be historiographical as well as linguistic. It is a new approach in a complex multidisciplinary study revealing the true nature of the historical knowledge as a scientific one.

Linguistic interpretation of the verbalized past based on pragmalinguistic analysis and discourse analysis reveals ideological interests in rhetorical constructions in a historical description. Texts reflecting the discourse practice of state leaders in the geopolitical situation in the Caucasus between Armenia and Azerbaijan over Nagorny Karabakh were looked into.

Methods used: linguo-pragmatic text analysis, cognitive discourse analysis.

Findings and Results: it was found that the political narrative can substitute the historical description of the reality. The linguistic strategies and means act as a tool of reconstruction and reinterpretation of the past in political perspectives.

References

1. Molodychenko, E.N. (2015) The Concept of Value in Textual and Discourse Analysis: towards Linguistic Axiology. *Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta*. 3. pp. 90–97. (In Russian).
2. Chernyavskaya, V.E. & Molodychenko, E.N. (2014) *Istoriya v diskurse politiki. Lingvisticheskiy obraz “svoikh” i “chuzhikh”* [History in political discourse. Linguistic image of “us” and “them”]. Moscow: URSS Librokom.
3. Chernyavskaya, V.E. & Molodychenko, E.N. (2014) *Istoriya v politike: metodologiya i metodika diskursivnogo analiza* [History in politics: methodology and methods of discourse analysis]. *Yazyk. Tekst. Diskurs*. 12-1. pp. 43–64.
4. Chernyavskaya, V.E. (2013) *Lingvistika teksta. Lingvistika diskursa* [Text Linguistics. Linguistics of discourse]. Moscow: URSS, Librokom.
5. Kasavin, I.T. (2013) *Yazyk i soznanie kak elementy sotsiokoda. Istoki sovremennogo diskursnogo analiza* [Language and consciousness as elements of the social code. The origins of modern discourse analysis]. In: Kasavin, I.T. (ed.) *Yazyk i soznanie: analiticheskie i sotsial'no-epistemologicheskie konteksty* [Language and consciousness: analytical and socio-epistemological contexts]. Moscow: Al'fa-M.
6. Bakhtin, M.M. (1986) *Estetika slovesnogo tvorchestva* [Aesthetics of verbal creativity]. Moscow: Iskusstvo.
7. Medushevskaya, O.M. (2000) *Teoriya, istoriya i metod istochnikovedeniya* [The theory, history and technique of source studies]. In: Danilevskiy, I.N. et al. *Istochnikovedenie: teoriya, istoriya, metod. Istochniki rossiyskoy istorii* [Source studies: Theory, History, method. Sources of Russian history]. Moscow: RSUH.
8. Etkind, A.M. (2001) *Novyy istorizm, russkaya versiya* [New Historicism, Russian version]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 47. pp. 4–12.
9. Lotman, Yu.M. (2001) *Semiosfera* [Semiosphere]. St. Petersburg: Iskusstvo-SPb.
10. Medushevskaya, O.M. (2008) *Teoriya i metodologiya kognitivnoy istorii* [Theory and methodology of cognitive history]. Moscow: RSUH.
11. Iggers, G. (2005) *Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge*. Georg Wesleyan.
12. White, H. (2002) *Metaistoriya* [Metahistory]. Translated from English. Ekaterinburg: Ural State University.

13. Küttler, W., Rüsen, J. & Schulín, E. (eds) (1993) *Geschichtsdiskurs* [Historical discourse]. Vol. 1. Frankfurt.
14. Meggil, A. (2007) *Istoricheskaya epistemologiya* [Historical Epistemology]. Translated from English. Moscow: Kanon+.
15. Medushevskaya, O.M. (2010) *Teoriya istoricheskogo poznaniya* [The theory of historical cognition]. St. Petersburg: Universitetskaya kniga.
16. Zolyan, S.T. (1994) *Opisanie regional'nogo konflikta kak metodologicheskaya problema* [Description of a regional conflict as a methodological problem]. *Polis*. 2.

УДК 81.1

DOI: 10.17223/19986645/41/8

И.А. Якоба

**МОДУСНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
СОБЫТИЙ-АТТРАКТОРОВ МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА
(НА ПРИМЕРЕ СИТУАЦИИ КРУШЕНИЯ САМОЛЁТА MH17
MALAYSIA AIRLINES)**

В статье представлен дискурсивный анализ примеров модализации дискурса, выявляющий лингвокогнитивные механизмы и языковые средства воздействия медийного дискурса. В качестве примера рассмотрена ситуация крушения рейса MH17 Malaysia Airlines (2014 г.). Деконструированы дискурсивные интерпретации западных СМИ и СМИ России по предложенной ситуации крушения самолета. Примеры показывают разнонаправленность модализации интерпретации ситуации в дискурсе конфликта. Выявлено преобладание использования модальных операторов, способствующих модусному конструированию действительности.

Ключевые слова: модусная ориентированность, модализация, событие-аттрактор, крушение рейса MH17 Malaysia Airlines, фокусирование, фреймирование.

Модусная ориентированность медийного дискурса фокусирует взгляд на мир, определяет смысл информирования, формирует ценностное содержание [1. С. 53]. Отбираемая для публикации фактуальная сторона сообщения определяется модусом установочного целеполагания (тем, что необходимо, возможно или желательно показать). Следовательно, в смысловой структуре медиатекста отражается не просто тот или иной фрагмент мира, но опыт его восприятия и осмысления, что позволяет «установить, с каким видением мира мы столкнулись в данном тексте, что и по какой причине привлекло внимание человека, какие именно фрагменты знания и оценок в нем закреплены и т.д.» [2. С. 78]. Транспонируя эти выводы на интенциональность автора-журналиста, Л.Р. Дускаева и Т.И. Краснова рассматривают «его речь (текст) как многослойное иерархическое образование, в котором взаимодействуют дескриптивная составляющая (тот или иной фрагмент действительности) и модусная составляющая, которая включает, в свою очередь, валюативную, определяющую общественную ценность дескриптивного содержания медиатекстов, и нормативно-побудительную, формируемую на основе определения ценности дескриптивного. Важно подчеркнуть при этом, что модусная ориентированность, которая фокусирует взгляд на мир, оказывается важнейшей в смысловой организации медиатекста, поскольку определяет смысл информирования, формируя специфическое ценностное содержание медиатекста» [1. С. 53].

Целью данной статьи является выявление модальных операторов и лежащих в их основе лингвокогнитивных механизмов дискурса в конструировании разнонаправленных интерпретаций на примере ситуации крушения рейса MH17 Malaysia Airlines (17.07.2014 г., Украина) в западных СМИ и в России. В этой связи целесообразно полагать, что в результате модализации дискурса

появляется возможность разнопланово интерпретировать и конструировать варианты последствий резонансных общественных событий, обсуждаемых мировой общественностью вопросов. Под модализацией понимается процесс передачи интенционального состояния, репрезентации своих убеждений, мотивов, оценок, стремление «заразить» ими адресата так, чтобы оно соответствовало желаниям говорящего. Таким образом, ситуация-аттрактор – крушение рейса MH17 Malaysia Airlines – рассматривается с позиции модализации СМИ России, США и Европы на основе новостных статей ведущих газет, имеющих «зеркала» в Интернете.

Модус рассматривается как «обозначение свойства предмета, присущего ему в некоторых состояниях, в отличие от атрибута» [3. С. 290]. «Модусы могут быть уподоблены «артериям», пронизывающим словесную ткань. <...> Выступая в своей прямой функции операторов, модусы являют свойства, признаки, состояния вещи, раскрывая её сущность в континууме многочисленных форм проявления» [4. С. 26]. И.Г. Ульянова выделяет модусы эмоций, мыслей, ассоциативные, открыто заявленные, различной тональности, различных форм и уровней оценки: одобрение, осуждение, признание, упрёк, поощрение, неприятие и т.д. [4. С. 27]. С помощью инструментов модусов, необходимых в процессе модализации, – модусных операторов реализуется гносеологическая и аксиологическая модализация. В целом категория модальности позиционируется как одна из наиболее «спорных, важных» (В.Г. Адмони, 1968), «многоплановых» (Г.А. Золотова, 1973) категорий лингвистики, выражающая отношение говорящего к совершаемому действию, трактовка его как действия реального или нереального, предполагаемого или потенциально возможного [5. С. 145].

В современном постмодернистском интерпретационном обществе, насыщенном зачастую неоднозначными медиасобытиями, непрерывно происходит борьба дискурсов за наделение их смыслом [6]. Каждое новое событие, особенно псевдособытие (целенаправленно сконструированное адресантом), открыто для множества интерпретаций, тем более если оно представляет собой событие-знак или событие-аттрактор. Событие-аттрактор понимается как структура дискурса, носитель доминантного смысла говорящего, способное по своему семиотическому потенциалу привлечь внимание и интерес адресата / интерпретатора и в этом качестве вызвать переориентацию процессов означивания, в том числе переосмысление адресатом референциальной ситуации в русле предъявляемой дискурсивной позиции [7].

Деконструкция множественности интерпретаций событий СМИ позволяет выявить некоторые лингвокогнитивные механизмы мышления и проследить направление интенциональности адресанта. Дискурс при описании событий предоставляет «репертуар интерпретации», которым и пользуются адресанты и адресаты в процессе толкования события-знака [7. С. 169]. Конструирование дискурса требует выстраивания взаимосвязей между событиями, локализованными в данной социальной, социально-политической сфере в текущий период, задействует совокупность наличествующих текстов СМИ и социальных медиа. По мнению Н.Д. Арутюновой, события образуют особую семантическую сферу, представляют собой «метаязыковые классификаторы с зыбкими границами» [9. С. 7]. В целом когнитивное восприятие событий об-

ладает сложной структурой, включающей локализацию события в определенную социальную и человеческую сферу и идентификацию этого события, отделение его от других и поиск взаимосвязи с другими событиями, локализованными в той же сфере. Процесс выявления эксплицитных и имплицитных взаимосвязей событий в той или иной жизненной сфере входит в поиск и конструирование смысла данного события [9. С. 177].

Представляется важным проследить проявление модусной ориентированности при конструировании и интерпретации событий. Согласимся с В.Е. Чернявской, что лингвистический, дискурсивный анализ способен создать особый ракурс рассмотрения проблемы, поставить в фокус внимания фундаментальный для гуманитарного знания вопрос о том, насколько реальность заменяется ее описанием [10. С. 182]. Среди наиболее употребительных средств модальности, воздействующих на восприятие, на наш взгляд, выделяются такие маркеры субъективно-оценочных состояний и отношений, модальные операторы, как эмоционально-оценочная лексика с экспрессивно-негативной коннотацией, конверсивы, дисфемизмы, различные усилительные и выделительные частицы, пояснительные и вводные слова, слова в переносном, или метафорическом значении, образные выражения, модальные глаголы, конструкции пропозициональной установки, вводно-модальные выражения, логическое ударение.

Итак, рассмотрим примеры, как происходит управление процессом интерпретации событийных новостей, распространяемые СМИ США, Европы и России, по вопросу крушения рейса MH17 Malaysia Airlines (17.07.2014 г.) в аспекте модусной ориентированности.

1. *"The Washington Post", USA: Before there is any further discussion of Malaysia Airlines Flight 17, it's important that one point be made absolutely clear: This plane crash is a result of the Russian invasion of eastern Ukraine, an operation deliberately designed to create legal, political and military chaos. Without this chaos, a surface-to-air missile would not have been fired at a passenger plane. If it has done nothing else, the crash of Flight 17 has just put an end to the "it's not a real war" fairy tale, both for the Russians and for the West. Tragically, this unconventional non-war war just killed 298 people, mostly Europeans. We can't pretend it isn't happening any longer or that it doesn't affect anyone outside of Donetsk. The Russians can't pretend either* [URL: http://www.washingtonpost.com/opinions/anne-applebaum-the-end-of-the-russian-fairy-tale/2014/07/18/3e42715a-0eab-11e4-b8e5-d0de80767fc2_story.html]. Использование таких модальных операторов, как модальные глаголы (англ. *would not have been fired, can't pretend*), конструкций пропозициональной установки (англ. *This plane crash is a result of the Russian invasion of eastern Ukraine*), вводно-модальных выражений (англ. *it's important that one point be made absolutely clear*), эмоционально-оценочной лексики с экспрессивно-негативной коннотацией (англ. *an operation deliberately designed*), конверсивов (англ. *this chaos, this unconventional non-war war*), дисфемизмов (англ. *"it's not a real war"*) и других маркеров субъективно-оценочных состояний и отношений, создает эмоционально нагруженный текст, настраивает адресата на определенное видение ситуации с позиции обвинения России в произошедшей трагедии, не дожидаясь официальных результатов экспертизы комиссии. Так, пресуппозиция

«вторжение» (англ. *invasion*) настраивает потенциального адресата на принятие как факта акта вторжения, которое было сконструировано адресантом и не соответствует реальному положению дел: *a result of the Russian invasion of eastern Ukraine*. В этом же предложении далее идет фрагмент, который является субъективным предположением, но логически и грамматически выстроен так, что некритически мыслящий адресат может воспринять как реальное последствие действий России по отношению к Украине, что тоже не соответствует действительности: *to create legal, political and military chaos*. В основе данного высказывания лежит лингвокогнитивный механизм *имажинеринг-драматизация*, способствующий созданию отрицательного имиджа, нагнетанию негативных эмоций по отношению к какому-либо факту, событию, человеку, коллективу, государству, народу и т.д. (выражается использованием интенсификаторов, увеличивающих экспрессивность [11. С. 272]. Использование сослагательного наклонения невыполненного условия в прошлом: *...Without this chaos...would not have been fired...* уже вводит лексему «chaos» в пресуппозицию и дополнительно негативно интенсифицирует отношение адресанта к действию объекта. Механизм единения используется для присоединения читателей к мнению журналистов, чтобы вывести пресуппозицию на место интенциональности высказывания, сместить акцент и уверить читателя, что он также подвергается опасности: *We can't pretend it isn't happening any longer or that it doesn't affect anyone outside of Donetsk*. Такая модальная нагрузка, наслоение различных лексико-грамматических и синтаксических средств в одном абзаце является манипулятивным приемом, способствует потере рационального контроля над информационным потоком некритически мыслящего адресата, переориентирует его видение ситуации, заставляет поверить в конструируемый сценарий конфликта, перефреймирует отношение к событию.

2. *"Euronews", France: A metal fragment found at the crash site of Malaysia Airlines flight MH17 appears to match a BUK missile. The new revelation from Dutch broadcaster RTL supports the theory that the plane was downed by pro-Russian rebels in eastern Ukraine. As part of RTL's investigation international defence and forensics experts testing the shrapnel concluded that it matched the explosive charge of the Russian-made BUK anti-aircraft missile. The Dutch safety board, which is also investigating the cause of the crash said that their probe was in full progress and focuses on many more sources than just the shrapnel. The downing of MH17 was a turning point in the conflict in Ukraine. Kyiv and its Western supporters blamed the separatists, leading to stiffer sanctions against rebel leaders and Moscow* [URL: <http://www.euronews.com/2015/03/19/dutch-media-claims-proof-mh17-downed-by-buk-missile/>]. Инфинитивный оборот к подлежащему в первом предложении рассматриваемого фрагмента сообщения, бессубъектно вводит предположение, выдаваемое за действительность: *appears to match a BUK missile*. В следующем предложении вводится новое предположение, основанное на какой-то, неизвестно кем выдвинутой, теории: *Dutch broadcaster RTL supports the theory*. Таким образом, следующее предположение уже свободно фигурирует в прошедшем времени и, вырванное из контекста, может восприняться как самостоятельное, самодостаточное утверждение: *the plane was downed by pro-*

Russian rebels. Само наименование жителей Донецкой области, защищающих свою родную землю, пророссийскими мятежниками, повстанцами (англ. *pro-Russian rebels*) объективно вызывает массу неоднозначных мнений и вопросов и может быть оспорено, но вводится завуалированно в предложение как пресуппозиция, имеющая право быть и считаться истиной. Конверсив «новое раскрытие, разоблачение» (англ. *the new revelation*) указывает на предвзятое негативно-окрашенное модализованное отношение к событию, принятие на веру той позиции, которая навязывается массмедиа. Косвенному указанию на вину России в данном происшествии способствует ссылка на мнение экспертов по поводу производства орудия, но не указывается, что оружие, произведенное в России и бывшем СССР, использовалось и используется во многих соседних странах, ранее входивших в СССР, в том числе и Украиной: *...experts testing the shrapnel concluded that it matched the explosive charge of the Russian-made BUK anti-aircraft missile*. Далее делается вывод, не подкрепленный логически, но эмоционально-оценочный, что это падение самолета стало причиной ухудшения, поворотной точкой (англ. *a turning point*) и без того конфликтной ситуации на Украине: *The downing of MH17 was a turning point in the conflict in Ukraine*. Последствиями также названы более жесткие санкции, примененные против повстанцев и Москвы: *Kyiv and its Western supporters blamed the separatists, leading to stiffer sanctions against rebel leaders and Moscow*. Необходимо заметить, что тех, кто поддерживает Киев в конфликте, называют сторонниками (англ. *supporters*), а противников – повстанцами, мятежниками (англ. *rebels*), что указывает на то, чью сторону принимают авторы статьи в частности и руководство газеты и страны в целом. Конверсивизация дискурса как прием, который позволяет расставить оценочные ударения, представить противоположную интерпретацию события, косвенно уточнив, кто «свои», а кто «чужие», дает представление о предпочтениях и модализации адресантов, проясняет отношение говорящего к содержанию высказывания. Происходит фреймирование ситуации, задействуется лингвокогнитивный механизм позиционирования, в котором оппозиция устанавливается по принципу: мы хорошие, они плохие. Акценты технологично расставляются, и адресантам не предлагается выбора точки зрения на событие, а предлагается следовать за адресантом, принимая готовые решения.

3. "РИА Новости", Москва: Минобороны РФ зафиксировало работу украинской РЛС в день крушения малайзийского самолета и вычислило населенные пункты Украины, откуда могли сбить лайнер, сообщила пресс-служба ведомства. Как уточнило ведомство, маршрут самолета и место его падения попадают в зону поражения двух украинских батарей зенитного ракетного комплекса большой дальности и трех батарей ЗРК средней дальности "Бук-М1". "Российскими радиотехническими средствами в течение 17 июля фиксировалась работа радиолокационной станции "Купол" батареи "Бук-М1", дислоцированной в районе населенного пункта Стыла (30 километров южнее Донецка)", — говорится в сообщении. "При этом технические особенности "Бук-М1" позволяют осуществлять обмен информацией о воздушных целях между батареями одного дивизиона. Таким образом, пуск ракет также мог быть осуществлен со всех батарей,

дислоцированных в населенном пункте Авдеевка (8 километров севернее Донецка) или Грузско-Зорянское (25 километров восточнее Донецка)", — указывает Минобороны России [URL: <http://ria.ru/world/20140718/1016541309.html>]. Третий фрагмент для анализа представляет иную точку зрения на событие. Адресант старается избегать негативной оценочности и субъективности, используя нейтральную лексику. Слова с экспрессивной и оценочной коннотацией не выявлены. Использование модальных глаголов для выражения предположения (*могли сбить, мог быть осуществлен*) позволяет предложить возможные варианты причин падения самолета без указания предположительных виновников. Лексико-синтаксические хеджи (*как уточнило ведомство, при этом*), ослабляют основной фокус фрагмента, который не называет однозначно возможную причину аварии, а только перечисляет варианты: (1) *Как уточнило ведомство, маршрут самолета и место его падения попадают в зону поражения двух украинских батарей.* (2) *"Российскими радиотехническими средствами в течение 17 июля фиксировалась работа радиолокационной станции.* (3) *При этом пуск ракет также мог быть осуществлен со всех батарей...* Использование страдательного залога в представленных выше предложениях обусловлено смещением фокуса внимания на объект, агенс отодвигается на второй план. Выводы, к которым приходит адресант, допускают множественность интерпретаций, конкретный виновник не называется до решения экспертной комиссии, оценочность сведена к нулю: *Таким образом, пуск ракет также мог быть осуществлен со всех батарей, дислоцированных в населенном пункте Авдеевка.*

В результате проведенного анализа выявлены неограниченные лингвистические возможности выражения модализации. Стремление адресанта передать заданное интенциональное состояние адресату возможно реализовать, используя определенные лексико-синтаксические, грамматические, стилистические конструкции, дискурсивные стратегии и лингвокогнитивные механизмы. Выявлено, что присутствующая в примерах модусная ориентированность фокусирует взгляд на мир с определенной позиции, формирует определенное ценностное содержание, определяет смысл сообщения, отправленного адресату. Модальные операторы позволяют управлять модусной ориентированностью адресатов, воздействуя на ценности через оценку и модализацию дискурса.

Литература

1. Дускаева Л.Р., Краснова Т.И. Интенциональность и модализация медиатекста в контексте культуры (опыт обобщения) // Политическая лингвистика. 2014. № 3. С. 51–58.
2. Кубрякова Е.С. О тексте и критериях его определения // Текст. Структура и семантика. М., 2001. Т. 1. С. 72–81.
3. Гурова Н.В. Модальность – языковая универсалия – охватывает всю ткань речи // Материалы V Междунар. конгресса «Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру». Пятигорск, 2007. С. 11–13.
4. Ульянова И.Г. Модальность газетного дискурса: в рамках преподавания ПКРО на старших курсах. (Материалы доклада) // Университетские чтения-2012: материалы науч.-метод. чтений ПГЛУ. Пятигорск, 2012. С. 23–27.
5. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. М.: Наука, 1988. 242 с.

6. Якоба И.А., Лесниковская Е.В. Власть дискурса при интерпретации событий-аттракторов медийного пространства // Вестн. ИрГТУ. 2014. № 10. С. 352–359. URL: http://journals.istu.edu/vestnik_irgtu/?ru/journals/2014/10

7. Серебренникова Е.Ф. Многозначность в аспекте аттрактивности знака в коммуникации // Многозначность языковых единиц в когнитивном аспекте / отв. ред. Л.М. Ковалева; ред. С.Ю. Богданова, Т.И. Семенова. Иркутск: ИГЛУ, 2013. С. 158–168.

8. Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ: Теория и метод / пер. с англ. Харьков: Гуманит. центр, 2004. 336 с.

9. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988. 341 с.

10. Чернявская В.Е., Молодыхенко Е.Н. История в дискурсе политики: лингвистический образ «своих» и «чужих». М.: ЛЕНАНД, 2014. 200 с.

11. Якоба И.А., Тимофеев С.С. К. Маркс как эффективный дискурсолог XX века: лингво-когнитивные механизмы «умной» настройки дискурса // Вестн. БГТУ им. Шухова. 2015. № 1 (январь). С. 270–274. URL: http://vestnik_rus.bstu.ru/arhiv

Источники примеров

1. *The Malaysia Airlines crash is the end of Russia's fairy tale* // The Washington Post [Электронный ресурс]. URL: http://www.washingtonpost.com/opinions/anne-applebaum-the-end-of-the-russian-fairy-tale/2014/07/18/3e42715a-0eab-11e4-b8e5-d0de80767fc2_story.html

2. *Dutch media claims proof MH17 downed by BUK missile* // Euronews [Электронный ресурс]. URL: <http://www.euronews.com/2015/03/19/dutch-media-claims-proof-mh17-downed-by-buk-missile/>

3. *Минобороны РФ вычислило, откуда могли сбить Boeing 777* // РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: <http://ria.ru/world/20140718/1016541309.html>

MODUS ORIENTATION IN CASES OF INTERPRETATION OF MEDIA DISCOURSE EVENTS-ATTRACTORS (A CASE STUDY OF MALAYSIA AIRLINES FLIGHT MH17 CRASH)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 3 (41). 88–95. DOI: 10.17223/19986645/41/8

Iakoba Irina A., Irkutsk State Technical University (Irkutsk, Russian Federation). E-mail: irina_yakoba@mail.ru

Keywords: modus orientation, modalisation, event-attractor, crash of Flight MH17 Malaysia Airlines, focusing, framing.

The paper presents discourse analysis of discourse modalization examples revealing linguo-cognitive mechanisms and other language means of impact in the media discourse. It is advisable to assume that the ability to diversely interpret and construct alternative consequences of prominent public events, issues discussed by the world community is based on the discourse modalization. This phenomenon is understood as a process of intentional state transference, representation of the beliefs, motives, evaluations, aspiration for “infecting” the addressee so as corresponding with the wishes of the speaker. The research of the discourse modalization reveals hidden, but important factors of the media discourse realization in order to manage the process of interpreting the statements by the recipient. As an example, a situation of the crash of Malaysia Airlines Flight MH17 (2014) is analyzed. The discourse interpretations of the Western and Russian media on the proposed situation are deconstructed. For the analysis of the media discourse fragments from the modalization position, the discourse interpretations of the event based on news reports of the leading newspapers of Russia, the USA and Europe posted in the Internet are deconstructed. The examples show the different directions of the situation interpretation modalization in the discourse of conflict, the prevalence of the use of modal operators contributing to the modus reality construction. The emotionally loaded text creation, a certain vision of the situation setting of the addressee become possible due to the use of modal operators such as modal verbs, propositional attitude constructions, parenthetical-modal expressions, emotional and evaluative vocabulary with expressive negative connotation, conversives, dysphemism and other markers of subjectively evaluated conditions and relations. Modal load intensification of the text, mix of various lexical, grammatical and syntactical means are manipulative techniques that contribute to the loss of a rational control over the information flow of uncritically thinking addressees,

redirect their vision of the situation, force to believe in the constructed scenario of the conflict, reframe the attitude to the event. Thus, when framing the situation the linguo-cognitive mechanism of positioning is activated. The opposition is established on the principle that “we are good, they are bad”. The emphasis is placed technologically, and no choice of viewpoints on the event is offered to addressees, but they are invited to follow the addresser, accepting ready-made solutions. The mechanism of imagining-dramatization, expressed by the using of intensifiers that increase expressiveness, helps to create a negative image, aggravating negative emotions to a fact, event, person, team, state, people, etc. It was found in the examples that the modus orientation focuses on the world from a certain position, generates a certain value content, determines the meaning of a message sent to the addressee. Consequently, modal operators help control the modus orientation of addressees, affecting the values through evaluation and discourse modalization.

References

1. Duskaeva, L.R. & Krasnova, T.I. (2014) Intentionality and moralization of mediatext in the context of culture (the experience of the generalization). *Politicheskaya lingvistika – Political Linguistics*. 3. pp. 51–58. (In Russian).
2. Kubryakova, E.S. (2001) O tekste i kriteriyakh ego opredeleniya [About text and criteria for its definition]. In: Dibrova, E.I. (ed.) *Tekst. Struktura i semantika* [Text. The structure and semantics]. Vol. 1. Moscow: SportAkademPress.
3. Gurova, N.V. (2007) [Modality – a linguistic universal – covers the entire fabric of speech]. *Mir na Severnom Kavkaze cherez yazyki, obrazovanie, kul'turu* [World of the North Caucasus through languages, education and culture]. Proceedings of the V International Congress. Pyatigorsk: Pyatigorsk State Linguistic University. pp. 11–13. (In Russian).
4. Ul'yanova, I.G. (2012) [Modality of newspaper discourse: in the framework of teaching speech to senior undergraduates]. *Universitetskie chteniya–2012* [University Readings–2012]. Pyatigorsk: Pyatigorsk State Linguistic University. pp. 23–27. (In Russian).
5. Serebrennikov, B.A. (1988) *Rol' chelovecheskogo faktora v yazyke: Yazyk i myshlenie* [The role of the human factor in language: Language and thought]. Moscow: Nauka.
6. Iakoba, I.A. & Lesnikovskaya, E.V. (2014) Discourse power in media space events-attractors interpretation. *Vestnik IrGTU – Bulletin of Irkutsk State Technical University*. 10. pp. 352–359. [Online]. Available from: http://journals.istu.edu/vestnik_irgtu/?ru/journals/2014/10. (In Russian).
7. Serebrennikova, E.F. (2013) *Mnogoznachnost' v aspekte attraktivnosti znaka v kommunikatsii* [Ambiguity in the aspect of the sign attractiveness in communication]. In: Kovaleva, L.M. (ed.) *Mnogoznachnost' yazykovykh edinit v kognitivnom aspekte* [The ambiguity of language units in the cognitive aspect]. Irkutsk: Irkutsk State Linguistic University.
8. Jorgensen, M.V. & Phillips, L.J. (2008) *Diskurs-analiz. Teoriya i metod* [Discourse analysis. Theory and Method]. Translated from English by A.A. Kiseleva. Kharkov: Gumanitarnyy tsentr.
9. Arutyunova, N.D. (1988) *Tipy yazykovykh znacheniy: Otsenka. Sobytie. Fakt* [Types of linguistic meanings: Evaluation. Event. Fact]. Moscow: Nauka.
10. Chernyavskaya, V.E. & Molodychenko, E.N. (2014) *Istoriya v diskurse politiki: lingvisticheskiy obraz “svoikh” i “chuzhikh”* [History in political discourse: linguistic image of “us” and “them”]. Moscow: LENAND.
11. Iakoba, I.A. & Timofeev, S.S. (2015) K. Marx as an effective discourse analyst of XX century: Linguo-cognitive mechanisms of smart discourse tuning. *Vestnik BGTU im. Shukhova*. 1. pp. 270–274. [Online]. Available from: http://vestnik_rus.bstu.ru/arhiv. (In Russian).

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК: 82.091

DOI: 10.17223/19986645/41/9

А.В. Жучкова

ИЗУЧЕНИЕ ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ О. МАНДЕЛЬШТАМА

В статье представлен взгляд на язык Мандельштама с точки зрения анализа его подсознательной составляющей. Так как литературоведение не располагает пока разработанным инструментарием анализа суггестивных особенностей поэтического текста, мы считаем необходимым воспользоваться инструментарием и тезаурусом смежных наук, таких как психолингвистика и нейропсихология, более 50 лет разрабатывающих теорию подсознания. С помощью ВАК-анализа, т.е. изучения аудиальных, визуальных и кинестетических предикатов и образов, и экспликации гипнотических структур лирики Мандельштама мы раскрываем природу гипнотического воздействия речи поэта и приходим к ряду открытий, среди которых выявление кинестетического кода поэзии Мандельштама, обоснование причин возникновения стихотворений-двойчаток и др.

Ключевые слова: визуальный, аудиальный, кинестетический, Мандельштам, ВАК-анализ.

«Темнота» поэтической речи О. Мандельштама провоцирует различные подходы к ее изучению. Одним из первых способов толкования стихотворений Мандельштама стал предложенный К. Тарановским подтекстовый (контекстный) метод восстановления опущенных смысловых звеньев. Этот подход значительно расширил информационное поле стихотворения и оказался весьма востребованным, но не исключил дальнейших попыток исследователей прорваться к пониманию не внешних, а внутренних смыслов лирики Мандельштама. Всегда актуальны историко-биографический подход и описание творческой эволюции художника (С. Аверинцев, М. Гаспаров, О. Лекманов, Н. Струве, А. Карпов и др.). Но, пожалуй, наиболее интересным для нашей методики является взгляд на поэзию Мандельштама, предложенный в основополагающей для мандельштамоведения «статье пяти авторов» (Ю.И. Левина, Д.М. Сегала, Р.Д. Тименчика, В.Н. Топорова и Т.В. Цивьян) о семантической поэтике [1]. Ее авторы отмечают такую черту поэзии Мандельштама, как «тесное слияние смысловой линии, связанной с разработкой глобальных тем, со смысловыми линиями, трактующими конкретно-чувственное состояние мира (описание цвета, звука, осязания, вкуса, других зрительных или слуховых ассоциаций и проч.) и конкретно-чувственное состояние человека (физические ощущения, эмоции и т.п.)» [1. С. 285]. Современные психолингвистические исследования свидетельствуют, что язык «конкретно-чувственной логики», о котором пишут авторы статьи о семантической поэтике, является в большей степени выражением подсознательных, чем сознательных процессов нашего мышления. Поэтому мы обращаемся к

изучению языка Мандельштама с точки зрения анализа его подсознательной составляющей. Возможно, разгадка «темноты» поэзии Мандельштама заключается в том, что она в большей степени ориентирована не на сознание, а на подсознание. М. Цветаева писала: «Почему люблю Мандельштама, с его путаной, слабой, хаотической мыслью, порой бессмыслицей (проследите-ка логически любой его стих!) и неизменной магией каждой строчки. Дело в... чарах» [2. С. 68]. Поэзию Мандельштама и не надо подвергать рациональному толкованию, это не для того написано, говорил И. Бродский.

Искусство XX в. значительно расширяет границы понимания и отражения мира, большая роль в нем начинает отводиться раскрытию подсознательных процессов. А как нам, литературоведам, изучать подсознательные структуры поэзии, какими словами о них говорить?

Вероятно, стоит обратиться к тем наукам, которые непосредственно занимаются вопросами подсознания, с целью воспользоваться разработанными ими тезаурусом и инструментарием исследования подсознательных структур, и применить их к изучению особенностей поэтической речи.

Согласно современным воззрениям подсознание представляет собой хранилище сенсорной информации, поступившей некогда через внешние рецепторы, но отсеянной фильтрами сознания. Рецепторы безостановочно передают в мозг информацию об окружающем мире. А сознание осуществляет роль привратника, отбирающего нужную в данный момент информацию. Те же визуальные, аудиальные, кинестетические, вкусовые и обонятельные образы, которые по тем или иным причинам миновали сознание, «складируются» в подсознании, вступая, возможно, в некие взаимоотношения, результатом которых становятся сны, интуиция, «шестое чувство» и т.п.

Наладить диалог сознания с подсознанием удастся с помощью сенсорных образных «маркеров»: звуковых, цветовых, ольфакторных и т.д., которые активизируют впечатления, хранящиеся в бессознательном.

Психолингвисты и нейропсихологи эксплицировали речевые структуры, использующиеся при гипнотической коммуникации, проще говоря, приводящие реципиента в состояние транса. Все они присутствуют в поэзии Мандельштама [3. С. 132–143]. Поэтическая речь Мандельштама изобилует такими паттернами гипнотической коммуникации, как опущения, обобщения, искажения, номинализации, отсутствие референтного индекса и пр. Гипнотические речевые конструкции в поэтической речи Мандельштама создают эффект запутанности, неясности:

Выбегают из углов угланы...

И я выхожу из пространств в запутанный сад величин...

Всех кладут на кипарисные носилки, / Сонных, теплых вынимают из плаща...

Создавая неразбериху и запутанность рационального семантического поля, Мандельштам в то же время очень активно пользуется эмпирической силой подсознательного воздействия метафор и сенсорных предикатов. О значимой роли «телесных» образов лирики Мандельштама писали не раз.

В.Н. Топоров размышляет о «психофизиологическом компоненте в поэзии Мандельштама» [4. С. 428–446], о «специальной, внутренне-интимной, подсознательной связи между автором и текстом, которая <...> берет начало

в психофизиологическом субстрате человека, в его органике» [4. С. 428]. «Этот психофизиологический компонент присутствует в самом поэтическом тексте», – утверждает Топоров [4. С. 429]. Можем ли мы сегодня разобраться в этом «психофизиологическом компоненте»?

Надо заметить, что большинство исследователей отмечают наряду с семантической «дематериализацией» поэтической речи Мандельштама ее «вещественно-конкретное звучание» [5. С. 126]. Действительно, движение мышления от сознательного уровня к подсознательному сопровождается удалением от дигитальной системы слов и их значений и приближением к аналоговой системе сенсорных ощущений. Эффект подсознательного воздействия поэзии Мандельштама в значительной мере осуществляется за счет сенсорной лексики: визуальных, аудиальных и кинестетических предикатов и образов.

У разных людей органы чувств функционируют неодинаково, одни оказываются успешнее, чем другие. Различают три вида репрезентативных систем, которые определяют способ взаимодействия человека с миром: визуальную, аудиальную и кинестетическую (принято считать, что вкус и запах входят в кинестетическую систему). Элементы внешнего мира, осознаваемые человеком, в большинстве случаев совпадают с его ведущей репрезентативной системой. Ведущий тип репрезентативной системы оказывает влияние на процесс поступления, переработки, хранения и воспроизведения информации. При коммуникации человек неосознанно выбирает те речевые средства, которые соотносятся с его ведущей репрезентативной системой. Поэтому хотя мы думаем, что говорим на одном языке, на самом деле можно говорить о трех вариантах этого языка по числу основных репрезентативных систем: визуальной, аудиальной и кинестетической. И визуалу не совсем просто понимать аудиала или кинестетика, и наоборот, потому что одни и те же образы они репрезентуют в терминах различной модальности. Неприятие ситуации визуал охарактеризует «в черном цвете», аудиал будет говорить о «фальшивых нотах» и «диссонансе», а кинестетик выразит ощущение «горького осадка» или «отвращения». Преобладание в речи предикатов (т.е. глаголов, наречий, прилагательных) той или иной модальности информирует нас о ведущей репрезентативной системе говорящего, о его способе воспринимать и отражать информацию о мире. И это происходит бессознательно, на том самом психофизиологическом уровне, о котором писал Топоров.

Изучение основного корпуса (около 500) стихотворений О. Мандельштама позволило нам установить, что в его творчестве кинестетические предикаты не просто доминируют, а практически вытесняют предикаты всех других модальностей. Доля кинестетических предикатов в поэтическом тексте О. Мандельштама составляет 75,3 % [6]. Это невероятно высокий процент кинестетических предикатов в речи. Обычно люди помимо ведущей имеют также подкрепляющую репрезентативную систему. Поэтическая же речь Мандельштама являет практически чистый кинестетический код.

Да и визуальные и аудиальные слова поэт чаще использует в несвойственной им репрезентативной системе:

...звук в персты прольется...

...слух чуткий парус напрягает...

...янтарная сухость...

...звук сузился...

... речи темные глотая...

Кинестетики встречаются реже, чем визуалы и аудиалы. Считается, что мыслят в основном вербально 15–20 % людей, мыслят картинками – 75% и поступают в соответствии с возникающими у них чувствами 0–15 % людей.

«Осязание как будто редкое свойство у современного человека, – писала жена поэта, – а у Мандельштама оно было резко развито, и мне казалось, что это признак какой-то особой физиологической одарённости. Встречаясь со мной после разлуки, хотя бы самой краткой, он закрывал глаза и, как слепой, проводил ладонью по моему лицу, слегка прощупывая его кончиками пальцев. Я дразнила его: «Глазам ты своим, что ли, не веришь!» Он отмалчивался, но на следующий раз повторялось то же самое» [7. С. 550].

Поэтому Мандельштама лучше всего понимают, т.е. *чувствуют* читатели-кинестетики. Вот пример такого родственного восприятия из книги о Мандельштаме А.С. Карпова: «Поэт стремится воспроизвести существующие в мире связи между явлениями, которые расшифровке на языке логики – увы! – не поддаются. Встретившись в стихотворении со словами «Из горящих вырвусь рядов и вернусь в родной звукоряд...», едва ли можно подвергнуть их однозначному толкованию, но нельзя не *почувствовать* выраженное страстное желание не потерять себя...» [8. С.129].

Соберем воедино схему подсознательного влияния мандельштамовского стиха: искажения, опущения, абстракции и т.д. «разжимают руки сознания», а кинестетические и отчасти визуальные и аудиальные слова активизируют яркие подсознательные образы. М.С. Павлов делится с нами опытом восприятия одного мандельштамовского образа «клейкая клятва листов...»: «...невозможно определенно сказать, в чем состоит содержание клятвы (это абстрактное слово. – А.В.). Само слово «клятва» обладает семами «предельной искренности», «в высшей степени достоверности». Но в этом высказывании две позиции остаются незамещенными (клясться в чем? И клясться кому?) (отсутствие референтного индекса. – А.В.), в силу чего в обоих этих направлениях смысл способен развиваться свободно, допуская очень большой диапазон толкований...», при этом «создан вполне конкретный образ молодых клейких листьев, только что проклюнувшихся на деревьях» [5. С. 128].

Заметим, что данный образ не представлен развернуто в тексте, где есть лишь абстрактное словосочетание «клятва листов» и конкретный кинестетический эпитет «клейкие». Однако эти немногочисленные лингвистические средства выступают маркерами, запускающими «конкретно-чувственное» мышление читателя, и вот уже исследователь утверждает, что «создан вполне конкретный образ молодых клейких листьев, только что проклюнувшихся на деревьях». Это наглядный пример того, как подсознание достраивает образ, построенный по принципу гипнотической коммуникации: семантическая структура высказывания расшатывается благодаря сочетанию абстрактного слова без референтного индекса с конкретным: клятва листов, чувственный образ «запускается» сенсорным маркером «клейкие».

Продemonстрируем возможности ВАК-анализа (т.е. только анализа сенсорных предикатов, без исследования гипнотических структур) на примере двойчатки «Я не знаю, с каких пор...» и «Я по лесенке приставной».

Начнем со второго стихотворения двойчатки: «Я по лесенке приставной...». В нем Мандельштам сам говорит о значимости пяти чувств человеческих: *Звезд в ковше Медведицы семь. / Добрых чувств на земле пять*, словно набрасывает главные координаты: на небе звезды, на земле – чувства.

Выделим визуальные, аудиальные и кинестетические слова (предикаты и номинализации) в тексте стихотворения (жирным шрифтом отмечены кинестетические слова, курсивом – визуальные, подчеркиванием – аудиальные):

Я по лесенке **приставной**
Лез на **всклоченный** сеновал, –
Я дышал звезд млечных **трухой**,
Колтуном пространства дышал.

И подумал: зачем будить
Удлиненных **звучаний** рой,
В этой вечной **склоке ловить**
Эолийский чудесный строй?

Звезд в ковше Медведицы семь.
Добрых чувств на земле пять.
Набухает, звенит *темь*,
И **растет**, и **звенит** опять.

Распряженный огромный воз
Поперек вселенной **торчит**.
Сеновала древний хаос
Зашекочет, запорошит...

Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира **поем**,
Лиру строим, словно **спешим**
Обрасти косматым руном.

Из гнезда **упавших** щеглов
Косари **приносят** назад –
Из **горящих** **вырвусь** рядов
И вернусь в родной **звукоряд**.

Чтобы *розовой* крови **связь**
И травы **сухорукий** **звон**
Распростились: одна – **скрепясь**,
А другая – в заушный сон.
1922

Визуальные слова: пространство, удлиненных, темь, огромный, поперек, горящих, розовой. В этом варианте их достаточно много. В первом варианте двойчатки, к которому мы обратимся чуть позже, визуальный эпитет всего один, и это общая тенденция для всех двойчаток Мандельштама: в первом варианте больше кинестетических предикатов, а визуальных очень мало. Во втором варианте увеличивается доля визуальных предикатов и уменьшается доля кинестетических. Визуализация обычно связана у Мандельштама с рефлексией, осмыслением ситуации. Значение визуальных слов во втором варианте двойчатки в данном случае даже выстраивается в определенную логическую цепь, смысл которой – движение извне внутрь: от универсального *про-*

странства через текущее неблагополучие (*темь, попереk*) ракурс смещается вглубь лирического героя, к его *горящей розовой крови*.

Аудиальные слова: звучаний, звенит (2), поем, шуршим, лиру, звукоряд, звон. Звуковой ряд этого стихотворения необычайно звучен (звенит, поем, звон), особенно для цикла «Стихи 1921–1925», где аудиальные слова с очень важной для Мандельштама семантикой «петь», которых было так много в «Tristia», постепенно уходят, сменяясь предикатами со значением говорения и даже скрипения (скрипеть, скрипучий, скрипя, шум... и т.п.). Звучность приглушается, поэтический ручеек пересыхает. Так что данное стихотворение занимает особое место в периоде. И хотя в нем есть и тусклый аудиальный предикат *шуршим*, он почему-то в сочетании «не своей чешуей шуршим» представляется мне больше кинестетическим образом.

Кинестетические слова: приставной, лез, всклоченный, дышал (2), трухой, колтуном, дышал, склока, ловить, добрых, набухает, растет, распряженный, торчит, защекочет, запорошит, не своей чешуей шуршим, против шерсти, строим, обрасти косматым, упавших, горящих вырвусь, связь, сухорукый, скрепясь.

Соотношение визуальных-аудиальных-кинестетических предикатов: V – 7 (15%); А – 8 (17%); К – 31 (67%).

В то время как общая ВАК характеристика цикла «Стихи 1921–1925» следующая: V – 13%, А – 9%, К – 78%.

Мы видим, что в данном стихотворении очень высока роль аудиальных предикатов. Она значительно выше средней по периоду, и вообще нечасто бывает, чтобы аудиальная модальность в стихотворении превышала визуальную.

Звучащая чистая струна натянута до предела среди древнего, дикого, невообразимо жуткого хаоса современности, который топорщится шерстью, обрастает чешуей и косматым руном, возвращаясь к первобытному состоянию. Вокруг все горит, из гнезд выпадают птенцы, и время повернуло вспять. Правильный ход вещей нарушен, посреди вселенной торчит распряженный воз истории, и поэт не понимает, нужна ли здесь кому-то еще лира? По свидетельству жены, эти годы были самыми страшными и для Мандельштама, только набравшего голос, ощутившего силу дарить миру свою песнь – и оказавшегося без слушателей. Великому Хаму поэт культуры не нужен. И «Стихи 1921–1925» – «оборванная и задущенная книга – в чужом мире, усыхающий довесок» [7. С. 325].

Прислушаемся к звукописи кинестетических предикатов этого стихотворения, наиболее близких Мандельштаму: в них с помощью аллитерации создается аудиальный образ опустошения, задущенности: *прс-лс-фскл-дш-трх-клт-дш-склк-лвт-дбр-нбх-рстт-рспрж-трчт-зцкчт-зпршт-свчишири-пртфшрст-стр-брст-ксм-прих-грицх-врвс-свс-схрк-скрпс*. Вырисовывается некая звуковая линия: в начале хаотичное нагромождение сонорных, шипящих и свистящих, затем звучные звонкие с долей глухих: *дбр-нбх-рстт-рспрж*, которые потом сменяются обилием шипящих: *зцкчт-зпршт-свчишири-пртфшрст*, а заканчивается все свистящими: *врвс-свс-схрк-скрпс*, что напоминает звук выходящего воздуха. Пространство суживается, меняется, энергия уходит из него, как воздух из шара, и поэт не находит, как преж-

де, красоты и гармонии в окружающей действительности. Эры шар золотой закатился, и единственное, где он может сохранить ее чистый звук, память ее – это в самом себе, в связи крови, чтобы, скрепясь, нести ее дальше. Последнее, что остается и что не стереть, – чувство внутренней правоты.

А теперь обратимся к первому варианту двойчатки стихотворению, написанному чуть ранее второго:

Я не знаю, с каких пор
Эта песенка началась –
Не по ней ли **шуршит** вор,
Комариный **звенит** князь?

Я хотел бы ни о чем
Еще раз **поговорить**,
Прошуршать спичкой, плечом
Растолкать ночь – **разбудить**.

Раскидать бы за стогом стог
Шапку воздуха, что **томит**.
Распороть, разорвать мешок,
В котором тмин защит.

Чтобы *розовой* крови связь,
Этих **сухоньких** трав **звон**,
Уворованная, нашлась
Через век, сеновал, сон.
1922

Это стихотворение проясняет начало разобранного ранее: *лесенка приставная* была в первом варианте *песенкой*, с помощью песенки поэт мог бы забраться на сеновал, который, огромный, символизирует хаос безвременья?

Он бы хотел «раскидать, разбудить, растолкать, распороть, разорвать» (сколько кинестетических предикатов!) этот страшный колтун истории «стог за стогом», чтобы снова двинулась по нужному руслу река времен, чтобы «розовой крови связь» и «сухоньких трав звон» пережили безвременье и нашлись хотя бы через век, пережив этот абсурдный сон.

Аудиальных слов в этом стихотворении 4, кинестетических 9, визуальный эпитет 1, что в процентном соотношении составляет: V – 7 %, А – 28%, К – 64%. С точки зрения семантики аудиальных предикатов в этом стихотворении представлены все основные, встречающиеся в цикле «Стихи 1921–1925»: звенит, поговорить, прошуршать и еще номинация звон. Уж только одно их расположение отражает главный лирический сюжет: звук угасает, переходит в шуршание, но все же герой верит в его воскрешение, хотя когда оно будет – неизвестно: финальное слово *звон* является субстантивированным глаголом, номинализацией, которая конкретный процесс заменяет абстракцией. Сделав глагол *звенеть* номинализацией, поэт обозначает свою надежду на восстановление звучности мира. В этом стихотворении мы снова наблюдаем необычайно высокое содержание аудиальных предикатов, что объясняется самой его темой: можно ли еще петь, нужна ли окружающему миру звенящая речь поэта?

Данный вариант, написанный первым, более простой, более искренний и очень кинестетичный, он отражает непосредственное душевное переживание

поэта, выраженное напрямую, без обиняков: это желание прорваться сквозь душастый хаос безвременья, сохранить культуру, звучащий песенный звон – и страх, что сделать этого не дадут.

А кинестетический здесь предикат всего один – розовой. И даже он включен в метакинестетический образ: *розовой крови связь*, т.е. сердцевина, нутро, место, где живет поэтическая правота.

На основании сопоставления этих двух стихотворений можно сделать вывод, что двойчатки различаются в первую очередь количеством кинестетических и визуальных предикатов: первый вариант содержит привычный для мандельштамовской речи высокий процент кинестетических предикатов, т.е. написан в родной модальности поэта, а второй вариант характеризуется увеличением доли визуальных предикатов при уменьшении кинестетических и аудиальных, что свидетельствует о диссоциации лирического героя от ситуации, о взгляде на нее как бы «со стороны». Первое стихотворение выражает очень личное переживание поэта. Второе стихотворение сложнее, объективнее, отражает и переживание, и историческую ситуацию в целом.

Данная закономерность сохраняется и при ВАК-анализе других двойчаток, например:

Варианты стихотворений	V	A	K
«Ариост»			
Вар. I «Во всей Италии...»	4	5	35
Вар. II «В Европе холодно...»	8	2	26
«Заблудился я в небе...»			
Вар. I 9 марта 1937 г.	3	4	14
Вар. II 9–19 марта 1937 г.	7	3	10
«Мой щегол, я голову закину...»			
Вар. I «Детский рот жует свою мякину...»	1	1	8
Вар. II	5	0	5
Вар. III «Мой щегол, я голову закину...»	12	0	5

Полученные результаты позволяют ответить на вопрос, зачем на одну тему и практически одними и теми же словами писать два равнозначных стихотворения. Ведь двойчатки составляют именно равноценную пару, а не черновик – чистовик одной темы. Стихотворения-двойчатки – это два разных ракурса рассмотрения одной ситуации: ассоциированный «изнутри», через себя (тот, где больше кинестетических предикатов) и диссоциированный, более отстраненный, объективный (с большим количеством визуальных предикатов).

Тот вариант, в котором выше процент кинестетических и аудиальных предикатов, интимнее, ближе, он написан в ведущей модальности поэта. Другой вариант, который характеризуется увеличением доли визуальных предикатов, свидетельствует о диссоциации лирического героя от ситуации, о взгляде на нее как бы «со стороны» – и этот вариант сложнее и тяжелее для «разгадывания» также и потому, что написан в «неродной» Мандельштаму модальности.

Кстати, в «Оде Сталину» очень высок процент визуальных предикатов.

Но это тема уже следующего исследования.

Литература

1. Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // Смерть и бессмертие поэта: Материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 60-летию со дня гибели О.Э. Мандельштама. М., 2001. С. 282–316.
2. Пинаев С.М. Максимилиан Волошин, Николай Гумилев, Осип Мандельштам. Закрывают путь проверенных орбит. М.: РУДН, 1991. С. 68.
3. Хлыстова А.В. Магия поэтики О. Мандельштама. М.: РУДН, 2009. 209 с.
4. Топоров В.Н. О «психофизиологическом» компоненте поэзии Мандельштама // Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995. С. 428–446.
5. Павлов М.С. Семантическая поэтика и комплексный анализ текста // «Отдай меня, Воронеж...»: Третьи международные мандельштамовские чтения. Воронеж, 1995. С. 122–133.
6. Хлыстова А.В. Поэтическая модель подсознательной коммуникации в лирике Осипа Мандельштама: дис. ... канд. филол. наук. М., 2007. 265 с.
7. Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М.: Согласие, 1990. 750 с.
8. Карпов А.С. Попробуйте меня от века оторвать! Осип Мандельштам // Неугасимый свет. М., 2001. С. 111–171.

THE STUDY OF THE SUBCONSCIOUS COMPONENT OF O. MANDELSTAM'S POETRY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 3 (41). 96–105. DOI: 10.17223/19986645/41/9

Zhuchkova Anna V., Peoples' Friendship University of Russia (Moscow, Russian Federation). E-mail: capra@mail.ru

Keywords: visual, auditory, kinaesthetic, Mandelstam, VAK analysis

The study of the subconscious component of O. Mandelstam's poetry is focused more on the subconscious than on the conscious. But how can we examine the subconscious in a poetic speech? It is necessary to use the tools and thesaurus of the science which has already been developing the theory of the subconscious for more than fifty years, psycholinguistics and neuropsychology. There is the concept of VAK analysis in these sciences. VAK analysis is the study of auditory, visual and kinaesthetic predicates and images (olfactory and gustatory predicates are included in the kinaesthetic system). Using VAK method of analysis the author makes a series of discoveries: she identifies the kinaesthetic code of Mandelstam's poetry, finds the causes of his double-poems, etc.

The poetic language of Mandelstam is replete with patterns of hypnotic communication: omissions, generalisations, distortions, nominalisations, lack of a referential index, etc. Hypnotic structures in Mandelstam's poetic speech create the effect of confusion, uncertainty. Departing from the rational method, the poet uses the subconscious influence of metaphors, of specific idioms and of sensory patterns. The hypnotic effect of Mandelstam's poetry is created by using visual, auditor, kinaesthetic, olfactory and gustatory predicates and images. The study of the most part (about 500) of his verses according to the VAK system has allowed to establish that in his speech kinaesthetic predicates dominate. The system we use to experience and to represent the world are called our primary representational system. O. Mandelstam experiences and represents the world primarily kinaesthetically. The share of kinaesthetic predicates in the poetic text of O. Mandelstam is 75.3 %. This is an incredibly high percentage of kinaesthetic predicates. Some people actually do use two or more systems absolutely simultaneously, but the poetic language of Mandelstam represents an almost pure kinaesthetic code.

Double-poems represent one situation, but from the point of view of different representative systems: one of the poems is usually written in the leading kinaesthetic modality of the poet, and the other in the visual modality. The second version represents the reduction of kinaesthetic predicates and the augmentation of visual predicates. Double-poems represent two different perspectives of one situation: "from the inside" (the prevalence of kinaesthetic predicates) and "outside", as if from the outside (the prevalence of visual predicates).

References

1. Levin, Yu. I. et al. (20001) [Russian semantic poetics as a potential cultural paradigm]. *Smert' i bessmertie poeta* [Death and immortality of the poet]. Proceedings of the international scientific

conference dedicated to the 60th anniversary of the death of O. Mandelstam. Moscow: RSUH. pp. 282–316. (In Russian).

2. Pinaev, S.M. (1991) *Maksimilian Voloshin, Nikolay Gumilev, Osip Mandel'shtam. Zakryt nam put' proverennykh orbit* [Maximilian Voloshin, Nikolay Gumilev, Osip Mandelstam. The way of proven orbits is closed for us]. Moscow: People's Friendship University.

3. Khlystova, A.V. (2009) *Magiya poetiki O. Mandel'shtama* [Magic of the poetics of Osip Mandelstam]. Moscow: People's Friendship University.

4. Toporov, V.N. (1995) O "psikhofiziologicheskom" komponente poezii Mandel'shtama [On the "psychophysiological" component of Mandelstam's poetry]. In: Toporov, V.N. *Mif. Ritual. Simvol. Obraz* [Myth. Ritual. Symbol. Image]. Moscow: Progress.

5. Pavlov, M.S. (1995) Semanticheskaya poetika i kompleksnyy analiz teksta [Semantic poetics and comprehensive analysis of the text]. In: "*Otday menya, Voronezh...*": *Tret'i mezhdunarodnye mandel'shtamovskie chteniya* ["Give me back, Voronezh...": The third international Mandelstam Readings]. Voronezh: Voronezh State University.

6. Khlystova, A.V. (2007) *Poeticheskaya model' podsoznatel'noy kommunikatsii v lirike Osipa Mandel'shtama* [The poetic model of subliminal communication in the poetry of Mandelstam]. Philology Cand. Diss. Moscow: People's Friendship University.

7. Mandelstam, N.Ya. (1990) *Vtoraya kniga* [The second book]. Moscow: Soglasie.

8. Karpov, A.S. (2001) Poprobuyte menya ot veka otorvat'! Osip Mandel'shtam [Try to tear me away from the century! Osip Mandelstam]. In: Karpov, A.S. *Neugasimyy svet* [Unquenchable light]. Moscow: People's Friendship University.

УДК 821.161.1+82.0

DOI: 10.17223/19986645/41/10

А.Е. Козлов

ФОРМЫ И ОБРАЗЫ ВРЕМЕНИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.Д. ХВОЩИНСКОЙ И В.А. СЛЕПЦОВА

В статье на материале романов Н.Д. Хвощинской «Свободное время» и В.А. Слепцова «Трудное время» изучаются семантические свойства провинциального времени в беллетристическом произведении. Несмотря на разные эстетические установки писателей, тексты Хвощинской и Слепцова характеризуются общностью, заключающейся в сходных способах репрезентации повседневности. Провинциальное время, зачастую «заслоняя» моноцентрического героя, предстает в произведениях овеществленным, буквально погруженным в материю, быт. Кроме того, время в анализируемых произведениях становится имплицитным выражением авторского самосознания. Для женщины, писавшей под мужским псевдонимом, и разночинца, вышедшего из дворянской среды, провинциальный мир становится способом авторефлексии.

Ключевые слова: русская литература XIX в., провинциальный роман, провинциальное время, В.А. Слепцов, Н.Д. Хвощинская.

Вопрос о статусе провинциального времени в русской и мировой литературе, несмотря на наличие фундаментальных литературоведческих разработок в этом направлении, нельзя считать полностью решенным.

Обобщенный образ провинции, создаваемый долгое время совокупными усилиями критики и беллетристики, часто выходит за пределы эстетического видения, распространяясь на эмпирическую действительность, что определяет особый взгляд исследователей на этот предмет. Сторонник локального метода Н.П. Анциферов, характеризуя авторские варианты реализации провинциального топоса, признавал «сознательную обобщенность образа» [1. С. 249] провинциального города в художественной литературе XIX в., что означало фактическую невозможность его пространственно-временной локализации. Анализируя провинциальное время в заключение своей работы «Формы времени и хронотопа в романе», М.М. Бахтин писал: «Это густое, липкое, ползущее в пространстве время. Поэтому оно не может быть основным временем романа. Оно используется романистами как побочное время, переплетается с другими, не циклическими временными рядами или перебивается ими» [2. С. 325]. Характерный для последних десятилетий интерес к провинциальной культуре и феноменологии провинциального самосознания существенным образом расширил исходные представления. Своеобразным итогом этого конструктивного диалога можно считать книгу «Текст пространства: материалы к словарю» [8], подготовленную Е.Г. Милюгиной и М.В. Строгановым. Однако категория времени заменена здесь смежным понятием *ритм /аритмичность* пространства.

На наш взгляд, фигура умолчания, традиционно сопровождающая *провинциальное время*, объясняется его второстепенностью (*побочностью*, по словам М.М. Бахтина). Однако обращение к языку русской культуры, специ-

фика которой зачастую определяется декларативной эксплицитной вторичностью, может скорректировать данное представление.

Как известно, генезис *провинциальной темы* в русской культуре связан с развитием комедиографии и беллетристики второй половины XVIII в., «узловым моментом» в её эволюции становится выход в свет поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души» [7]. Здесь в одном фокусе оказались собраны разрозненные мотивы и исторически отстоящие друг от друга сюжетно-мотивные комплексы, «спаянность» которых в дальнейшем историко-литературном развитии практически оставалась неизменной на протяжении второй половины XIX в.

В то же время именно в 40-е гг., вследствие чтения «Мёртвых душ» как эпического произведения и из-за экстенсивного развития русской повести, о себе заявляет форма «провинциального романа» (Ф. Корф, В.А. Вонлярьский, П.Н. Кудрявцев, Д.В. Григорович, Н. Данковский, А.Ф. Писемский)¹. Сходство сюжетных ситуаций, однородность событий (без катастроф и откровений), преобладание происшествий над событиями (нулевая событийность), актуализация события не-события [4] демонстрируют общность на уровне сюжетно-событийной и модальной организации текстов, относимых нами к форме провинциального романа. Следует подчеркнуть, что зачастую к провинциальному роману обращались фигуры второго или третьего литературного ряда, таким образом, провинциальный хронотоп был как бы созвучен осознаваемому месту в литературном процессе.

Таким образом, можно сделать предположение о связанности формы провинциального времени со специфической жанровой формой провинциального романа. При этом важно отметить, что самое чувство *провинции* и *провинциального*, вне зависимости от декларируемых эстетических установок, было неизменным. Естественно, вышесказанное требует верификации, построенной на сопоставительном анализе рядов подобных произведений.

Настоящая статья представляет попытку осмысления формы провинциального романа через сопоставление двух текстов: романа Н.Д. Хвоцинской «Свободное время» (входит в цикл «Провинция в старые годы») и романа-повести В.А. Слепцова «Трудное время». Два романа, где в сильной позиции обретается слово *время*, принадлежа хронологически к одной и той же эпохе, на первый взгляд воплощают диаметрально разные принципы эстетики и отношения к эмпирической действительности. Повести Хвоцинской, изначально опубликованные в «Отечественных записках» и впоследствии вышедшие отдельным изданием (типография А. Суворина), представляют несомненный интерес в контексте изучения ретростиля в русской литературе 60-х гг. [13].

¹ Некоторые из произведений, относимых нами к форме *провинциального романа*: «Как люди богатеют» (1847); А.Д. Галахов «Превращение» (1847); П.Н. Кудрявцев «Без рассвета» (1847); А.И. Герцен «Кто виноват?» (1848); В.А. Вонлярьский «Большая барыня» (1852); Д.В. Григорович «Просёлочные дороги» (1852); И. Панаев «Львы в провинции» (1852); Н. «Провинциальная гризетка» (1855); Н. Данковский «Портретная галерея» (1856); А.Ф. Писемский «Тысяча душ» (1858); Ю.В. Жадовская «В стороне от большого света» (1857); В.И. Аскоченский «Асмодей нашего времени» (1858); М.В. Авдеев «Подводный камень» (1861); М.П. Стопановский «Обличители» (1863); Н.Д. Хвоцинская «Из связи писем, брошенных в огонь» (1863); Е. Сальянова «Евгения» (1863); А.Ф. Писемский «Взбаламученное море» (1863); Р. Гаганидзе «Летопись маленького городка» (1863); П.Д. Боборыкин «В путь-дорогу» (1864); Н.Ф. Бажин «Степан Рулев» (1864); Н.С. Лесков «Некуда» (1864, первая часть «В провинции»); Н.Д. Ахшарумов «Мудреное дело» (1864), Н.Д. Хвоцинская «Провинция в старые годы» (1866).

«Трудное время», публикацией которого практически завершилась революционно-демократическая история некрасовского «Современника», манифестирует отношение автора к социальной (в позитивистском смысле этого слова) действительности, следование натуралистическому канону, связанному с разночинским типом поведения.

Произведения Хвощинской являются элементами «тиражной продукции», характерной для беллетристического отдела «Отечественных записок» под редакцией А. Краевского (к этому ряду можно отнести Е. Тур, М.В. Авдеева, Е.Л. Маркова, Е. Сальянову и пр.). Литературу этого рода (говоря, кстати, о Н.Д. Хвощинской) А.М. Скабичевский описывал так: «На всех произведениях этого периода отражается замкнутая провинциальная жизнь. В них изображаются исключительно нравы провинциального бомонда, действие не выходит из семейной сферы» [15. С. 208].

Особенность сюжетов Хвощинской – сосредоточенность на бессобытийной повседневности, хода которой не нарушают отдельные происшествия. Несмотря на то, что сюжет каждой повести строится на светской интриге или губернском скандале, Хвощинская не стремится к внешним эффектам (как, например, Д.В. Григорович, М.М. Стопановский или Н. Данковский).

Описание скуки как всedневногo опыта показывает одно из направлений художественной рефлексии Хвощинской. В этом отношении показателен диалог, возникающий между героями: «– Ты сказал, что я добра и мила; как ты думаешь, ежеминутная скука может ли испортить характер? – Ведь эта скука, душа моя, одна у всех» [5. С. 39].

Это чувство, которое многократно было воспроизведено и до Хвощинской, становится в повестях писательницы доминантным, часто предполагая тождество жизни в *провинции, пустыне, тущо́бе* и жизни как таковой. Хвощинская нередко описывает странные нравы обитателей города N: «Клавдия Яковлевна почти привыкла носить птиц на своих платьях; но на одном из них были изображены собачки, что доставляло несказанное удовольствие дяде, который встречал ее всегда каким-нибудь охотничьим восклицанием и давал названия этим собачкам, не стесняясь даже при гостях» [6. С. 24–25]; «<...> был здесь один Опаров – Квакушкиным прозвали – из дома в дом скитался, где неделю, где месяц проживет; на охоту его возят, сказки заставляют по ночам рассказывать, плясать; нарядят, бывало, в шубу навыворот...» [6. С. 40].

Отношение к человеку как к животному не находит глубинной мотивировки. Многое, совершаемое в провинции *от нечего делать*, является закономерным следствием действия пустого, ничем не заполненного свободного времени, которое складывается из механических, часто неотрефлексированных поступков обывателя. Общее нарушение нормы, атипичность поведения, связанная со смещением оси нулевого (нормального) значения, заставляет воспринимать образы как элемент действительности, наделять бездушные предметы свойствами живого, разумного. Это тихое сумасшествие – *мелочные бури, волновавшие мелочную жизнь*, – совершенно иной природы, чем петербургское безумие, становится нормой места и определяет последовательность всех жизненных событий, а следовательно, и образы времени.

Противоположную сторону провинциального быта определяют театральные метафоры. Они настолько часто используются Хвоцинской, что утрачивают сколько-нибудь оригинальную семантику и обращаются в штамп: «Всё это были, конечно, глупые *комедии* на сцене кухни и девичьей; но, к сожалению, у многих так проходит жизнь, и, глядя на нее, невольно спрашиваешь: для того ли она начиналась... Был ум – он оступел; было чувство – оно измелечало; было желание образоваться – его сочли за прихоть, и оно заглохло среди вечного недосуга. Пришла старость со своим забвением и привычкой; обновиться было уже поздно, невозможно» [6. С. 26]; «Из жизни, которая могла бы идти так стройно, разумно и прекрасно, из жизни, назначенной для любви, довольства и разумной деятельности, составляется какое-то странное представление. Улыбаясь и плача, его можно назвать только *комедией*, другого названия оно не заслуживает. Эти *комедии* тянутся долго и однообразно, как всё, совершающееся понемногу» [5. С. 9–10].

Таким образом, категория времени в повестях Хвоцинской оказывается неразрывно связанной с бытом и повседневностью. Театрализация быта, как своего рода *ложная карнавальность*, представляет попытку оправдания бессмысленности жизни. Такая стратегия особенно закономерна для женщины, всю жизнь писавшей под мужским псевдонимом.

Большинство произведений В.А. Слепцова – его сценки, рассказы-миниатюры и тяготеющая к роману повесть «Трудное время» – представляют собой своеобразный даггеротип, срез эпохи, характерный для разночинской литературы 60-х гг. (Н.Г. Помяловский, Ф.М. Решетников, А.И. Левитов, Г.И. Успенский, Н.Ф. Бажин и пр.). В отличие от большинства разночинцев Слепцов был выходцем из дворянской семьи; однако разночинский тип поведения, определяющий художественную эстетику письма, оказывается в его жизни доминантным¹. На это противоречие указывает в своих мемуарах А.М. Скабичевский: «Судя даже по тому, как он писал своим *бисерным почерком*, *вытачивал* свои произведения словно *мелкие ажурные* вещишки из слоновой кости, – это был по натуре эстетик. Положительно можно сказать, что он сделался беллетристом-народником по какому-то недоразумению или злой иронии судьбы, так как настоящее призвание его было или живопись, или скульптура, и он, если можно так выразиться, со всеми фибрами своего существа был создан, чтобы лепить или писать *красивые женские головки*» [16. С. 24]².

Обнаруживая себя наблюдательным повествователем в очерках «Владимирка и Клязьма» и «Письмах об Осташкове», Слепцов отказывается от единого, выстроенного линейного сюжета в своих миниатюрах и рассказах, буквально «рассредоточивая» энергию сюжета в отдельных мотивах. При чтении его произведений возникает характерный эффект «антиэстетического» повествования, разрушающего нормативные представления о прекрасном как гармоническом.

В романе-повести «Трудное время» Слепцов воспроизводит ряд литературных клише. Весь сюжет произведения – измененный, «модифицирован-

¹ О разночинском типе поведения в литературе и жизни см.: [11, 10, 18].

² Здесь и далее курсив наш. – А.К.

ный» сюжет о новых людях, местом осуществления которого становится не Петербург, а безымянная провинциальная усадьба. Смена топоса в данном случае значительным образом изменяет семантику сюжета; это же можно сказать и о главном герое Рязанове, восходящем, по определению Писарева, к *возлюбленному* (разночинским поколением. – А.К.) *базаровскому типу*. Однако от Базарова Рязанов наследует характерологические свойства лишнего человека, что определяет и «положение дел», и ощущение времени.

Если в повестях Н.Д. Хвощинской грязь является метафорой, описывающей взаимоотношения людей, в «Трудном времени» грязь становится составляющей пространства наряду с пьянством и невежеством, заполняя окружающий героев мир: «Место, по которому они шли, было *глухое*, несмотря на то, что находилось вблизи большого села: какой-то косогор, внизу лужа с навозными берегами, навозный мосток. В луже, подобрав портчонки, бродили ребята; по берегу торчали *кривые оципаные* ветлы; сквозь их *жидкие* листья белели крошечные, сбитые в кучу, *кое-как лепившиеся* по косогору мазанки одиноких солдаток, с огородами, в которых тоже кое-где стояли *обломанные и загаженные* птицами деревья; с *разоренных* плетней шумно кинулись воробьи. Дальше в одну сторону пошел овраг, заросший *чахлым* кустарником; в овраге валялась ободранная собаками дохлая лошадь. В другую сторону – крестьянские гумна и село» [17. С. 320]. Следует отметить сознательную установку автора на изображение ущербного мира; ряды прилагательных, объединенных общим значением *плохого, слабого, ненужного*, подчеркивают общую власть трудного времени.

В тексте В.А. Слепцова соотношение звериного и человеческого начал достигает своего предела, люди буквально уподоблены здесь животным, действия которых являются не осмысленными во времени и пространстве. Многие описания в повести предельно физиологичны, пространство телесно. Взгляд повествователя выхватывает отдельные детали провинциальной повседневности: «На дворе видно было, как один помещик стоял, упершись в стену лбом, и мучительно расплачивался за обед» [17. С. 262]; «Вшей-то что будет! А? Нет, теперь все еще ничего, а поглядели бы вы прежде, как только женился, – вот гуманничали-то! По три дня без обеда сидели от этого от гуманства. Людишки эти до такой степени испьянствовались... Нагнется вот эдак сапоги взять, да тут же и... И сблует. Вонь по всему дому» [17. С. 269].

Физиологизм в данном случае усиливает ощущение подлинности происходящего и подчеркивает установку на беспристрастное точное изображение «ветхого» мира, ожидающего обновления. Следует отметить, что в повести В.А. Слепцова, несмотря на «эзопов язык», нет ни одного намека на радикальное изменение (тем более преобразование) действительности: таким образом, провинциальное пространство становится абсолютным, статичным настоящим, *до* и *после* которого существует пустота, феноменологическая условность¹.

¹ Подобно тургеневским мечтателям, Рязанов в конце повести восклицает: «Остается *выдумать, создать* новую жизнь» [17. С. 336]. Кроме такого утопического проекта преобразования действительности, ничто более не указывает на попытки её изменения. По сути, провинциальная действительность повергает здесь утопию Н.Г. Чернышевского, и такой опыт дает неожиданные результаты (О значимости фигуры Н.Г. Чернышевского в романе В.А. Слепцова см.: [3.. С. 20]).

На упреки и возражения Щетининой, восклицающей, что она не может больше *солить огурцы*¹ и быть *ключницей* в доме, где *всё опротивело, играть роль в глупой комедии*, Рязанов дает развернутый ответ: «Однако вот эта жизнь уж перестала вам нравиться. А почему? Вы поняли ее нелепость и уж не можете жить этою жизнью. Стало быть, чем больше вы будете узнавать жизнь вообще, тем больше и больше будете лишаться возможности жить, как люди живут» [17. С. 336]. Заметим, что этот ответ также не содержит сколько-нибудь конструктивной программы преобразования.

Мир Слепцова, представляя хаос рассогласованной материи, по ряду параметров противопоставлен упорядоченному, но ограниченному в себе миру провинции Хвоцинской. Соотнесение двух этих произведений с точки зрения породившей их эстетики остается дискуссионным. Однако определение категории времени позволяет найти внутренние связи, реализуемые не через изобразительную традицию, а через форму (времени и жанра) как самодовлеющий элемент художественного текста. В рассматриваемых нами произведениях время становится не только способом рефлексии повседневности, но и имплицитным выражением авторского самосознания. Этим можно объяснить возникающий «спрос» на провинциальный роман среди беллетристов и читателей.

Вместе с тем повторяемость событий в составе провинциального времени позволяет сосредоточить внимание на времени личности, что обнажает онтологическую трагедию соотношений человека и мира, времени и бытия: «...могут возразить, что эти комедии не заслуживают ни разбора, ни длинных вступлений. С этим можно было бы согласиться, если б эти комедии не были жизнью человеческой, в которой всё важно, начиная от безделиц» [5. С. 198]; «...вас я разлюбила за то, что Вы (сознательно или бессознательно, – все равно) заставили меня играть глупую роль в вашей глупой комедии» [17. С. 340]. Называя происходящее *комедией*, авторы подчеркивают условность не только провинциальной жизни, но и бытия как такового².

Контрастные по своей сущности тексты демонстрируют значимость временной категории для писателей и ее общее понимание. Существенную часть провинциального времени составляют повторяемые события быта (или события повседневности), которые не могут сформировать сюжет (построенный на «событии не-события»). Повторение этих событий настолько частотно, что в ряде художественных текстов, описывающих провинцию, количество закономерностей является прогнозируемым и исчисляемым, что позволяет говорить об особом типе сюжета – провинциальном.

Освоенность этой модели времени демонстрирует ее значимость в русской литературе XIX в., открывая возможность для дальнейшего изучения

¹ Ср.: «...тетка Карандышева, барыни в крашенных шелковых платьях; разговор будет о соленых грибах» [9. С. 402]. Комплекс этих мотивов, по-видимому, восходит к главе 2 «Евгения Онегина» А.С. Пушкина.

² У. Брумфилд в своем исследовании назвал повесть В.А. Слепцова «человеческой комедией». Заметим, что объединяющее Слепцова и Хвоцинскую стремление создать «человеческую комедию» соответствует повествовательной стратегии «писать, как Бальзак». Кроме того, единый вектор такого повествования определяется эпилогом романа «Отцы и дети»: «Каждый прислуживал другому с забавною предупредительностью, точно все согласились разыграть какую-то простодушную комедию» [19. С. 185].

формы провинциального романа в контексте его семантической и структурной редукции.

В частности, этот неуловимый ток провинциального времени очень тонко чувствовал А.П. Чехов¹, многие рассказы которого, являя формальную противоположность провинциальному роману, представляют собой изображение тех же действий и тех же декораций на новом уровне постижения времени, литературы и жизни.

Литература

1. Анциферов Н.П. Проблемы урбанизма в русской художественной литературе: Опыт построения образа города – Петербурга Достоевского – на основе анализа литературных традиций. М.: ИМЛИ, 2009. 581 с.
2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975. 504 с.
3. Брумфилд У. Социальный проект в русской литературе XIX века. М.: Три квадрата, 2009. 272 с.
4. Козлов А.Е. К вопросу о модусах и повествовательной модальности провинциального сюжета русской литературы // Сиб. филол. журн. 2014. № 3. С. 110–116.
5. Крестовский В. [Хвошинская Н.Д.]. Последнее действие комедии // Крестовский В. Провинция в старые годы. Т. 3. СПб., 1884. 309 с.
6. Крестовский В. [Хвошинская Н.Д.]. Свободное время // Крестовский В. Провинция в старые годы. СПб., 1884. Т. 1. 249 с.
7. Кривонос В.Ш. Гоголь: миф провинциального города // Провинция как реальность и объект осмысления. Тверь, 2001. С. 101–110.
8. Милюгина Е.Г., Строганов М.В. Текст пространства: материалы к словарю. Тверь: СФК-офис, 2014. 368 с.
9. Островский А.Н. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. М.: Худож. лит., 1987. 527 с.
10. Печерская Т.И. Предмет как сюжетный маркер: сапоги в русской литературе 1840–1870-х годов // Сиб. филол. журн. 2014. № 3. С. 86–93.
11. Печерская Т.И. Разночинцы шестидесятых годов XIX в.: Феномен самосознания в аспекте филологической герменевтики. Новосибирск: Nonpareil, 1999. 300 с.
12. Писарев Д.И. Литературная критика: в 3 т. М.: Худож. лит., 1981. Т. 3. 360 с.
13. Пращерук Н.В. О пределах, избыточных формах письма и модусе невозможного: «Исповедь мужа» К. Леонтьева и «Вечный муж» Ф. Достоевского // Кормановские чтения. Ижевск, 2006. Вып. 6. С. 142–152.
14. Салтыков-Щедрин М.Е. Губернские очерки // Собр. соч.: в 20 т. М., 1965. Т. 2. С. 7–462.
15. Скабичевский А.М. История новейшей русской литературы. СПб., 1909. 542 с.
16. Скабичевский А.М. Литературные воспоминания. М.; Л.: Лит. фабрика, 1928. 360 с.
17. Слепцов В.А. Трудное время // Русские повести XIX века: в 2 т. М., 1956. Т. 1. С. 211–349.
18. Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860–1870-х годов. М.: Языки славянской культуры, 2003. 352 с.
19. Тургенев И.С. Собрание сочинений: в 30 т. М.: Наука, 1971. Т. 7. 527 с.
20. Чуковский К. Тайнопись «Трудного времени» // Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934. 310 с.

¹ Соотнесение прозы В.А. Слепцова с творчеством А.П. Чехова было осуществлено У. Брумфилдом. Западный литературовед обратился к поздним чеховским рассказам («Невеста», «Три года», «Моя жизнь») [3].

FORMS AND TYPES OF THE “PROVINCIAL CHRONOTOPE” IN THE RUSSIAN NOVELS OF THE 19TH CENTURY (V. SLEPTSOV AND N. KHVOSHCHINSKAYA)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 3 (41). 106–114. DOI: 10.17223/19986645/41/10

Kozlov Alexey E., Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: alexey-kozlov@rambler.ru

Keywords: Russian literature of the 19th century, provincial novel, provincial time, V.A. Sleptsov, N.D. Khvoshchinskaya.

The paper deals with the conceptions “provincial chronotope” and “provincial time” in the context of the Russian prose of the 19th century (novels *Svobodnoe vremya* [Free time], *Kto zh ostalsya доволен* [Who is glad], *Poslednee deystvie komedii* [Last act of the comedy] by Nadezhda Dmitrievna Khvoshchinskaya (Zayonchkovskaya), and *Trudnoe vremya* [Hard time] by Vasily Alekseevich Sleptsov). The definition “provincial time” is compared with the definition “provincial chronotope” in the context of Mikhail Bakhtin’s theory. As M. Bakhtin writes, “Time here is devoid of moving forward <...> Day is never a day, year is not a year, life is not life <...> It is ordinary, everyday domestic cyclical time. Time is uneventful and seems like it almost stopped <...> It is a thick, sticky time crawling in space.” The quote shows the provincial chronotope is a narrative. In fact, it represents a quasi-event as part of the indiscrete eternity. But the main part of the phrase is connected with the ontological character of the provincial time. The interpretation of the provincial chronotope as “ordinary, everyday domestic cyclical time” presents another phenomenon important for Russian culture. It can be called “everydayness”. In the paper, the provincial time is studied as a narrative, phenomenological and plot-forming category.

Despite the fact that Nadezhda Khvoshchinskaya and Vasily Sleptsov belong to different social, politic and worldview poles and types of literature, the sense of time, its phenomenology can be recognized as an integral feature. Their texts are characterized by common narration strategies that consist in the representation of everyday life, the implementation of the so-called “provincial plot” (close to Balzac’s *The Human Comedy*).

The esthetic worldview of Vasily Sleptsov is a chaos of material events; the art world of Khvoshchinskaya is the order of different elements. So, comparison of these texts from the esthetic point of view is not quite adequate. However, the definition of the category of time allows to find inner connections realized in the form as a self-contained element of a literary text rather than through the narration tradition. In the works under study, time is definitely spatial, and some time slots, representing a continuous existence, are virtually inseparable in the topology of the text.

The provincial chronotope, devoid of limits and abysses, presents reality as a sequence of senseless events and episodes where the human and humanity lose significance. The author believes it is in this context that we should understand Bakhtin’s statement about the provincial chronotope as “ordinary, everyday domestic cyclical time”. The development of this model of time demonstrates its importance in the Russian literature of the 19th century. In particular, Anton Pavlovich Chekhov felt this elusive flow of time very subtly, many of his stories represent the image of the same actions and the same decorations on a new level of understanding of time, literature and life.

In this case, the description of the provincial time should be taken into account as its essence is embodied, is fixed in the material substance. Results and observations of the research could be extended to other texts on “provincial” plots and could also be used in teaching the history of Russian literature of the 19th century.

References

1. Antsiferov, N.P. (2009) *Problemy urbanizma v russkoy khudozhestvennoy literature. Opyt postroyeniya obraza goroda – Peterburga Dostoevskogo – na osnove analiza literaturnykh traditsiy* [Urbanism problems in Russian literature. Experience in building the image of the city – St. Petersburg of Dostoevsky – based on the analysis of literary traditions]. Moscow: IMLI.
2. Bakhtin, M.M. (1975) *Voprosy literatury i estetiki. Issledovaniya raznykh let* [Questions of literature and aesthetics. Studies over the years]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
3. Broomfield, W. (2009) *Sotsial’nyy proekt v russkoy literature XIX veka* [Social projects in the Russian literature of the 19th century]. Moscow: Tri kvadrata.
4. Kozlov, A.E. (2014) *K voprosu o modusakh i povestvovatel’noy modal’nosti provintsial’nogo syuzheta russkoy literatury* [On the question of moduses and narrative modality of the provincial plot

in Russian literature]. *Sibirskiy filologicheskii zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 3. pp. 110–116.

5. Krestovskiy, V. [Khvoshchinskaya, N.D.] (1884) Poslednee deystvie komedii [Last act of the comedy]. In: Krestovskiy, V. *Provintsiya v starye gody* [Province in the old days]. Vol. 3. St. Petersburg: Izdanie A.S. Suvorina.

6. Krestovskiy, V. [Khvoshchinskaya, N.D.] (1884) Svobodnoe vremya [Free time]. In: Krestovskiy, V. *Provintsiya v starye gody* [Province in the old days]. Vol. 1. St. Petersburg: Izdanie A.S. Suvorina.

7. Krivonos, V.Sh. (2001) [Gogol: the myth of the provincial city]. In: *Provintsiya kak real'nost' i ob'ekt osmysleniya* [The province as a reality and the object of understanding]. Proceedings of the conference. Tver: Tver State University. pp. 101–110. (In Russian).

8. Milyugina, E.G. & Stroganov, M.V. (2014) *Tekst prostranstva: materialy k slovaryu* [Text of space: materials for a dictionary]. Tver: SFK-ofis.

9. Ostrovsky, A.N. (1987) *Sobr. soch.: V 3 t.* [Works: in 3 vols]. Vol. 3. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

10. Pecherskaya, T.I. (2014) Predmet kak syuzhetnyy marker: sapogi v russkoy literature 1840–1870-kh godov [Object as the plot marker: boots in Russian literature of the 1840s–1870s]. *Sibirskiy filologicheskii zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 3. pp. 86–93.

11. Pecherskaya, T.I. (1999) *Raznochintsy shestidesyatykh godov XIX veka. Fenomen samosoznaniya v aspekte filologicheskoy germeneytiki* [Intellectuals of the 1860s. The phenomenon of self-awareness in the aspect of philological hermeneutics]. Novosibirsk: Nonparel'.

12. Pisarev, D.I. (1981) *Literaturnaya kritika: V 3 t.* [Literary criticism: in 3 vols]. Vol. 3. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

13. Prashcheruk, N.V. (2006) O predelakh, izbytochnykh formakh pis'ma i moduse nevozmozhnogo: "Ispoved' muzha" K. Leont'eva i "Vechnyy muzh" F. Dostoevskogo [The limits of excessive forms of writing, and the modus of impossible: Confessions of a Husband by K. Leontyev and The Eternal Husband by F. Dostoevsky]. In: *Kormanovskie chteniya* [Kormanovskiy Readings]. Is. 6. Izhevsk. pp. 142–152.

14. Saltykov-Shchedrin, M.E. (1965) Gubernskie ocherki [Provincial Sketches]. In: Saltykov-Shchedrin, M.E. *Sobr. soch.: V 20 t.* [Works: in 20 vols]. Vol. 2. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

15. Skabichevskiy, A.M. (1909) *Istoriya noveyshey russkoy literatury* [The history of modern Russian literature]. St. Petersburg.

16. Skabichevskiy, A.M. (1928) *Literaturnye vospominaniya* [Literary memories]. Moscow; Leningrad: Literaturnaya fabrika.

17. Sleptsov, V.A. (1956) Trudnoe vremya [Hard Time]. In: *Russkie povesti XIX veka: V 2 t.* [Russian stories of the 19th century: in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury.

18. Sarygina, N.N. (2003) *Russkiy roman v situatsii filosofsko-religioznoy polemiki 1860–1870-kh godov* [Russian novel in the situation of philosophical and religious debate of the 1860s–1870s]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

19. Turgenev, I.S. (1971) *Sobr. soch.: V 30 t.* [Works: in 30 vols]. Vol. 7. Moscow: Nauka.

20. Chukovskiy, K. (1934) Taynopis' "Trudnogo vremeni" [Cryptography of Hard Time]. In: Chukovskiy, K. *Lyudi i knigi shestidesyatykh godov* [People and books of the sixties]. Leningrad: Izdatel'stvo pisateley.

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/41/11

И.И. Плеханова

КНИГА «СИБИРЬ, СИБИРЬ...» В. РАСПУТИНА КАК ЛИРИКО-ФИЛОСОФСКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ

Книга очерков «Сибирь, Сибирь...» рассматривается в статье как целостное высказывание о проблемах русской колонизации края и современной цивилизации, сосуществования человека и природы, провиденциальном смысле истории. Религиозно-философское миромоделирование определено как антропная теонатурфилософия – оправдание участия человека в двуедином сосуществовании Творца и природы. Определение жанра как лирико-философско-публицистического трактата фиксирует синкретизм образа мышления и высказывания автора: лирического – по типу рассуждения, философского – по проблематике и уровню миропонимания, публицистического – по способу изложения.

Ключевые слова: В. Распутин, «Сибирь, Сибирь...», жанр, антропная теонатурфилософия.

История написания. Книга «Сибирь, Сибирь...» [1] – последнее по времени написания и выхода в печать масштабное произведение В. Распутина. Книга имеет собственную историю: первая публикация в Москве в 1991 г. [2], воспроизведение с дополнениями в 2000 г. в Иркутске, выпуск радикально обновлённой окончательной редакции тоже в Иркутске в 2005 и 2006 гг. Оба варианта – по-советски красочное московское и два подарочных иркутских издания – богато иллюстрированы фотографиями Б. Дмитриева, спутника писателя в путешествиях по городам и рекам Сибири. Время работы над основным текстом – 10 лет для первого издания [3], с переработками за столом – практически 25 лет. Книга связывает три эпохи: начало пришлось на застойные советские годы, первая полная версия вышла в разгар смуты, окончательно текст оформился уже в период стабилизации. Инициатива написания исходила от государственного издательства с умеренно почвеннической программой: «Эта книга составлялась в течение почти всех 80-х годов, потребовались поездки, да и неоднократные, и на побережье Ледовитого океана, и в Горный Алтай, и в Тобольск, и в Кяхту. Откровенно говоря, это была инициатива издательства “Молодая гвардия” – в серии “Памятники Отечества” выпустить книгу о Сибири. Издательство оплачивало не только дорожные расходы, но и фотоплёнку. Тогда это было в порядке вещей: оно заказало книгу, и оно взяло на себя расходы по её подготовке, но вышла “Сибирь, Сибирь...” в самое неподходящее время: её представление, новоязом говоря, презентация, состоялась в начале сентября 1991 года, когда к власти только что окончательно пришли Ельцин и его камарилья. <...> Тираж не был напечатан до конца» [4. С. 3]. Издание 2000 г. на родине писателя было приурочено к Байкальскому экономическому форуму и поддержано областными властями, последняя версия вышла по инициативе предпринимателя и

книгоиздателя Г.К. Сапронова, в оформлении художника С. Элояна, лучшего иллюстратора распутинской прозы.

Так, появление развёрнутого концептуального высказывания о значимости родного края для страны и всего мира, о его прошлом, настоящем и будущем, об отношениях человека и природы, об угрозах современной цивилизации и путях спасения во многом обязано издателю. Но принцип решения темы и конкретное содержание определяются самим автором. В итоге книга состоит из 11 глав, каждая из которых самоценна, и почти все они печатались в журналах по отдельности. Начало повествования – собственный взгляд на сибирский миф, исторический очерк освоения русскими диких просторов («Сибирь без романтики» 1983), завершение – публицистическая характеристика состояния края в тревожном настоящем («Моя и твоя Сибирь» 1990, 2000). Между этими полюсами – представление городов, концентрирующих для автора сибирскую историю («Тобольск» 1967, 2005, «Иркутск» 1979, 2000, «Кяхта» 1985, 1995, 2005), перемежающееся описанием природных чудес («Горный Алтай» 1988, 1999, «Байкал» 1988, 2000, «Вниз по Лене-реке» 1993) и чудес рукотворных («Транссиб» 2005, «Кругобайкалка» 2005). Предпоследняя глава – о чуде сохранения русской самобытности, веры, языка и культуры, в отрыве от органичных природных и социальных условий – буквально на краю света («Русское Устье» 1986, 2000). Сложившаяся композиция иллюстрирует стержневую проблему – соразмерность человека и природы: это наличие необыкновенно богатых ресурсов, природных и человеческих, история как достойной реализации сил и возможностей, так и бездумной или преступной их эксплуатации.

Распутин сосредоточен на осмыслении таких традиционных аспектов сибирской темы, как чрезвычайные суровость и богатство края, особенность здешней человеческой породы, отношения русских сибиряков с государством и коренными народами, неизбежное положение колонии. Писатель почти не коснулся темы каторги и совершенно обошёл тему ГУЛАГа, хотя в последнем издании в главе «Моя и твоя Сибирь» помещена фотография «На месте Колымлага» [1. С. 565]. Главная беда для сибирского патриота – нынешняя незащищённость природы и положение народа на пространстве, которым через неправую власть распоряжается цивилизация эгоистического потребления. Финальные строки звучат как голос истерзанной земли: «Хозяина бы ей, заступника, умного строителя, доброго врачевателя! С лихвой натерпелась она от дуроломов и расхитителей. / Этот зов, тяжкий, как стон, истомлённый, как необвенчанность, и всеохватный, как последняя воля, и стоит сейчас немолчно над Сибирью: “дайте мне Хозяина!”» [1. С. 575]. Сознывая, но игнорируя отрицательные коннотации, связанные в России с понятием «Хозяина», Распутин-публицист рассматривал все факты, события и трагедии, прошлые и нынешние, под знаком религиозно-философского вопроса: способны ли человеческий разум и воля выстроить цивилизацию, соразмерную Природе как чудесному Божьему дару? Так книга, охватывающая временем написания тяжелейший период национальной истории, стала формой наиболее полного прямого высказывания автора. В ней раскрылась мировоззренческая система Распутина, её внутренняя выстроенность определила целостность художественно неоднородного текста.

Определение жанра. Книга «Сибирь, Сибирь...» как целое не имеет жанрового определения. Сам автор, говоря об отдельных текстах, называл их очерками [4. С. 4]. Первый и единственный исследователь публицистики Распутина П.П. Каминский отнёс «цикл очерков о Сибири» [5. С. 144] к историческо-философской прозе, концепция которой «может быть реконструирована» на всех уровнях: региональном, национальном и глобальном [5. С. 143]. Действительно, система взглядов не заявлена доктринально. Жанровое разнообразие очерков тоже не позволяет унифицировать модус высказывания. «Сибирь без романтики» и «Тобольск», открывающие книгу, обращены вовне и написаны как исторические очерки-обозрения основных вех колонизации, её опасностей, движущих сил и главных действующих лиц. «Вниз по Лене-реке» – лирическая проза, описание сверхрискованного спуска по бурному потоку как духовного спасения от политической катастрофы 1991 г. Другие очерки сочетают концентрированную информацию с проникновенной живописностью, богатую фактологию, неназойливую, но красноречивую статистику с пафосной риторикой при обсуждении острых проблем, фиксация имён преступников против природы и национальных интересов оттеняется краткими, но выразительными портретами реальных подвижников – и все тексты пронизаны авторскими рассуждениями или обличениями, переходящими в проповедь. Таковой, по сути, является финальная часть – «Моя и твоя Сибирь», показывающая, что острые вопросы, поставленные в XIX в. идеологами сибирского самосознания: положение колонии, непросвещенность общества, эксплуатация природы, отношения с инородцами не только не решены к началу XXI в., но усугублены усилиями внешних врагов и внутренним неразумием, хищничеством насильников над природой и историей.

Дискурсивная полифония отражает напряжённое развитие мысли и страстный политический темперамент Распутина, избличавшего противника и требовавшего мобилизации сил сопротивления, духовного и социального. Но не только публицистическая резкость мешает безоговорочно возвести текст в статус строго продуманной историческо-философской концепции. Очевидно авторское тяготение к мифу, расположенность к нему как источнику информации. Так в обсуждении разбойного прошлого Ермака писатель перекрывал доводы учёных аргументом поэтизированной памяти – исторической песней, в которой атаман просит прощения от царя в обмен на «гостинец» – «Сибирскую сторону»: «Не надёжней ли в этом факте положиться на народную память и народное чутьё, которые редко раздавали понапрасну подобные доблести?» [1. С. 17]. Более того, автор сам инициировал миф о гордом происхождении имени атамана, ибо его не устраивала обыденная этимология, возводящая прозвище к названию артельного котла – будто бы Ермак «в молодости кашеварил в волжской ватаге» [1. С. 61]. Предлагается гораздо более почётная версия: «Но в татарском языке есть это слово, означающее прорыв, проран. И если согласиться с историком XIX века Павлом Небольсиным, что Ермак и прежде своего звёздного прорыва бывал на Чусовой и знал пути в Зауралье, не мог ли он в таком случае сталкиваться с татарами в коротких набегах раньше и получить свою кличку от них за военную удаль?» [1. С. 61]. Знакомство с трудом историка [6], не переиздававшимся с 1849 до 2008 г. и даже не упоминавшимся в академической «Истории Сибири» (1968) [7], актуали-

зация малоизвестных источников, близких собственному пониманию, свидетельствует о глубокой проработке материалов¹, но – исходя из своей позиции.

Распутин вообще больше доверял историографии XIX в., упрекая своих современников в погоне за оригинальностью трактовки давно известных фактов. Так он оценивал споры о значении сражения у Чувашского мыса и захвате кучумовской столицы Искера, игнорировавшие изложение событий в Кунгурском летописце². Распутин скептически оценивал новации XX в. как недоверие народной памяти: «Но уже пошло подхватываться из книги в книгу: не Ермак сбил с сибирского куреня Кучума, а Кучум отдал его чуть ли не добровольно. Бои происходили позже. Казакам, оставившим воспоминания, ни в чём доверять нельзя. Вот что значит привнести в историю увлекательную новизну» [1. С. 62]³.

Сам писатель позволял себе апеллировать к сомнительному источнику, если он был близок желанной картине мира. Рассказывая о жизни «досельных людей» в Русском Устье, Распутин не без иронии, но всё-таки ссылается на псевдодокумент: «Три мира, если верить “Велесовой книге”, было у древних славян: Явь – мир видимый. Навь – потусторонний и Правь – мир справедливости. Явью от Русского Устья остались вот эти две заваливающиеся постройки из хозяйства Шелоховского, наполовину погружившиеся в Навь, откуда она и начинается и продолжается полноправно неподалёку сухоступом кладбища. <...> ...как возданная Правь, одиноко торчит памятник Русскому Устью – сварной металлический лист в виде паруса на коче. Надпись говорит: “Здесь находилось старинное селение Русское Устье, основанное Иваном Ребровым в 1638 году”» [1. С. 547]. Упоминание с оговоркой псевдопамятника русского язычества хотя бы и по печальному поводу, с ироническим подтверждением его правоты, не остаётся приёмом красноречия, поскольку Русское Устье для писателя – пример органичности двоеверия как условия выживания этноса в диалоге с беспощадной природой: «...ничего не оставалось, как впустить в себя тундру в той же мере, как земля здесь впустила воду» [1. С. 506].

Как художник и мыслитель, Распутин не доверял рациональному миропониманию, подозревая его в спекулятивности, а не в приверженности истине. Он был убеждён в правоте предания русскоустыинцев о приходе их предков, спасающихся от притеснений Ивана Грозного, на Индигирку по воде, вдоль полярного побережья, т.е. независимо от государственной воли и лет на 10 раньше похода Ермака. Обосновав достоверность предания косвенно – особо давней, аборигенной укоренённостью в природу и непохожестью на жителей других русских поселений, Распутин ставит вопрос прямо, требуя

¹ Личная библиотека писателя включает «много книг по истории Сибири (начиная с редких трудов Миллера) и Государства Российского» [8].

² «Летопись сибирская краткая кунгурская», её принято считать записью свидетельств участников похода, составленной «из легенд и преданий, рассказываемых уральцами и сибиряками <...> не позднее 20-40-х годов XVII в.» [9. С. 74].

³ В. Распутин не приводит ни имён, ни аргументов «новаторов», но основание для недоверия профессиональным историкам у него, видимо, было: так автор учебного пособия 2013 г. контаминировал сражения 1582 и 1583 гг. с участием Маметкула, любимого племянника Кучума, после пленения которого хан «вынужден был оставить свою столицу Кашлык» [10. С. 65–66].

доверия к народной памяти как жизненно важному знанию: «А теперь спросим себя: почему мы так подозрительны к преданию? Разве в большинстве случаев не доносит оно до нас подлинные события из времён самых древних, даже и ветхозаветных? Предание – не фольклор, не слух или красивая байка, это не художественная, а историческая память, почему-либо не записанная или не могшая быть записанной. Оно и вообще очень отборчиво к факту и берёт факт значительный, переломный, подлежащий не украшательству, но передаче по цепочке <...> Это материал житейского, будничного покроя, отличающийся от праздничного рубищем и простошивом» [1. С. 496]. Если истинность народного представления и понимания собственной истории, по Распутину, обусловлена и обеспечена насущными жизненными интересами, осознана и закреплена коллективным разумом, то очевидно, что и в своей историософии писатель следовал концептуальной установке на сакрализацию памяти.

Итак, даже рассматривая книгу «Сибирь, Сибирь...» структурно – как свод очерков, тематически – как рассказ о проблемах освоения края, концептуально – как историософское осмысление процесса обживания русским этносом нового пространства, необходимо определить генеральную идею, исходя из которой писатель рассматривает все аспекты этого процесса. Развёрнутый авторский текст, раскрывающий фундаментальную проблему в разнообразии её аспектов, принято называть трактатом. Возможность применения такого нелитературного жанрового определения по отношению к книге распутинских очерков требует доказательств.

Содержательная характеристика трактата как жанра указывает на масштабную тематическую заявку, разрабатываемую с сугубо личностной позиции: это «философское, теологическое или научное сочинение, содержащее изложение конкретной темы или постановку, обсуждение и разрешение проблемы. Характерной чертой Т. является его специализация; он пишется, как правило, с целью представить авторские взгляды по поводу избранной темы. <...> Среди особых признаков Т., прежде всего, следует указать на авторскую трактовку темы или проблемы, которая доминирует по отношению к источникам и мнениям, используемым в Т. Разработка темы Т. определяется целостностью замысла автора, претендующего на ее продуктивную трактовку (интерпретацию)» [11]. Исходя из особенностей распутинских рассуждений на общественно-политические темы, книга «Сибирь, Сибирь...» может быть определена как лирико-философско-публицистический трактат. Жанровое определение, предполагающее системность авторских идей, нуждается в системном подтверждении, т. е. в характеристике дискурсивного мышления автора и картины мира, обусловленной интеллектуально-эмоциональными установками писателя.

Образ мышления и высказывания. Мышление Распутина-публициста прочувствованно, поучительно, красноречиво как проповедь истины. Установка на учительность – принцип высокой художественности и условие исполнения социальной миссии литературы, как это декларировано в «Моём манифесте» (1996): «Кафедра (назовём так литературу) допускала разные мнения, но разноречивость в переломные моменты способна восприниматься только с одним знаком. <...> Наступила пора для русского писателя вновь

стать эхом народным» [12. С. 89]. Публицистика тем более ответственна за слово и дело. Учительность как будто противоречит тезису, что система распутинских взглядов не заявлена доктринально, но может быть реконструирована и описана в терминах. Так отмечено: показывая сибиряка как русского человека, способного реализовать волю к свободе и жизнестроительству, писатель рассматривает роль Сибири в истории России в «национально-культурном и антропологическом аспектах» [5. С. 144]. Идея, действительно, не заявлена в строгих формулировках, но ясно проступает в логике авторских рассуждений.

Мышление писателя идеоцентрично постольку, поскольку логоцентрично, ибо слова и рассуждения, по Распутину, самобытны и обладают собственным нравственным потенциалом – разумеется, это слова, значимые для самого писателя. Художественная доминанта сознания, опирающегося на веру, по-своему решает противоречие между изначальностью смысла и содержательностью формы. В гносеологическом плане Распутин стихийный реалист¹, не чуждый номинализму, – и это одно из проявлений дуализма его сознания. В размышлениях писателя о роли Сибири в истории человечества она видится столь значимой, что имя края возводится в степень универсалии – сверхценной субстанции смысла. Таким рассуждением-декларацией начинается книга: «Слово “Сибирь” – и не столько слово, сколько само понятие, давно уже звучит вроде набатного колокола, возвещающая что-то неопредёленно могучее и предстоящее» [1. С. 5]. Примечательно построение ключевой фразы: она начинается со «слова», которое потом уточняется до «понятия», но «понятие» не может «звучать», слабо или мощно, звучит только «слово “Сибирь”» – и круг замыкается, фиксируя внутренней логикой, вопреки оговорке, самобытность слова-логоса. Подтверждение тому – эпиграф, открывающий главу «Сибирь без романтики» и вместе с ней всю книгу. В.К. Андриевич, представленный как «историк Сибири»², тоже подчёркивает судьбоносность имени: «Это громадное пространство носит общее прозвище Сибирь, с которым, вероятно, и останется навсегда, потому что ничего, кроме Сибири, из него выйти и не может» [1. С. 5]. Фраза принадлежит не самому авторитетному из историков³, очевидно, Распутин ценил единомышленника, близкого гражданско-патриотической позицией, который выразил дорогую для писателя идею предопределения, связанную с именем загадочным, самобытным, ничем не отменяемым – ни историческими сдвигами, ни человеческим неразумием.

¹ Реализм – «направление мысли, основанное на презумпции наделения того или иного феномена онтологическим статусом независимой от человеческого сознания сферы бытия. <...> ... конституируется в рамках средневековой схоластики в борьбе с номинализмом по проблеме универсалий. Если номинализм трактует последние как имена (nomina) реально существующих единичных объектов, то Р., напротив, базируется на презумпции объективной реальности универсалий (universalia sunt realia)» [13. С. 823].

² В.К. Андриевич (1838–1998) – профессиональный военный, доброволец войны на Балканах 1876 г., участник русско-турецкой войны в 1877–1878 гг., в звании генерал-майора занимался реорганизацией Забайкальского казачьего войска, изучение истории которого побудило к написанию ряда обзоров, в том числе 6-томного «Исторического очерка Сибири» (1886–1889).

³ В академической «Истории Сибири» упоминается о «компилятивных и крайне ограниченных по привлечённым материалам трудах В.К. Андриевича» [7. С. 16].

Причина веры Распутина в онтологический статус слова и понятия, означающих явление Сибири, – его убежденность, что идеальное, в том числе этика, не только включено в онтологию, но является её основной, а потому и направляющей силой. Слово-имя, достойное онтологии, с ней резонирует и потому транслирует её импульсы. Так и Сибирь: «Она сама вошла в жизнь и интересы многих и многих – если не как физическое, материальное понятие, то как понятие нравственное, сулящее какое-то неясное, но желанное обновление» [1. С. 7]. В данном случае благо обеспечено природными ресурсами, ибо в будущем край мог бы «явиться воистину целебной и спасительной силой» [1. С. 7], но знаменательно, что нравственное у Распутина отождествляется с физически необходимым. Так объединяются два безусловных начала – этика и животворность.

Этика, исходящая от онтологии, императивна, и мышление у Распутина – не диалектический поиск вечно обновляющегося знания, не испытание границ возможного, а уяснение предуказанных истин и степени собственного им соответствия. Этот принцип познания-существования имеет отношение не только к природопользованию. Так автор объяснял тупик цивилизации: «Мы в сущности остались без истины, без той справедливой меры, которую отсчитываем не мы, а которую отсчитывают нам» [1. С. 473]. Соответственно, вопросы, которыми задаётся автор текста, оказываются не эвристическими, а риторическими, например: «Мы получили, что хотели, и чего мы теперь добиваемся, почему чувствуем себя покинутыми и несчастными?» [1. С. 473]. Автор сознаёт, что такой тип вопрошания неплодотворен, но в онтологическом пространстве должного, куда он помещает человека, иных вопросов не задать – и псевдовопрошание воспринимается как ложная работа ума: «Опять вопросы. Неотвеченность, невозвращённость, недорождённость мысли в вопросах, следующих один за другим, – та же свалка, замусоренность “пространства”, та же экология думания, расстроенность его и бесплодность. Где, в каком пространстве следует остановиться и вернуть утерянную опорность, прежде чем двигаться дальше?» [1. С. 473]. И этот вопрос тоже риторический, поскольку вслед за ним сразу следует ответ – он указывает и на пространство божественной премудрости как источник знания, и на сам инструмент познания.

Божественная премудрость сотворила человека и указала пределы сугубой рациональности: «Человек, надо полагать, задуман как совершенный инструмент. И разум ему был дан только в соединении с душой, в пропускании через душу, как через крещение, всякого замысла, в приготовлении предстоящего действия для омытой цели. Разум предлагает, душа отбирает и направляет разум. Те чудесные, грустные и ликующие звуки, которыми способен звучать человек в страдании и радости, изливаются из его души; там струны, там и смычок, там небесное дуновение и водит этим смычком. Человек, сознательно и бессознательно потерявший душу, теряет и себя, он уже не человек, а только подобие человека, как в человеке он был подобием Божиим, то есть падает сразу на ступень, для которой потребовалось больше тысячи лет. Без души за свои действия он отвечать не может; он расчеловечен, невменяем и готов на всё» [1. С. 473–474]. Такая модель когнитивной и любой деятельности, построенная на религиозной антропологии, апеллируя к

душе как идеальному, богодухновенному началу в человеке, предполагает интуицию единственным способом познания. Для разума как интеллекта не указано никакой собственной цели, кроме прикладной, но насущной – приспособления духовного существования к земным условиям. Трагедия разума даже не предполагается, ибо испытание дара свободы расценивается как тяжкий грех богоотступничества: «Безумие происходит не от недостатка разума, не оттого, что разум, как вождь или царь, “не в курсе”, а от тирании вышедшего из-под контроля, переродившегося, злокачественно разбухшего “разума”, того, что от него без души осталось» [1. С. 474].

Но при изобличении загордившегося рацио перед писателем, исповедующим Слово и убеждённым в его промыслительности, встаёт проблема оправдания не рассудка, но антропологического имени человека, явно указывающего на «чело» как средоточие мысли. Возникает внутреннее противоречие: Распутин-судия отказывает современному человеку в разумности, Распутин-проповедник не может не защитить, ибо имя дано свыше. Сознание проповедника решает задачу, поднимая проблему на другой уровень обсуждения, автор задаётся ещё одним болезненным риторическим вопросом: «И где же, в чём спасение, есть ли оно? Этот вопрос и звучит беспомощно – как из пустыни, из ничего, из обезжизненного пространства, куда, словно в могилу, опадают неоплодотворённые завязи людских дел и мыслей» [1. С. 475]. Ответ справедлив, но решается в логике риторики: «Спасение негде больше искать, как в человеке. Это ненадёжное место, но другого и вовсе нет. Оно может быть только *в том человеке, который выпадает из своего имени, ибо не в нём чело и дух нашего прыткого века* (курсив мой. – И.П.). Образ и дух времени, как это ни прискорбно, – в рабе нечеловечьего, в человекоотступнике, в сплотившихся в “передовом человечестве” шулерах, ведущих кругосветную подложную игру с небывалыми ставками. <...> Но не по числу, не по множеству даётся *суть, из которой выписывается имя* (курсив мой. – И.П.), и согласиться и попустить, чтобы человекоподобные присвоили и унесли с собой *звание человека, сложенное из Божественного замысла* (курсив мой. – И.П.), значит всё предать, всё отдать – и прошлое, и будущее – и окончательно поклониться...» [1. С. 475]. Риторика красноречия не видит логической неувязки в том, что на праведного «человека, который выпадает из своего имени», ибо «чело и дух нашего прыткого века в рабе нечеловечьего» возлагается надежда спасти от «человекоподобных» «звание человека, сложенное из Божественного замысла». Очевидно, борьба идёт за реабилитацию имени как призывания Человека.

Разбор этого отрывка имеет значение как пример реализации мыслительного принципа: «Разум предлагает, душа отбирает и направляет разум» [1. С. 473]. Пронизанная болью душа писателя направила рассуждающий разум на решение проблемы оправдания надежд на человека – ради спасения Божественного замысла и спасения самой души, не желающей «окончательно поклониться»: «Пусть нечистый своему *излюдевшему* (курсив мой. – И.П.) подданству вытягивает имя из собственного словаря, мы останемся людьми» [1. С. 478]. Этот призыв, равный, по сути, формуле отречения от сатаны, показывает и масштаб замысла, определяющего значение книги «Сибирь, Сибирь...». Призыв прозвучал в главе «Вниз по Лене-реке», первые публикации

которой пришлось на лето 1993 г. [13. С. 270], а содержание передаёт степень трагического отчаяния, с которым Распутин переживал события в стране. Дата путешествия не указана, говорится только о том, что действие происходит в конце августа [1. С. 438], упоминаются многотысячные демонстрации в Москве, видимо, после путча 1991 г. (август 1992 г. был спокоен). Высокий накал чувств передаёт сравнение себя и проигравших единомышленников с отверженностью праведников: «Человек к человеку, человек к человеку, друг друга замечая, понимая, друг другом прирастая, общностью облегчая мучения... С неколебимостью первых христиан, которые поверили в Спасителя, верящих в воскресение Человека, готовых во имя его на гонения и проклятия, на любые претерпения, от жертвы к жертве укрепляющихся духом, усиливающих подвигом стояния... как первые христиане. И так, с муками, стонами и надеждой до тех пор, пока новый император Константин в своём отечестве не возрадуется спасённому человеку и дело спасения не объявит государственной религией» [1. С. 478].

Сила чувств, перенапряжение боли, пафос жертвенной избранности – совершенно иная коммуникативная установка по сравнению с почти эпическим началом книги, когда писатель уверенно говорил от лица всех сибиряков: «И то, что пугает в Сибири других, для нас не только привычно, но и необходимо: нам легче дышится, если зимой мороз, а не капель; *мы* (курсив мой. – *И.П.*) ощущаем покой, а не страх в нетронутой, дикой тайге; немереные просторы и могучие реки сформировали *нашу вольную, норовистую душу* (курсив мой. – *И.П.*)» [1. С. 7–8]. Оказавшись на Лене, автор по-прежнему вполне свободен в дикой тайге, но всё непримиримее в своём отношении к цивилизации: «Завтра в город – в ссылку, на каторгу, под инквизицию» [1. С. 470]. Вольность души проявляется теперь не в поведении, не в обычной жизни, а в противостоянии – в духовной брани, на которую вышел автор, и «мы» как субъект коллективного сознания объединяет только героев сопротивления, а миссия художника – спасение-сплочение посвящённых.

Разнородность стилистики, эволюция авторского мирочувствования, контраст рассуждения и «стоны» – всё это как будто исключает восприятие книги публицистики как художественного целого, тем более определение её как «трактата». Но усугубление трагического мирочувствования не отменяет единства миропонимания и продиктованных им целей, которым автор следует упорно и реализует их сообразно своему образу мышления. Рассмотрение особенностей художественного высказывания Распутина, проявившихся в книге «Сибирь, Сибирь...», показывает преобладание лирического характера мышления: апология чувства, души, интуиции, сопереживания как пути к истине, пристрастный анализ социальных событий и проникновенное отношение к природе, сакральное восприятие Слова и авторское распоряжение им, прямая заявка на субъективность, личностную определённую рассуждений, переходящую в мессианскую проповедь. Лирическая открытость соприродна публицистике, но субъективность определяет и философскую позицию.

Религиозно-философская модель мира. Взгляды Распутина соединяют православную и природную религию, связывая воедино абсолюты христианской веры и признание самобытной, более того – духовной жизни природы.

Человек как творение Божие наделён свободой воли, но не цельностью, и говоря о «нас, малых и дробных, на краткий миг приходящих в мир» [1. С. 308], писатель уверен в возможности обрести себя, неслучайного и полного, в диалоге с обоими высшими началами или окончательно потерять – в случае разрыва. Самобытность природы в отношениях с Богом не обсуждается, она остаётся Его творением, но наличие у неё собственного сознания, воли, заинтересованности в человеке тоже принимается как данность. Распутин убеждён в этом на уровне чувств, он не задаёт вопросов о причинах дуального устройства мира, но вынужден решать вопрос об идентификации собственного двоеверия – есть ли это широко распространённый компромисс язычества и христианства или некая особая модель дуализма?

Религиозная позиция художника, принявшего крещение в 1980 г., была напрямую высказана в постсоветской публицистике («Ближний свет издалека» 1991 и др.), и она не ощущала никакого противоречия с уже разработанной в прозе метафизикой [15] природы, наделённой сознанием. Так был сформулирован императив и условие творчества – соединение «с общим народным и природным чувствилищем», в которые писатель верил «не меньше, чем в совесть и истину, в которых они, может быть, проживают» («Вопросы, вопросы...» 1987, 1997) [13. С. 483]. Но вопрос о совместимости христианского монотеизма и веры в сознание природы всё-таки потребовал разрешения. Осторожный ответ дан в главе «Байкал» (1988, 2000), где природе отведена роль медиатора, но с безусловно самобытной волей: «*Быть может* (курсив мой. – И.П.), между человеком и Богом стоит природа. И пока не соединишься с нею, не двинешься дальше. Она не пустит. А без её приготительного участия и препровождения душа не придёт под сень, которой она домогается» [1. С. 290]. Соединение возможно только через многосложное сопереживание.

Писатель анализирует состояние природы, погружаясь в собственные интуиции, уверенный в адекватности чувствующего способа познания предмету познания. Лирическое, страдающее сознание особенно чутко к сокровенным процессам, и природа готова открыться родственной душе, что и ощутил беглец от больной урбанистической цивилизации: «Если из уродливого скопища людей в таёжное безлюдье – это из мира в мир, то я чувствовал себя ещё дальше, ещё глубже, в каком-то третьем измерении бытия, среди необузданных стихий, схоронившихся тайн и в первородной мистической жизни» («Вниз по Лене-реке» 1993) [1. С. 428]. Определение средоточия тайн как «какого-то третьего измерения», очевидно, ещё одна попытка найти слово для обозначения самобытных процессов, происходящих в природе. В лирическом рассказе «Что передать вороне?» это было «чувствилище» – особое измерение над Байкалом, куда залетела душа автора. Теперь это встреча в дремучей тайге с «первородной мистической жизнью» – и знаменательно её «заземление», и также включённость автора в тайное движение сил, названных здесь «стихиями».

Наконец писатель произносит слово «язычество» – как возможный упрёк себе за одушевление природы. Но осуждающий смысл слова видится ему малодушным уклонением от диалога со «схоронившимися тайнами»: «...боимся задержаться и убедиться в неспособности понять. Отойди я сейчас

в лес и заговори среди деревьев, обращаясь к ним, я и сам себе покажусь странным и застыжусь себя. Хотя странность моя или сторонность от нужного дела в том, быть может, как раз и заключается, что я, обязанный ему, не решаюсь высказать благодарность для своего же одушевления. Язычество?» («Вниз по Лене-реке» 1993) [1. С. 457]. В последних по времени написания главах книги поклонение природе воспринимается не как грех отступления от монотеизма, но как нравственный императив восхищения красотой и мощью. Так писатель представляет встречу православного воинства с Байкалом в 1904–1905 гг.: «Более миллиона русских солдат проследовали этим путём на фронт, и не могли они здесь, на этом величественном перевале, наверняка казавшемся им населённым духами, не оставить своих заклинаний, а затем, возвращаясь, кому суждено было вернуться, не могли не поклониться за спасение» («Кругобайкалка» 2005) [1. С. 355].

Язычество как молитвенное отношение к природе, по убеждению Распутина, не может быть осуждено Творцом этого мира. Более того, Он санкционирует его как заповедь – через язык, угадывающий Божью волю: «...мечет в малых речках икру рыба – это начало и развод, обитель и исход третьего среди равных даров жизни – дара природного семени. И человек здесь не лишился рассудка, если взял тот край под охрану и учёбу. Заповедник – соблюдающий заповедь Божью по отношению к творному и тварному миру» («Вниз по Лене-реке» 1993) [1. С. 432]. Распутинская этимология подчиняет смысл своим ассоциациям, которые призваны доказать идею опосредующей роли природы, транслирующей Божью волю и побуждающей человека развивать своё сознание в диалоге с внешним миром. Поэтому язычество *не как вера, а как знание* – императив для выживания в условиях, постоянно испытующих человека на чуткость к внутренней жизни окружающего мира. Это чувство развили в себе преданные православию русские обитатели Крайнего Севера, «полностью соединившиеся с сендухой. <...> Сендуха – это “стихия”, как говорят местные, единый дух, владеющий землёй и водой, тьмой и светом» («Русское Устье» 1986, 2000) [1. С. 505]. Здесь жизнь зависит от интуиции – знания души, которое приоритетно для Распутина, как и для «досельных» православных обитателей тундры: «Чутьё ценится здесь как талант, дающийся от Бога, а Бог рассматривается как сила, в которой издолжно участвует и сендуха» [1. С. 511]. Наконец, чудесный русский язык русскоустинцев – посредник между ними и тундрой, это «неразделимое сочетание человеческих и природных интонаций, сливающееся в одно глухое, шебуршащее звуковое движение» [1. С. 498] – такова степень резонанса речи и природы.

Очевидно, слово «язычество» уже в силу своего корня не может отвратить писателя, ибо под ним он понимает не заблуждение, но насущное требование жизни. Религиозная непримиримость Распутина направлена против цивилизации, забывшей Бога, – и в книгу о Сибири входит пассаж-изобличение урбанистической массовой культуры: «А разве дикие пляски и крики волосатых издергаев, нечистого ради юродивых, перед многомиллионной аудиторией не есть вселенское тупое идолопоклонство?! Господи, да здесь даже вспоминать о них грешно» [1. С. 457]. Этот эпизод подан как внутренний монолог, в нём язычество противопоставлено идолопоклонству и

тем оправдано, автор, воспринимая природу как храм, тут же открестился от бесовского мора.

Пассаж красноречив не только демонстрацией религиозного темперамента автора, он проявляет генеральную идейную установку: человеческая цивилизация должна развиваться как жизнестроение, подчинённое свыше предуказанным смыслам и в резонансе с требованиями природы. Должное оставляет место свободе – но это личное самосознание в исполнении должного. Ради проповеди такого миропорядка написана книга «Сибирь, Сибирь...», и, поскольку отбор материала, интерпретация фактов, сама композиция служат воплощению идейной установки, это позволяет назвать весь текст трактатом. Принципиальной новизны в религиозном понимании смысла истории нет. Оригинальность распутинского трактата в демонстрации фактов, подтверждающих идею соединимости Божьего и человеческого в жизненной практике, возможность совпадения в одном «творного и тварного», одухотворения исторических процессов. Принципиальная значимость – в опоре на русский опыт освоения Сибири, проживания в контакте с природой и здешними народами. Опыт рассматривается объективно – в удачах и преступлениях, великих завоеваниях и не менее масштабных провалах.

Распутин выдвигает идею, которую можно определить как *антропную теонатурфилософию*, т. е., проще говоря, оправдание участия человека в двуедином согласии Творца и природы. Он доказывает жизненную правоту идеала фактами большой истории и деяниями отдельных людей. Так актуализируется значимость национального опыта и тем самым обосновывается возможная роль России и русского народа в истории человечества, потенциал Сибири в обеспечении общих насущных потребностей, возможность выхода из тупика априродной цивилизации.

Историософия как антропная теонатурфилософия и проповедь призвания человека. Проповедь призвания человека в конце XX в. не означает антропоцентризма, но не исключает человека из действующих сил мироздания. Антропный принцип в космологии и философии воплощает в себе «идею взаимосвязи человека и Универсума» [16. С. 51], необходимость присутствия человеческого разума в мире, хотя бы и без качественной оценки результатов. Теонатурфилософия Распутина, по существу, антропна: она указывает на согласие высших и природных сил и их заинтересованность в человеке, но она имеет практическое продолжение – требует культивирования тех форм деятельности, которые отвечают общим интересам всех начал.

Первое следствие этого взаимодействия – неслучайность исторического процесса в единстве места, времени и действия. Так Распутин объясняет причину вступления русских в Сибирь и невероятную энергию продвижения по безмерному непроходимому пространству. Допуская среди мотивов и погоню за богатством, и необходимость контратаки против набегов, писатель не менее важным считает неуёмную волю к познанию, отклик на слухи о великих реках (река – стержневой образ в собственной картине мира писателя [17, 18]). Так эмоционально объясняется судьбоносное устремление на восток: «Нет, не в русском характере здесь усидеть в спокойствии, ожидая указаний, не в русской стихии быть благоразумным и осмотрительным, оставив родное “авось”. Можно быть уверенным, что не только корысть направляла казаков

и не только, что уже благородней, дух соперничества в первенстве двигал ими, но и нечто большее. Здесь было словно волеизъявление самой истории, низко склонившейся в ту пору над этим краем и выбирающей смельчаков, чтобы проверить и доказать, на что способен этот полусонный, по общему мнению, и забытый народ. Тут немалой частью энергии для столь могучего порыва явилось народное самолюбие» [1. С. 23]. С научных позиций провиденциальное понимание событий оценивается как «средневековая идеологическая концепция» [7. С. 10], представленная, например, в Есиповской летописи. Особенность распутинской трактовки – соединение идеи провиденциальности с признанием народной инициативы как главного движителя событий (идея Кунгурского летописца). Для выходца из крестьян и идеолога земледелия как природной формы жизнедеятельности принципиально важно, что «русской и оседлой Сибирь сделали не воины, не служивые, промысловые и торговые люди, а хлеборобы. <...> Этот тихий и незаметный, как прежде говорили, угодный Богу труд сделал решающее дело. В конце концов Сибирь покорила тому, кто её накормил» [1. С. 24]. Благотворность прихода русских была и в том, что они прекратили этнические распри: «В ту пору, когда в России всё ближе придвигалось Смутное время, в Сибири смуты всё больше затухали, дальше на восток столь организованной силы, как у Кучума и его наследников, больше не существовало» [1. С. 68]. В этом учёные и художник приходят к одному мнению: «Разгром Кучума расчистил дорогу для массовой народной колонизации края» [7. С. 31]; «Главной силой, участниками и вдохновителями коренных перемен в Сибири были мирные российские поселенцы» [10. С. 75].

Вторая идея – выработка особой человеческой породы при реализации высшего промысла и во взаимодействии с природой. Таковы характеристики сибиряка прошлых веков: «неслучайность, глубокая и прочная укоренённость на этой земле, совместимость человеческой души с природным духом» [1. С. 33]. Здесь естественно разрешаются проблемы личностного самосознания, духовная суверенность выстраивается в сотрудничестве и в ответственности перед общим делом: «Без взаимовыручки и общинного духа обойтись здесь было труднее, чем где-либо в другом месте, и этот общинный дух, как ни странно, прекрасно уживался в сибиряке рядом со скрытностью и *индивидуализмом* (курсив мой. – И.П.): одно – для связи с миром понятным и привычным, другое – для всего, что представлялось посторонним и подозрительным и чего в Сибири хватало с избытком» [1. С. 36–37]. Индивидуализм, очевидно, понимается как личностное самостоянье, здоровый консерватизм, критическое сознание и умение найти практический критерий истины.

Третья идея – сотворчество человека с природой, тоже отмеченное провиденциальностью. Пример тому – старые города Сибири и великая Транссибирская магистраль с Кругобайкальской железной дорогой, а также неустанная работа подвижников на земле и в общественном служении. Писатель убеждён в заинтересованности высших и природных сил в сотворении красоты, объединяющей человека и мир, и в чуткости давних строителей к импульсам, идущим извне. Так древний Тобольск «картинен» «красотой и вдохновенностью природной, которую умело подхватил, не споря с творцом, человек» [1. С. 65]. Провиденциален выбор места: первая столица Сибири

должна была увенчать память о судьбоносном сражении. Автор как будто читает помыслы основателей: «Нет, не могли, возводя крепостцу, не чувствовать казаки соседства Подчувашей, где выиграна была главная сеча: «Понеже ту бысть победе и одолеси окоянных... вместо царствующего града Сибири (Искера) старейшина бысть сей град Тобольск...» [1. С. 65]. Ссылка на летопись звучит как заклинание, и это не случайно, ибо поэтическое сознание автора убеждено, что русское слово и дело призваны справиться с внечеловеческой мощью. Так описывается тяжкая, но стремительная эпопея прокладывания Транссиба по вечной мерзлоте и в диких дебрях: «Всего можно было ожидать от воистину загадочных и мистических сил на огромных малозаселённых и почти совсем не изученных пространствах. Не зря говорят, что в звучании слова “Сибирь” слышится рык – вот он и прозвучал, когда ступили на неё торопливо и больно» [1. С. 138].

Строительство Транссиба для Распутина – пример взаимодействия инженерного гения и интересов культуры, когда через Енисей и Амур возводились чудо-мосты, а рядом с железной дорогой строились церкви и школы. Создателям Кругобайкалки, проходящей через туннели и скалы, удалось «вписать красоту в красоту» [1. С. 344], в жизни дороги вошли в резонанс «плеск и рёв Байкала, гудки и стукоток вагонов <...> и, очень быстро спевшись, рукотворное и нерукотворное повело единую песнь здешнего бытия» [1. С. 344]. Люди, воплощающие провиденциальное призвание Сибири стать пространством мощной жизни, красоты и свободы, самые разные – от Н.П. Смирнова, разбившего чудесный сад на берегу Телецкого озера, до просвещённого купца А.М. Лушников, возглавлявшего самоуправление города Кяхты: «Это был внешне удачливый и внутренне удачный тип русского человека, который до всего, до знаний и почестей доходит сам и который, в отличие от европейца, оставшегося на этом счастливым, всю жизнь мучается от неудовлетворённости и взыскательности своей души, платя бесконечную дань за богатство» [1. С. 409]. Распутин перечисляет выдающихся выходцев из Тобольска и Кяхты – для него это подтверждает творческий потенциал пространства, отмеченного красотой или силой духа.

Четвёртая идея – мирное сосуществование народов на обильной богатствами территории. Распутин рассуждает на эту тему в заключительной главе «Моя и твоя Сибирь» (1990, 2000), когда оценивает степень решённости вопросов, поставленных ещё Г. Потаниным и Н. Ядринцевым, в том числе и вопроса национального. Признавая, что он «не из пустяковых» [1. С. 570], писатель воспринимает проблему ассимиляции, культурной и этнической, как продолжение законов природы. На неё возлагается ответственность за смешение этносов и присвоение территорий: «Постоянные перемещения, переливания, объединения и членения родов, право сильного на лучшие земли и право природы по отношению к своим детям на ей одной ведомую конечную справедливость – всё это переплелось тесно и дало результаты, которые следует уважать» [1. С. 571]. Природа отождествляется с ходом истории, а её вызовы требуют от каждого народа мобилизации прежде всего духовной воли к самосохранению. Такая постановка вопроса снимает ответственность за утраты с одних только русских и побуждает к духовной активности и культурному самоопределению коренные этносы: «Но история продолжается, и

переливания, перерождения не закончены. Это к ней, к истории, счёт – за то, что она делает таинственную перемену лиц. Это счёт и к “большому” народу, взявшему под опеку в своё государственное образование “малые”... <...> Но это и счёт каждого народа самому себе за способность к жизнестойкости, которая прежде всего в духовном единстве. Как только народ теряет свои предания, а ещё хуже – язык свой, он превращается в “запас” другого, более сильного народа. И с этим ничего не поделаешь. Это закон жизни» [1. С. 571]. Антропная теонатурфилософия отличается от социодарвинизма требованием культурной, а не воинственной мобилизации сил во имя сохранения собственного лица.

Исторические судьбы коренных жителей рассматриваются писателем в свете неизбежного для малочисленных народов выбора: «Такой силой Сибирь не удержать. И внутри государство не выстроишь. Не миновать было отходить под чью-то руку. Другое дело: под чью лучше? Смешиваться ли Азии с Европой или Азией усиливаться Азией?» [1. С. 571]. Русский этнос, как и выработанная им модель межнациональных отношений, расцениваются Распутиным как наиболее приближенные к идеалу равноправия, ибо «признаётся самой историей и практикой его государственного строительства, что он народ чрезвычайно уживчивый, широкий в своих братских чувствах. Уже и первопроходцы легко находили общий язык с аборигенами» [1. С. 571]. Писатель видел в этом органическую модель и полагал, что по справедливости счёт за обиды и нынешние притеснения из-за промышленной экспансии в тайгу и тундру нужно предъявлять не русским, но хищнической «цивилизации в тех формах, которые нам достались, – в формах массового инквизиторского обезображивания души под эгидой “прав человека”» [1. С. 574]. Пасаж о «правах человека» неожидан в контексте обсуждения прав на недро- и землепользование. Очевидно, в сознании писателя идеология «прав человека» – это маска всеобщего «хищничающего типа» [1. С. 574], вторгающегося и в межнациональные, и в межгосударственные отношения.

Пример самосохранения осколка этноса в критичных природных условиях, в инонациональном и инокультурном окружении – уникальная, но поучительная история жителей Русского Устья, в течение 350 и более лет отстаивавших свою духовно-национальную идентичность в изоляции, занимаясь охотой и рыболовством в низовьях Индигирки. Для Распутина это воплощение идеи о жизнеутверждающей роли памяти: жители древнего поселения – «сконцентрированная потомственность по крови, по духу, вере и изначально» [1. С. 481]. Память не противоречит природе, которая требовала обновления генофонда, и русским удалось избежать ассимиляции-«объядучивания», потери языка и облика: «...примерно в одной части из четырёх русскоустынец остался в правильных очертаниях русского лица, как показалось мне, носящего следы жертвенности и аскетичности, как бы подсушенные, выжженные изнутри пронзительным взглядом. Такие лица можно ещё встретить разве что в старинных раскольничьих сёлах» [1. С. 498]. Сравнение с ликами другой самобытной части русского этноса, судя по иллюстрирующим очерк фотографиям, сугубо авторское видение, так же и объяснение необыкновенной стойкости даётся через перечисление дорогих для себя святынь: «Язык, фольклор и традиция прежде всего помогли этим людям выдержать в краю, который

давно назван пределом выживаемости» [1. С. 500]. Сюда же следует отнести особую психофизику: «Русскоустыинец сохранил и разговорчивость, и подвижность чувства» [1. С. 503]. Для распутинских представлений о памяти как духовной основе национального самосознания особо ценно стойкое, но не агрессивное самоопределение, обеспечивающее самосохранение: «...русский на Индигирке жил в дружбе и согласии и с якутом, и с юкагиром, и с эвеном, как положено жить людям, делящим соседство на одной земле, но всегда чувствовал и показывал себя русским» [1. С. 503]. Так тема русскости и глава «Русское Устье» концептуально завершают обзор прошлого и настоящего Сибири.

Стержневая идея книги – провиденциальная миссия края, а вместе с ним и русского народа, в истории человечества, ибо Распутин убеждён: «Сибирь – Россия больше, чем Россия» [1. С. 40]. Сибирь, а с ней и Россия, видится ресурсом органической цивилизации: «В сущности, опершись на Сибирь да ещё на некоторые, пока заповедные районы, человечество могло бы начать новую жизнь. Так или иначе очень скоро, если оно собирается существовать дальше, ему придётся решать главные проблемы: чем дышать, что пить и что есть, как, в каких целях использовать человеческий разум?» [1. С. 8]. Идея провиденциальности противопоставляет мистический характер здешнего бытия рациональным двигателям развития цивилизации промышленной и технологической, которая уничтожает природу и тем самым собственное будущее. Провиденциальное понимание истории призвано защитить русский народ от стереотипных обвинений в лени и бесхозяйственности, генетической несвободности и агрессивности. Очевидные, признанные недостатки объясняются не только инертностью, но и нехищническим по своей природе характером русской цивилизации, что и сделало ареал её распространения ресурсом будущего, если общечеловеческие интересы возобладают над сегоднешней прагматикой и страстью к наживе: «И тогда отсталая, в сравнении с Северной Америкой, колонизация Сибири, в чём долго упрекали старую Россию, обернулась бы великой выгодой; и тогда русский человек не без оснований мог бы считать, что он выполнил немалую часть своего очистительного назначения на Земле» [1. С. 8].

Начало колонизации показало способность русского человека к инициативе, невероятной стойкости, предприимчивости и созидательности. Первопроходцы искали «свободы всех толков – религиозной, общественной, нравственной, деловой и личной» [1. С. 30]. Деспотическая государственность не роковая производная от русской ментальности, по Распутину, покорители пространства «были тем, что можно назвать “самострелами” русского духа. Потому что это было движение по большей части стихийное, народное, устремлённое на свой страх и риск, за которым не всегда поспевали правительственные и даже воеводские постановления» [1. С. 21]. Так, процветающий в голом пространстве город Кяхта, управляемый «Советом старейшин торгующего в Кяхте купечества» [1. С. 395], подал пример успешной самоорганизации, особо значимой ввиду пограничного с Китаем расположения. Строительство Транссиба показало, что патриотизм может быть ресурсом экономического подъёма, ибо решение строить дорогу «русскими людьми и из русских материалов» [1. С. 125] было успешно реализовано. Строила вся

страна: рабочих искали по всей России, добровольческий флот перевозил переселенцев, мобилизовали ссыльных, арестантов, идеальными работниками показали себя солдаты и семейские. Малоэффективная иностранная рабочая сила была удалена во время русско-японской войны, поезда пошли по уральским рельсам, дорога открыла перспективу экономического подъёма.

Распутин не идеализировал историю присутствия русских в Сибири, её нынешние экологические проблемы – боль ума и сердца от чудовищного произвола власти, министерств, монополий, вместо долгожданного хозяина пришёл «кочевник нового типа – вахтовик» [1. С. 562]. Новые редакции текстов 2000 и 2005 гг. усиливают публицистический накал описаний упадка городов и насилия над природой. Нынешнее положение края трагично: «Не одно столетие Сибирь пыталась снять с себя ярмо российской колонии, а теперь кончается тем, что ей приготовлена участь мировой колонии» [1. С. 564]. Факты славного прошлого призваны актуализировать историческую память, которую писатель хотел бы видеть генетической, чтобы превратить в источник духовной мобилизации. Защитник природы отнюдь не мечтал оставить край безмерным заповедником, он понимал, что без подъёма экономики культуру тоже не спасти: «За четырёста лет, прошедших после покорения Сибири русскими, она, похоже, так и осталась великаном, которого и приручили, и привели местами в божеский вид, но так и не разбудили окончательно. И это пробуждение, это духовное осознание её самой себя, хочется надеяться, ещё впереди» [1. С. 7]. Писатель, исповедующий традицию, не консерватор патриархальности, но сторонник активного жизнестроения, книга про Сибирь написана как призыв и как демонстрация возможности создания мудрой цивилизации силой человека, чуткого к природной и высшей воле.

Распутин самобытен, он сочувственно, но осторожно обращается к авторитету областников, помня об идее сибирского сепаратизма, вызревавшей в этом движении. Для него «Сибирь без России не существует, и пускаться по этому поводу в доказательства нет необходимости» [1. С. 41]. Точно так же – при всей политической пристрастности – писатель обходит возможность применить идеи евразийской философии к родному краю. Профессиональный историк может позволить себе патриотический пассаж: «...здесь рождалась евразийская душа россиянина и сибиряка» [10. С. 75]. Писатель рассматривает тему культурного симбиоза без пафоса, аналитически, как психолог и иронический наблюдатель: «Сибиряк, получившийся от слияния славянской порывистости и стихийности с азиатской природностью и самоуглублённостью, быть может, как характер и не выделился во что-то совершенно особое, но приобрёл такие заметные черты, приятные и неприятные, как острая наблюдательность, возбужденное чувство собственного достоинства, не принимающее ничего навязанного и чужого, необъяснимая смена настроения и способность уходить в себя, в какие-то свои неизвестные пределы, иступлённость в работе, перемежающаяся провалами порочного безделья, а также хитроватость вместе с добротой, хитроватость столь явная, что никакой выгоды от неё быть не может» [1. С. 27]. Это описание очень похоже на автопортрет человека, в ком смешалась кровь выходцев с Русского Севера и тунгусов («Откуда есть-пошли мои книги» 1997) [12. С. 503].

Мышление Распутина, очевидно, стремится не к евразийской медиации, а к российской всемирности – и содержательно, и ментально. Книга «Сибирь, Сибирь...» рассматривает национальные проблемы в свете проблем общечеловеческих и осмысляет их в традициях русской художественной философии – лично, добросовестно по отношению к фактам, влюблённо в идеал, в страстном стремлении к истине. Определение жанра и сути книги как лирико-философско-публицистического трактата фиксирует синкретизм образа мышления и высказывания: лирического – по типу рассуждения, философского – по проблематике и уровню миропонимания, публицистического – по способу изложения сокровенных мыслей. Системность обусловлена развёрнутым и глубоким раскрытием многосложной темы. Трактат – это терминологическое определение проработанности, фундированности, целостности исследования, обусловленного масштабом авторской личности, оно возводит монологическую проповедь художника в ранг общезначимого высказывания.

Литература

1. *Распутин В.Г.* Сибирь, Сибирь... Иркутск: Издатель Сапронов, 2006. 576 с.
2. *Распутин В.Г.* Сибирь, Сибирь... М.: Молодая гвардия, 1991. 304 с.
3. *Иваиковский В.* Книга, которую Валентин Распутин создавал 10 лет // Рабочая трибуна. 1991. 13 дек. С. 2.
4. *Распутин В.Г.* Веют ли вихри враждебные?: Беседа гл. ред. журн. «Сибирь» В.В. Козлова с В.Г. Распутиным // Сибирь. 2001. № 5. С. 38.
5. *Каминский П.П.* «Время и бремя тревог»: Публицистика Валентина Распутина. М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. 240 с.
6. *Небольсин П.И.* Покорение Сибири: Историческое исследование. СПб., 1849. 112 с.
7. *История Сибири.* С древнейших времён до наших дней: в 5 т. Т. 2: Сибирь в составе феодальной России. Л.: Наука, 1968. 538 с.
8. *Шутова Я.* Сибирская Атлантида // Иркутск. 2016. № 5. 11 февр. С. 11.
9. *Очерки истории русской литературы Сибири:* в 2 т. Т. 1: Дореволюционный период. Новосибирск: Наука, 1982. 606 с.
10. *Олех Л.Г.* История Сибири : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2013. 380 с.
11. *Энциклопедия эпистемологии и философии науки* [Электронный ресурс]. URL: http://enc-dic.com/enc_epist/Traktat-740.html
12. *Распутин В.Г.* В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск: Издатель Сапронов, 2007. 528 с.
13. *Можейко М.А.* Реализм // Новейший философский словарь. 3-е изд., испр. Минск.: Книжный Дом, 2003. С. 823–824.
14. *Валентин Григорьевич Распутин:* библиогр. указ. Иркутск: Издатель Сапронов, 2007. 472 с.
15. *Рыбальченко Т.Л.* Интуиция метафизического в прозе В. Распутина // Три века русской литературы: Актуальные аспекты изучения. Вып. 16: Мир и слово В. Распутина: Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию В.Г. Распутина: материалы. Москва; Иркутск. 2007. С. 6–25.
16. *Вязовский В.С.* Антропный принцип // Новейший философский словарь. 3-е изд., испр. Минск.: Книжный Дом, 2003. С. 50–51.
17. *Галимова Е.Ш.* Архетипический образ реки в художественном мире Валентина Распутина // Время и творчество Валентина Распутина: Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина: материалы. Иркутск, 20012. С. 98–109.
18. *Имхелова С.С.* Образ-символ Ангары в прозе В.Г. Распутина // Творческая личность Валентина Распутина: живопись – чувство – мысль – воображение – откровение: сб. науч. тр. Иркутск, 2015. С. 267–276.

SIBERIA, SIBERIA BY VALENTIN RASPUTIN AS A LYRICAL-PHILOSOPHICAL JOURNALISTIC TREATISE

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 3 (41). 115–134. DOI: 10.17223/19986645/41/11

Plekhanova Irina I., Irkutsk State University (Irkutsk, Russian Federation). E-mail: oembox@yandex.ru

Keywords: Valentin Rasputin, Siberia, Russia, Russian consciousness, Russian self-determination, co-existence of cultures and peoples, co-creation with the Nature, genre, anthropic theological natural philosophy.

The book of essays *Siberia, Siberia* (1980-2005) is the last major work written by Valentin Rasputin. Three editions of the book reflect the author's gripping thoughts about the importance of the region and its exploration for both the national history and the future of the humanity. The work is considered to be a comprehensive narration about the problems of Russian colonization of Siberia, co-existence of the human and the nature, the dangers of modern civilization and the providential meaning of history. The author analyzes his own mindset in the context of religious and philosophical aspects of the world design. The mindset of Rasputin as a publicist is emotional, insightful and eloquent, akin to the preaching of the Truth. The system of Rasputin's worldview is defined as anthropic theological natural philosophy as the very presence of the human in the dual co-existence of the Creator and the nature is recognized and justified. When specifying the genre of the book as a lyrical-philosophical journalistic treatise, one emphasizes syncretism of the author's mindset and narrative where the work is *lyrical* in terms of discourse, *philosophical* with regard to the frame of reference, and *journalistic* in wording.

According to the central ideological position of the author, human civilization must develop in order to create life in accordance with predetermined transcendental meanings and imperatives of the nature. As responsibility leaves room for personal freedom, there ought to be self-awareness in fulfilling such a duty. *Siberia, Siberia* was written to preach such a world order. Due to the way the material was collected, the facts were interpreted, and the essay chapters were structured – all to serve the purpose of expressing the author's position – the whole text can be classified as a *treatise*. Singularity of the treatise is demonstrated by presenting the facts that confirm the existence of connectivity and concurrence between the Divine and the human in everyday life as well as spiritualization of historical processes.

The mindset brought forward by Rasputin can be defined as anthropic theological natural philosophy which recognizes and justifies the presence of the human in twofold concordance with the Creator and the Nature. Special emphasis is placed on the Russian exploration of Siberia and subsequent experience of living with local peoples and being in touch with the nature. The aforementioned experience is analyzed objectively as it consisted of triumphs and crimes, great accomplishments and major failures. The applicability of the ideal is illustrated with such facts as discovery of the principal solutions to the problems of multicultural dialogues and peaceful co-existence of the peoples, successful development of the cities as well as rapid construction of the Trans-Siberian Railway. Still, the experience of the past and self-sacrificing activity of certain people in the present does not change the current politics of rapacious burglary dictated by the norms of the modern civilization. The author equates the current state of Siberia with that of the world colony.

The book calls for the advance of positive and critical consciousness in the Russian person. For Rasputin "Siberia is more Russia than Russia". Such a stance is to nullify any thoughts of secession and silence any debates about the Eurasian mission of the region. The concept of memory, fundamental for Rasputin's ethics and ideas of cultural life-design, urges us to recreate the image of the Siberian explorers as those conveying the will to liberty, people's initiative, spiritual power and endurance rooted in severe natural conditions. It is the significance of the past national experience that betokens the accomplishment of the historical mission of the nation while ensuring the contribution of Russia, strengthened by the Siberian potential, to the resolution of the global problems and provision of the needs of humanity. Likewise, it creates a path for a change of the spiritual vector of history and a way out of the dead-end civilization that defied nature.

References

1. Rasputin, V.G. (2006) *Sibir', Sibir'...* [Siberia, Siberia]. Irkutsk: Izdatel' Saponov.
2. Rasputin, V.G. (1991) *Sibir', Sibir'...* [Siberia, Siberia]. Moscow: Molodaya gvardiya.

3. Ivashkovskiy, V. (1991) Kniga, kotoruyu Valentin Rasputin sozdaval 10 let [The book that Rasputin created during 10 years]. *Rabochaya tribuna*. 13 December. p. 2.
4. Rasputin, V.G. (2001) Veyut li vikhri vrazhdebnye? Beseda gl. red. zhurn. "Sibir" V. V. Kozlova s V. G. Rasputinyam [Do hostile whirlwinds blow? Interview of Ch. Ed. of the Siberia magazine Vladimir Kozlov with V.G. Rasputin]. *Sibir*. 5. pp. 3–8.
5. Kaminskiy, P.P. (2012) "Vremya i bremya trevog". *Publitsistika Valentina Rasputina* ["Time and burden of worries". Journalism of Valentin Rasputi]. Moscow: FLINTA: Nauka.
6. Nebol'sin, P.I. (1849) *Pokorenie Sibiri. Istoricheskoe issledovanie* [Conquest of Siberia. A historical research]. St. Petersburg: Tip. I. Glazunova.
7. Okladnikov, A.P. (ed.) (1968) *Istoriya Sibiri. S drevneyshikh vremen do nashikh dney. V 5 t.* [History of Siberia. Since ancient times to the present day. In 5 vols]. Vol. 2. Leningrad: Nauka.
8. Shutova, Ya. (2016) Sibirskaya Atlantida [Siberian Atlantis]. *Irkutsk*. 5. 11 February. p. 11.
9. Yakimova, L.I. (ed.) (1982) *Ocherki russkoy literatury Sibiri. V 2-kh t.* [Essays on the Russian literature of Siberia. In 2 vols]. Vol. 1. Novosibirsk: Nauka.
10. Olekh, L.G. (2013) *Istoriya Sibiri* [History of Siberia]. 2nd ed. Rostov-on-Don: Feniks.
11. Kanon+. (2009) Traktat [Treatise]. In: *Entsiklopediya epistemologii i filosofii nauki* [Encyclopedia of epistemology and philosophy of science]. Moscow: Kanon+. [Online]. Available from: http://enc-dic.com/enc_epist/Traktat-740.html.
12. Rasputin, V.G. (2007) *V poiskakh berega: Povest', ocherki, stat'i, vystupleniya, esse* [Searching for the shore: Tale, sketches, articles, speeches, essays]. Irkutsk: Izdatel' Saponov.
13. Mozheyko, M.A. (2003) Realizm [Realism]. In: Gritsanov, A.A. (ed.) *Noveyshiyy filosofskiy slovar'* [Newest Philosophical Dictionary]. 3rd ed. Minsk: Knizhnyy Dom.
14. Yelizarova, E.D. (2007) *Valentin Grigor'evich Rasputin: bibliogr. ukaz.* [Valentin Rasputin: bibliography]. Irkutsk: Izdatel' Saponov.
15. Rybal'cheno, T.L. (2007) [Intuition of the metaphysical in the prose of V. Rasputin]. *Tri veka russkoy literatury: Aktual'nye aspekty izucheniya. Vyp. 16. Mir i slovo V. Rasputina* [Three Centuries of Russian literature: Relevant Aspects of the study. Vol. 16. World and word of Rasputin]. Proceedings of the international conference dedicated to the 70th anniversary of V.G. Rasputin. Moscow; Irkutsk: Irkutsk State University. pp. 6–25. (In Russian).
16. Vyazovskiy, V.S. (2003) Antropnyy printsip [Anthropic Principle]. In: Gritsanov, A.A. (ed.) *Noveyshiyy filosofskiy slovar'* [Newest Philosophical Dictionary]. 3rd ed. Minsk: Knizhnyy Dom.
17. Galimova, E.Sh. (2012) Arkhetipicheskiy obraz reki v khudozhestvennom mire Valentina Rasputina [The archetypal image of the river in the artistic world of Valentin Rasputin]. *Vremya i tvorchestvo Valentina Rasputina* [Time and creativity of Valentin Rasputin]. Proceedings of the international conference dedicated to the 75th anniversary of V.G. Rasputin. Irkutsk: Irkutsk State University. pp. 98–109. (In Russian).
18. Imikhelova, S.S. (2015) Obraz-simvol Angary v proze V. G. Rasputina [Symbol image of the Angara in the prose of V.G. Rasputin]. In: Plekhanova, I.I. (ed.) *Tvorcheskaya lichnost' Valentina Rasputina: zhivopis' – chuvstvo – mysl' – voobrazhenie – otkrovenie* [Creative personality of Valentin Rasputin: painting – feeling – thought – imagination – revelation]. Irkutsk: Irkutsk State University.

УДК 821. 161.1

DOI: 10.17223/19986645/41/12

Т.Л. Рыбальченко

**РОМАН А. ИЛИЧЕВСКОГО «МАТИСС» В КОНТЕКСТЕ РОМАНА
А. ПЛАТОНОВА «СЧАСТЛИВАЯ МОСКВА»:
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ**

В статье рассматривается связь художественной концепции А. Платонова и А. Иличевского, выразивших обций антропологический поворот XX в. от гуманистической мифологии, и различие онтологической картины мира и представлений о природе и назначении человека в бытии. Без утверждения прямой преемственности обнаруживается близость писателей начала и конца XX в. в понимании онтологического трагизма человека как порождения природы в попытках преобразования (Платонов) и интерпретации (Иличевский) бытия. Дана трактовка сопоставимых элементов двух романов («Счастливая Москва». 1932–1936, и «Матисс». 2007): системы персонажей, сюжетных ситуаций, мотивов и основных концептов.

Ключевые слова: А. Платонов, А. Иличевский. художественная антропология, сюжет ухода, природное и социальное, телесное и духовное, органическое и вещное.

Сопоставление романа классика XX в. и романа современного прозаика, можно сказать, некорректно, поскольку роман Платонова не завершён. Как обнаружено исследователями [1], А. Платонов в 1932–1936 гг. работал над реализацией замысла романа «Путешествие из Ленинграда в Москву», заключительной частью которого мог быть роман «Человек» («Счастливая Москва»), но и эта часть не завершена. Работа над ней прервана волной критических нападок на изданный сборник рассказов и арестом сына Платонова. Незавершённость опубликованного в 1991 г. текста [2] делает любую интерпретацию вариативной, однако оставшийся текст даёт достаточное семантическое поле для истолкования общего взгляда писателя на человека в новой социальной реальности и в мироздании (в онтологии). Роман А. Иличевского «Матисс», писавшийся в начале уже XXI в., завершён и опубликован в 2007 г. [3], но его интерпретация не менее вариативна даже в аспекте сюжетной логики: открытый финал не позволяет с определённой ясностью истолковать авторскую концепцию центральной сюжетной ситуации ухода и блужданий.

Возможность сопоставления двух художественных миров объясняется универсализмом художественной модели мира, близостью онтологической и антропологической концепций, которые вводят социальное и гуманистическое видение в масштаб представлений о сущности материального и метафизического бытия. XX в. утвердил после феноменологизма и экзистенциализма антропологический аспект изображения человека. Экзистенциализм констатировал отделение человека от онтологии, оставил ему способность быть только «голосом» бытия [4]. Антропологический взгляд на человека после работ М. Шелера [5], А. Гелена [6], в России – В. Подороги [7], С. Хоружего [8] не сводится к утверждению биологической природы человека; человек понимается как бытийное существо, имеющее органическую природность, но

и особые свойства – способность к свободному выбору существования и способность придавать смысл бытию. Феномен человеческого существования предопределён не только социально и биологически, но и космически [9].

Каждый подлинный писатель создаёт свою антропологию: во-первых, универсальное пространство существования; во-вторых, мир сознания (подсознания, эмоций, разума). Художественный антропологизм XX в. преимущественно нерелигиозный, онтология представлена не метафизикой, а физикой бытия, материальным миром частиц и энергий. Нематериальное здесь – мир сознания, порождения материи и причина «интенции» к бытию. Асоциальность антропологической литературы связана с необходимостью выйти за границы социума либо вследствие негуманности и неорганичности социума, либо по причине трансгрессии, расширения сознания мыслящей личности.

Платонов и Иличевский выразили в разное время мировосприятие эйнштейновской и постэйнштейновской эпохи, принёсшей знание о расщеплённости материи, о превращении материи в энергию, а в понимании человека – антропологизм, раздвигающий социальный детерминизм. Платонов в 1930-е гг., в годы взлёта социальных мифов о направленной исторической эволюции, выразил сомнение в ноосферных концепциях, чему причиной был кризис социальных иллюзий под воздействием первых результатов исторических изменений в Советской России. Платонов выразил трагедию «усомнившегося человека», осознавшего своё бессилие преодолеть абсурдность бытия, открыл иллюзорность идеи антропологического толчка, которые привнесёт в космос свободный человек. Иличевский с той же дистанции в 15 лет отразил крушение социальных и цивилизационных иллюзий в постсоветском обществе. Кризис советского проекта стал очевиден во второй половине XX в., но для диссидентского сознания (либеральной его ветви) оставалась привлекательной западная модель технократической цивилизации, и только в постсоветском обществе стал очевиден кризис позитивистской модели преобразования онтологии разумным и свободным человеком. Вот данное главному герою романа А. Иличевского мироощущение конца XX в.: «При совершенной безопасности, при полном отсутствии внешней угрозы, при окончательной невозможности конца света, которым питалось старшее поколение и который сейчас обернулся пшиком, – повсюду был разлит страх. <...> Пустота впереди, пустота под ногами. <...> Страна никому, кроме Бога, не нужна. Все попытки обратиться к Нему окунают в пустоту суеверия» [3. № 2. С. 44].

Очевидно сходство ситуаций в романах о начале и конце советской цивилизации. Платонов уже в начале строительства новой цивилизации («счастливой Москвы» как топоса второй природы, организованной человеком) наделяет главных персонажей, адептов цивилизационных иллюзий (Москву Честнову, Сарториуса, Божко, Самбикина) осознанием не только противоречий нового социума, но иллюзорности идеи исправления онтологии, природного устройства. Новое поколение москвичей в романе лишено этой онтологической тревоги и сострадания бытию, однако трагизмом мироощущения Платонов наделяет не людей прошлой культуры, но именно тех, кто устремлён к иллюзиям совершенствования мира. Чуткость к живой жизни, открытость «зову бытия» вопреки идеям, легитимизирующим созидание лучшего

мира, делают носителями онтологического сознания персонажей, демиургически входящих в жизнь (инженеров, хирургов, строителей). Платонов исторически конкретен, когда показывает этическую причину экзистенциального трагизма, осознания невозможности построения гармонии, но в центре романа оказываются те, кто «разомкнул» сознание за пределы не только индивидуального, но и социального. Причина – контакт с ближним миром, страданиями малых феноменов бытия (их чувствует прежде всего «вневойсковик» Комягин, но и адепты веры в прогресс эсперантист Божко, механик Сарториус, Москва Честнова и даже хирург Самбикин). Парадокс в том, что онтологически разомкнутый человек устремлён к всеобщему, «дальнему» даже ценой разрыва с ближним миром. А. Магун [10] справедливо не соглашается с мнением исследователей, что в романе «Счастливая Москва» «революции совершаются интеллектуалами, которые навязывают живой реальности свои идеалистические схемы». Платоновский «сокровенный человек» видит в революции универсальную возможность смены не только социального порядка, но всего мироустройства: «...человек чувствует себя свободным от векового порядка асимметрий и иерархий, он совершает бунтарский отрицательный жест, взыскав утопического “мира наоборот”. Однако... отрицание на самом деле есть несуществование, и оно необратимо» [10].

Платонов в романе «Счастливая Москва» идёт к универсальным противоречиям существования человека как онтологического существа. Если воспользоваться идеями С. Хоружего, утверждающего в философии экзистенциализма три типа размыкания существования: онтологическое, виртуальное и онтическое, то у персонажей Платонова доминирует в 1930-е гг. онтический человек. В рассказах «Джан», «Такыр», «Фро» спасение души становится важнее преобразования материи, но и в «Чевенгуре» герой-«мастер» переживал онтологический, а не только социальный кризис, постигнув невозможность выстроить идеальный мир без «разрушения». «Происхождение» мастера заканчивается его уходом из бытия, повторяющим уход отца, созерцателя бытия.

В «Счастливой Москве» Платонов обращается не к эксцессам социалистического преобразования, а к невозможности преобразования онтологии. Хирург Самбикин, землемер Божко, создатель инструментов измерения для идеального соединения частей Сарториус оказываются перед осознанием бессилия разума и человека-прометея. Открыв себя миру, они (Москва Честнова, Сарториус, Комягин и Божко) отказываются от планов его перестройки, ограничив себя этическим выбором служения наличной жизни, становясь частными людьми. Уход от претензий подчёркивается даже сменой имени (Сарториус становится Груняхиным, Москва – Мусей). Не отказывается от мессианской идеи спасти человечество, разгадав тайны смерти в бытии, хирург Самбикин, который, спася Москву, не поддаётся природному влечению к ней, оставляет её и погружается в дальнейшую деятельность, чтобы высвободить в природе силу жизни, которая превзойдёт смертоносные силы. Заметим, что Самбикин не герой-деятель, скорее спаситель, влекомый не идеей, а этикой, направленной на всё бытие. Одновременно в нём жив онтический человек, реагирующий на несчастье реальных людей: мальчика, девушки,

изученной Москвы. Платонов гипертрофирует чувство сострадания в Самбикине, показывая физиологическое влечение к больному телу пациентов.

О главенстве онтологической и антропологической проблематики над социальными может свидетельствовать то, что в центр романских коллизий поставлена женщина, более природное существо по сравнению с мужчинами. Она – даритель любви к жизни, менее захвачена потребностью преобразования, потому что способна к органическому рождению жизни. Другое дело, что в этом романе – нерождающая женщина, получившая увечье не от природы, а при соучастии в покорении природы – неба и земли. Этот сюжетный поворот можно считать оценочным: выход в большой мир Москвы направлен социальными идеями покорения жизни, и за это расплачивается «гордый человек», женщина, забывшая о миссии рождения.

Однако Платонов и в 1930-е гг. не отказывается от онтологической сущности человека. В «Счастливой Москве» именно женщина наделена органическим влечением к целому, она не под воздействием идей открыта и ближней, бытовой действительности, и большому миру. Она чувствует ближний мир в связи с дальним: «Из природы ей нравились больше всего ветер и солнце. Она любила лежать где-нибудь в траве и слушать о том, что шумит ветер в гуще растений, как невидимый тоскующий человек, и видеть летние облака, плывущие далеко над всеми неизвестными странами и народами; от наблюдения облаков и пространства в груди Москвы начиналось сердцебиение, как будто её тело было вознесено высоко и там оставлено одно» [2. С. 10]. В смене любовных отношений Москва непостоянна, потому что не утоляет потребности в слиянности с целым бытием: «Я выдумала теперь, отчего плохая жизнь у людей друг с другом. Оттого, что любовью соединиться нельзя, я столько раз соединялась, все равно – никак, только одно наслаждение какое-то... <...> Любить, наверно, надо, и я буду, это все равно как есть еду, – но это одна необходимость, а не главная жизнь» [2. С. 29]. Именно женщина испытывает и понимает неродственность бытия и человека, когда горит в небе во время прыжка с парашютом: «...воздух грубо драл её тело, как будто он был не ветер небесного пространства, а тяжёлое мёртвое вещество, – нельзя было представить, чтобы земля была ещё твёрже и беспощадней. Вот какой ты, мир, на самом деле! – думала нечаянно Москва Честнова, исчезая сквозь сумрак тумана вниз. – Ты мягкий, только когда тебя не трогаешь...» [2. С. 13–14].

Бездомность и сиротство Москвы (бывшей Оли) не социального, но онтологического толка. Каждый раз, когда получала приют от Советского государства, от конкретных людей, она оставляла прибежище, уходя к другому мужчине, к другой цели, в другое конкретное пространство, движимая потребностью согреть не конкретного только человека, но всех, движимая зовом бытия, а не долгом перед мужчиной или детьми.

Платонов следует не архаическому мифологическому представлению о женщине как продолжательнице жизни, хотя она влечёт к себе мужчин, оставливая эросом их устремлённость к будущему, к лучшей реальности. У Платонова героиня – носительница трагического сознания, экзистенциального в своей сущности сознания бездомности, заброшенности человека в мире. Не случайно в финале она исчезает из фокуса повествования, не найдена

Сарториусом, а известно, что она живёт где-то обыкновенной жизнью, получив обыденное имя Муся, свидетельствует не только о торжестве обыденной этики, но и об утрате онтологической интенции, о редукции антропологического в героине романа.

Центральный герой романа Иличевского – мужчина, более того, учёный, интеллектуал, что можно объяснить различием в понимании онтологической сущности человека, различием антропологии двух писателей. Королёв Иличевского – не деятель, не спаситель, а интерпретатор бытия. Это объясняется различием в понимании материи бытия: у Платонова она одушевлённая, близка человеку, как в архаическом мифическом сознании, у Иличевского она самосознающая без тождественности человеку: «Человеку он не доверял, но преклонялся перед разумом как перед носителем следа великого замысла» [3. № 2. С. 52]. По убеждению Королёва, «зачатки мышления появлялись и на более ранних, чем приматы, стадиях филогенетического развития, еще у более примитивных животных...» [3. № 3. С. 38], однако «мир был создан вместе с человеком. <...> сотни миллионов лет хотя и имеют длительность, но они суть точка, “мера ноль” – несколько дней посреди течения плодородной вязкости человеческого зрения, его воплощенной в свет мысли» [3. № 3. С. 43]. Блуждая в метро, Королёв отождествляет себя с неорганической материей, полагая, что, приближаясь к стадии «окукливания», он становится более чутко к скрытой потребности неживой материи в осознающей материи, в языке: «Видимо, так неорганика искала в случайной органической форме своего посланника, вестника. Неживое тяжело и неуклюже, подобно немому с бесчувственным языком, хотело выдохнуть его не то междометием, не то словом. Он почувствовал это, вспомнив, что в нём самом, в совершенной пустоте и бессмысленности теплилось какое-то безъязыкое говорение» [3. № 3. С. 36].

Система персонажей в романе «Счастливая Москва» составляет не столько социальную модель, сколько разные способы выхода из социума в онтологию, разный прорыв к сознанию, способному выразить бытие (даже безымянный музыкант, исполняющий музыку Бетховена). Платонов показал доминанту своего времени, стремление не только познавать бытие, но вторгнуться и усовершенствовать его. Божко ищет язык, который бы объединил людей для построения всемирной общности, эсперанто позволит преодолеть бессилие незнания, нищеты, отменив несвязанность людей. Сарториус в механизмах видит преодоление телесных и психических сил человека, преодоление инерции материального мира; он ищет меры исчисления (взвешивания) дробного материального мира не только «для справедливого разделения добычи между победителями», но и для нахождения единого уравнивающего критерия, проявляющего родство всего, как в периодической системе элементов («Там ведь все дело основано на тех же весах: атомный вес, больше ничто!») [2. С. 31]. Хирург Самбикин ищет тайну жизни в человеческом теле, витальную силу, которая бы пересилила смертность. И более всего трагизм персонажей Платонова связан с пониманием бессилия: Сарториус «был опечален грустью и бедностью жизни, настолько беспомощной, что она непрерывно должна отвлекаться от сознания своего истинного положения. <...> Сарториус видел, что мир

состоит более всего из обездоленного вещества, которое любить почти нельзя, но понимать нужно» [2. С. 34]. Экзистенция отчаяния от бессилия преодолеть обездоленность воплощена в Комягине.

В персонажах Иличевского тоже доминирует не социальная типизация, а универсальная, антропологическая семантика. Связывая их рождение и становление с социально-историческими обстоятельствами (родившиеся в 1970-е, лишившиеся привычного уклада в начале 1990-х), Иличевский обнаруживает лёгкость разрушения эпистем поведения и сознания как у слабоумной Нади, как у практически мыслящего, приспособленного к выживанию Вади, так и у интеллектуала-физика Королёва. Три персонажа позволяют показать инвариантность возвращения выделившегося из социума человека в онтологию, не только социальный кризис личностного и массового сознания, но онтологические причины антропологического кризиса – кризиса человека, призванного постигать материю, создавшую его.

Иличевский в триаде персонажей получает возможность показать путь выхода к «голой» материи бытия носителей личностного, массового и асоциального сознания, а также мужской и женской варианты сознания, подчёркивая и разницу, и антропологическое сходство. Функция женского персонажа у Иличевского – быть проявлением живой материи, не способной к самосознанию. Природная жизнеродящая миссия не проявляется, в Наде «спит» не только сознание, но и тело, её сенсорность энтропийна, лишена устойчивости, фиксирует феномены жизни без рефлексии, хотя следы материнского воспитания и обучения остались. Антропологическая интенция быть мыслящим существом проявлена в Наде минимально. У Иличевского Надя и её спутник бомж Вадя, тем более присоединившийся к ним Королёв, слабо связаны фабульно, взаимодействием: они скорее сосуществуют, они спутники бродяжничества. Редуцированы по сравнению с романом Платонова любовные коллизии: отношения между бомжами Надей и Вадей показаны вне физиологизма, Вадя, скорее, спасает одинокую Надю, его чувство и ревность, когда он заметил влечение Нади к Королёву, даны конспективно; Надино чувственное влечение к Королёву неопределённо, невыраженно; интерес Королёва к Наде лишён эротизма, он наблюдает за ней, как учёный изучает живое существо. Иличевскому важны не отношения, а самопроявления персонажей в одних и тех же ситуациях, не индивидуальные, а антропологические мотивы их поведения. Персонажи являют знаки авторской версии человека, они не герои-идеологи, в бахтинском толковании. Даже Королёв не может быть назван героем-идеологом, он недвижим идеей, напротив, он ищет её, он интерпретатор бытия, он доводит свое существование до осмысленности, до вербальной формулировки.

Антропологической функцией быть проявлением сознания для неорганической и органической материи у Иличевского наделен мужской персонаж, а главное, носитель окультуренного сознания. Королёв предстаёт вначале как адепт рационализма: увлечённый математикой, он верит в исчислимость мира, в соответствие физических законов и действительности. Подвластность материи разуму человека доведена до уверенности, что и в невидимом материальном мире (атоме) расщепление (аналогично Самбикину) приведёт к познанию целого, а не к его распаду. Оказавшись выброшенным из прежней

социальной системы, Королёв отказывается не только от новых путей к достатку и самоутверждению (квартира, деньги), но и от научной карьеры за границей. Как Москва Честнова и Сарториус, он бросает свою квартиру и уходит в пространство города, затем бродяжничать по России, принимая способ существования бомжа, одинокого человека, «заброшенного» в бытие. Причины маргинализации, как и у персонажей Платонова, не конфликт с обществом, но расхождение с социальными эпистемами, рождением нового сознания, не отвергающего сформированное текстами, наукой, но более универсального, онтологического.

В Королёве Иличевский контаминирует персонажей-интеллигентов из романа Платонова: хирурга Самбикина, разгадывающего тайну органической материи; Божко, занятого проблемой слова, его соответствия действительным явлениям; Сарториуса, усомнившегося в научной картине мира; Комягина, отказавшегося от претензий человека быть вершиной развития материи. Иличевский соединил в центральном персонаже близкие платоновским персонажам коллизии: познание природной материи (Самбикин и Москва), познание телесной жизни (Москва и Комягин), познание текстовой природы сознания (Божко), интуиции музыки, искусства как выражения души человека и материального мира. Функции же сопутствующей Королёву пары бомжей (Вадя и Надя) сведены к истории пробудившегося, но не реализовавшегося сознания: человек массового сознания Вадя и слабоумная Надя – это потенциальный индивид, тогда как Королёв – сформировавшаяся личность, понявшая непостижимость бытия, а не его фундаментальную противоречивость (смертность и животворность, телесность и духовность, быт и бытие).

Два направления в отношениях человека и онтологии можно констатировать в романах. У Платонова – движение к онтологии с целью её изменения, победы человека над деструктивностью, амбивалентностью мироустройства. У Иличевского – осознание человеком родовой ненужности для онтологии, своей временности в онтологии и поэтому движение экзистенции к онтологии для созерцания и понимания у интеллектуала, а у тех, кто редуцирует свою мыслительную способность, – к простому биологическому существованию (бомжи). В героях Иличевского, людях конца XX в., нет той гуманистической интенции, которая свойственна всем персонажам Платонова. Королёв смотрит на других как исследователь, с точки зрения онтологии, в нём редуцированы даже биологические формы влечения к другому. У Платонова физиологические влечения спасительны, наполняют пустоту существования, хотя разум не может удовлетвориться природным способом соединения и противостояния энтропии жизни (Самбикин, познав любовь к Москве как движущую силу его усилий потеснить смерть, с новыми силами обращается к научным экспериментам; Самбикин, потеряв Москву, находит применение в спасении одинокой женщины и её детей; Москва, дав импульс жизни мужчинам, устремляется к другим утратившим силы и любовь к жизни, оживляет их («воскрешение» Комягина).

Королёв же занят разгадыванием жизни *без* человека, *после* распада и новых метаморфоз материи. Королёв – физик-атомщик, он знает закон расщепления материи, после которого не происходит возвращение к прежним формам. Иличевский опирается на сциентистскую модель бифуркации (лат. «раз-

двоение) [11], перехода от порядка к хаосу и возникновению новых форм (метаморфозы не по законам линейного развития). Он обнаруживает в отпаде от социума не возвращение к онтологии (в парадигмах Руссо, Торо), а невозможность возвращения в онтологию. Бездомность трактуется как временность существования человека родового, формы мыслящего существа. В Королёве (что приближает его к платоновским персонажам) реализована способность человека раскрывать сокрытое бытие. Но он не наделяется миссией соучастия в бытии, тем более – совершенствования бытия, в чем видят смысл жизни персонажи и автор «Счастливой Москвы». Однако Платонов предвидел тупик демиургических усилий человека, связанный не только с ошибками или иллюзиями социума, его проза 1930-х гг. не сводится к критике советских проектов. Писатель конца XX в. кульминацией духовных исканий героя делает мысль о бытии как самодвижении материи, рождающей и трансформирующей, т.е. преобразующей все феномены бытия, все формы, в том числе и человека, самопорождающую и мыслящую форму материи.

Антропологизм и Платонова, и Иличевского проявляется в том, что человек видится не столько как продукт социума, сколько как творение всего природного космоса. Самбикин убеждён в генетической способности человека к полёту: «"Человеческое тело летало в каких-то погибших тысячелетиях назад, – подумал Самбикин. – Грудная клетка человека представляет свернутые крылья"... Он попробовал свою нагретую голову – там тоже что-то билось, желая улететь из темной одинокой тесноты» [2. С. 22]. Москва – носительница космической витальности: «...она любила огонь дров в печах и электричество, но так, как если бы она сама была не человеком, а огнем и электричеством – волнением силы, обслуживающей мир и счастье на земле» [2. С. 9]. Всеобъемлемость жизни в теле Москвы ощущает Божко, слушая биение сердца Москвы: «Если можно было бы соединить с этим сердцем весь мир, то оно могло бы регулировать течение событий, – даже комары и бабочки, садясь спереди на кофту Москвы, сейчас же улетали прочь, пугаясь гула жизни в ее могущественном и теплом теле» [2. С. 12]. Здесь мысль о связи малого и большого осложнена пониманием иллюзорности надежды на то, что малое может влиять на ход жизни. Однако природность одного индивида действует оживляюще на других: «...сонная, счастливая свежесть, как здоровье, вечер и детство, входили в этого усталого человека» (Божко) [2. С. 12]. После ампутации ноги Москва возрождается, вбирая силы природно-космической жизни – воздуха, моря, деревьев: «Москва слушала движение влажного ветра и ветвей, постукивала им в ответ пальцем по стеклу и не верила ни во что бедное и несчастное на свете – не может быть! "Я скоро выйду к вам!" – шептала она наружу, прильнув ртом к стеклу. <...> Движение воды в пространстве напоминало Москве Честновой про большую участь ее жизни, о том, что мир действительно бесконечен и концы его не сойдутся нигде, – человек безвозвратен» [2. С. 43].

Природно-космическая сущность человека является причиной его стремления к разрыву с ближним миром. Чувство родственности бытия рождает у героев Платонова потребность во вмешательстве в бытие, неудовлетворённость малым. Так, после соединения с Сарториусом Москва смотрит на светлеющее небо, живущее независимо от воли человека, и её

настигает чувство ненужности большому миру, что лишает счастья частную связь с другим одиноким человеком: «...взошло солнце за Уралом и приближалось сюда. <...> Легкий ветер дул с прохладных москворецких низин и рожь неясно бормотала опухшими колосьями; свет солнца, как мысль и улыбка, наполнил всю местность, одна лишь Москва была невеселая, и красивое платье и тело ее, сделанные из той же светящейся природы, не соответствовали ее печальному лицу», а печаль вызвана чувством несоответствия события телесно-чувственного с бытием, воспринимаемым так же чувственно: «Мне жалко чего-то... Сколько я ни живу, а жизнь со мной никак не сбывается, как я хочу» [2. С. 28].

В мужских персонажах Платонова интенция к бытию проявляется в стремлении к умственному постижению жизни, что тоже обуславливает их уход от тесной близости с другими. Самбикин «относился сам к себе как к подопытному животному, как к части мира, доставшейся ему для исследования всего целого и неясного»; «...его душа сейчас же заболела, если Самбикин останавливался мыслить», но он «работал над воображением мира в голове ради его преобразования» [2. С. 21]. Сарториус «хотел открыть в самом течении человеческого сознания мысль, работающую в резонанс природы и отражающую поэтому всю ее истину», но «эту мысль он надеялся закрепить навеки расчетной формулой» [2. С. 27]. Однако Платонов сюжетно утверждает этику ближних связей. Повторим, что только Самбикин отказывается от обычного, телесно-чувственного счастья, от Москвы, ради познания тайны жизни и смерти в материи жизни.

Остальные персонажи отказываются от органичного для них «зова бытия» ради тайного, не выраженного в просьбе зова ближнего. Москва возвращается, находит Комягина, увидев в военкомате «посетителя с давно исхудавшим лицом, покрытым морщинами тоскливой жизни и скучными следами слабости и терпения; одежда на вневойсковике была так же изношена, как кожа на его лице, и согревала человека лишь за счёт долговечных нечистот, вьевавшихся в ветхость ткани; он смотрел... не ожидая к себе сочувствия, и часто, опустив глаза, закрывал их вовсе, чтобы видеть тьму, а не жизнь...» [2. С. 16]. Для персонажей Платонова достаточно увидеть утрату надежды на жизнь, чтобы посвятить себя уставшему и ждущему смерти. Когда же Комягин возрождается (не только любовью, но и малой толикой материального счастья – выигрышем облигации), Москва уходит от него, пообещав вернуться, когда тому будет плохо: «Я когда-нибудь приду к вам и буду женой» [2. С. 36]. Она не презирала низкую жизнь, если она не связана с мелочными целями, но как только видела ограниченность мелочами, уходила от мужчины. Так она ушла от Сарториуса, когда он готов принять обыденность существования: «...достаточно будет жить с Москвою в браке, любоваться ею, может быть – родить детей, и боль чувства впоследствии утихнет, сердце изотрётся и замрёт навсегда ради спокойной и плодотворной деятельности ума [2. С. 29]. Но и сам Сарториус испытывает разнонаправленное действие онтологических и бытовых, физиологических влияний, ибо после близости с Москвой «боль сердца» вызвана разочарованием: «Сарториус с удивлением и ужасом почувствовал, что его любовь не утомилась, а возросла, и он, в сущности, ничего не достиг, а

остался по-прежнему несчастным. Значит, этим путём нельзя было добиться человека и действительно разделить с ним жизнь» [2. С. 28].

Однако фабула демонстрирует торжество человеческой, а не онтологической этики, торжество «онтического» (С. Хоружий) человека. Встретив униженную мужем, раненную смертью сына, бедную женщину, не просившую помощи, увидев, «...как она вся беспомощна, как жалобно было сжато её лицо в тоскливой усталости», Сарториус остаётся с ней, чтобы спасти её, смиряясь с примитивностью её ценностей: «...всё это так и быть должно. Иначе его жадное, лёгкое сердце быстро изнашивается и погибло бы в бесполезной привязанности к разным женщинам и друзьям [2. С. 58]. Речь не о жертвенности, у Платонова в этом романе этика любви к ближнему воскрешает человека не к полноте его сущности, но к обыденному существованию, которое не может быть презренным. Сарториус возрождается после потери Москвы, буквально прозревает, начинает жить заботами реальных людей, занимаясь буквально питанием людей, поддержанием жизни, а не её изменением. Точно так и Комягин принимает свою бывшую жену не из физиологического «томления», но потому, что «она теперь худеет и дурнеет, – любовь наша уже превратилась во что-то лучшее – в нашу общую бедность, в наше родство и грусть в объятиях» [2. С. 36].

Платонов не отказывается от идеи, что человек – инструмент природной материи, призванный эту материю менять. Другое дело, что все проекты человека утопичны перед масштабом и непознанностью бытийных законов, и потому автор ведёт персонажей к отказу от онтологических утопий к посильной помощи жизни. При этом сам отказ от антропологической миссии познавать, а главное, совершенствовать материю жизни истолковывается трагически. Иное у Иличевского, зафиксировавшего тотальное разрушение иллюзий, не только социальных, но и онтологических. Маргиналы из массы (Вадя) равнодушны к бытийным проблемам, существуют в границах быта, они способны к социализации. Так, Вадя входит в социум не только своими рассказами, вызывая сострадание, но и принимая ценности социума – песни Цоя и Высоцкого, поэзию Пушкина и Есенина, подражая этим образцам, имитируя их и тем получая признательное внимание народа. Надя – пример «чистого сознания», олигофрен, легко сбрасывает навыки культуры, внушённые матерью, и остаётся в границах сенсорного восприятия потока реальности, Иличевский не наделяет её сознание следами архаического мифологизма.

Развитое и окультуренное сознание, способное выйти за границы бытового и социально детерминированного существования, обрести онтологический масштаб сознания, у Иличевского лишено заботы о ближнем и ближних. Королёв отстранён от природной нищеты слепых, с которыми некоторое время работает, от хищничества новых хозяев жизни (круг Гиттиса), от своих коллег, униженных в новом обществе, где не нужна наука, от своих спутников, бомжей. Иличевский более асоциален, чем маргиналы-бомжи, не понимающие, что происходит в момент расстрела Белого дома, как и почему меняется власть, столь же равнодушная к людям, как и люди к власти. Позиция ухода, отстранения от социума трактуется как трагическая, но единственно этическая позиция в социуме, в котором действует закон торжества силы: биологической, экономической, военной и пр. Если бомжи просто подавлены

социальной катастрофой, изгоняющей их из одного, другого места проживания, работы, то интеллигент сам последовательно отказывается от унижения быть объектом социума. Но тем самым он оставляет хозяевами жизни чуждые ему силы.

Помимо социального пессимизма персонажа и автора, нужно искать причины бездеятельности и отрешённости в позиции познающего субъекта, открывающего законы онтологии, законы метаморфоз, а не линейной эволюции, тем самым совершенствование бытия, а значит, и социума невозможно. Картина мира у Королёва близка синергетической модели, согласно которой сложные саморегулирующиеся системы (уже и материальные формы как системы элементарных единиц в атомах, ген в клетках организмов, электрических и прочих полей) формируются нелинейно, в процессе вечного распада и нового синтеза, не ведущего к «вечному возвращению», как в архаической мифологической модели мира. Кроме того, Королёв постоянно опирается на второй закон динамики (закон Карне), в котором превращение энергии в работы (материю) сопровождается энтропией, т.е. ведёт к концу цикла превращений. Таким образом, масштаб сознания, выход к онтологии у Иличевского не только не усиливает жизненные силы, но редуцирует само участие в жизни, оставляя лишь познание и интерпретацию бытия.

В границах города Королёв выходит в пространство-время, обнаруживая в культурных пластах Москвы омертвевшую и накрытую новыми пластами историческую реальность (Москву прошлых веков, открываемую воображением как археологическими раскопками). При этом видится не возможность сохранения прошлого (оно реконструируется только в воображении Королёва), а принцип сокрытия, погребения жизни, её капитуляции перед новыми формами и созиданиями. Более позитивные выводы возникают при выходе Королёва к природе, к ландшафтам, в которых Королёв открывает вписанность феноменов природы в безграничный космос. И даже при погружении в подземный мир (метро) Королёв видит в напластовании геологических пород подтверждение метаморфоз – превращение живого в неживое (деревьев, животных – в нефть и уголь) и потенциальную возможность обратного превращения – угля и нефти в энергию и органическую форму, предоснову жизни.

Масштаб пространственно-временного кругозора человека онтологического сознания приводит его к мысли об особой связи материального и нематериального, живого и мёртвого в бытии. Повторим, что у Иличевского человек озабочен не совершенствованием бытия, а познанием его, его интерпретацией (в духе хайдеггеровского экзистенциализма): «...из теоретической физики ясно, что мощные, головокружительные, малодоступные модели мироздания, порождённые интеллектом, если повезёт, оказываются “истиной”. То есть чрезвычайно близкими к реальному положению дел во Вселенной. Не потому ли так обстоит дело, что разум, созданный – как и прочее – по образу и подобию Творца, естественным способом в теоретической физике воспроизводит Вселенную – по обратной функции подобия? Тогда проблема строения мироздания формулируется как поиск своего рода геоморфизма, соотносённого с этим преобразованием подобия...» [3. № 2. С. 42–43].

Мыслящая материя видится Королёву в шаровой молнии над холмами: «...красноватый тихий шар, крупнейшей человеческой головы, который то мед-

лил, то скатывался, то поднимался, словно бы всматриваясь в подробности ландшафта...» [3. № 2. С. 47], это «предродовое напряжение сознания», «одушевлённость замысла». Мыслящая материя в форме шаровой молнии приводит Королёва к идее Бога, который растворён в природной материи: «...по эту сторону всё же есть Бог» [3. № 3. С.88], но «Бог не имеет к людям никакого отношения» [3. № 2. С. 51]. В бродяжничестве по России Королёв открывает метафизику пространства: «...в каждом ракурсе ландшафта старался отыскать образ лика и находил: сердитый или мягкий, милосердный или строгий, но всегда открытый и прямой» [3. № 3. С. 70]. В таком понимании Бога Иличевский сходится с Платоновым, в записной книжке которого оставлена такая мысль: «Он рассеялся в людях, потому что он бог и исчез в них, и нельзя быть, чтобы его не было, он не может быть и вечно в рассеянности, в людях, вне себя» [12. С. 153].

Постоянная мысль Королёва – о распаде корректируется представлением о превращении форм материи, не только живого в неживое, но и наоборот. Королёв погружается в природную материю, чтобы прийти к мысли о конце человека как такового. «Доисторическая жизнь на Земле множилась видообразованием по закону гиперболического роста. <...> И вот когда разнообразие приблизилось к критической точке, появился Человек – и в свое развитие выбрал – на деле: сожрал – всю мощь становящейся живой природы, становящегося Живого. Благодаря этому сильный рост видообразования был погашен, сошел на нет. Вместо видов по гиперболе стала плодиться и размножаться Цивилизация, и в середине века уже было понятно, что дело идет к критической точке, когда планета задохнется от злобы, перенаселения и ложной благодати. Однако нынче рост стал замедляться. Рвущееся пламя гиперболы стало гаситься пустой водой бесплодия и смертности, жизнь отступила перед поступью Неживого, Человек приблизился вплотную к своей метаморфозе – к совокуплению с мертвой материей, – и что-то должно родиться в результате: искусственный разум? очеловеченное мимикой ничто? Эпоха эфемерных сущностей, плодящихся, неуловимых и значимых в той же мере, в какой бессмысленна и реальна будет порождаемая ими смерть» [3. № 2. С. 82]. Будущее видится как смена живого Неживым, созданным человеком. Человек сам упраздняет себя («совокупляется с не-живым»), создавая машины, электронные установки и прочее.

Заметим противоположную направленность мысли о связи живого с неживым у персонажа Платонова, Самбикина, нужны усилия живых людей, чтобы извлечь из природы силы, превышающие более модные силы смерти: «Самбикин был убеждён, что жизнь есть одна из редких особенностей вечно мёртвой материи и эта особенность скрыта в самом прочном составе вещества, поэтому умершим нужно так же мало, чтобы ожить, как нужно было, чтобы они скончались» [2. С. 42].

Иличевский обнаруживает *онтологическую* обусловленность индивида, вписывает человека в превращение неорганической – органической – витальной форм материи. Материя у Иличевского, во-первых, самодостаточна, не требует метафизического первоначала и контроля; во-вторых, она самопорождающая и одновременно саморазрушающаяся сила; в-третьих, в первооснове материи Иличевский обнаруживает принцип превращений, а не творения

форм. Автор, трактуя миссию человека не как творца, а как интерпретатора бытия, опирается на принцип гомеоморфизма (от греч. *homoios* похожий и *morphe* образ, вид), структурное тождество форм сознания и реальности, оставляя открытым вопрос о том, объективны ли феномены реальности или они – «символические формы» сознания (Э. Кассирер). «Из теоретической физики ясно, что мощные, головокружительные, малодоступные модели мироздания, порожденные интеллектом, если повезет, оказываются „истиной“, то есть чрезвычайно близкими к реальному положению дел во Вселенной. Не потому ли именно так обстоит дело, что разум, созданный – как и прочее – по образу и подобию Творца, естественным способом в теоретической физике воспроизводит Вселенную – по обратной функции подобия?» [3. № 2. С. 42–43]. Релятивность, пугающая нестатичность сознания провоцируется нестатичностью форм, их возникновением и распадом. Интеллект равно призван погружаться вовнутрь мира, в процесс распада материи на элементы, и искать позицию внеаходимости, взгляд извне, возвращаться к чувственно воспринимаемому миру и далее – к космической и вневременной позиции. Антропологически же человек ограничен чувственно осязаемым пространством. Так, один из персонажей романа, бомж Вадя, связывает процесс думания «не только с головой, а с ловкостью, какой обладало все его невеликое тело, большие руки, которые он подносил словно на пробу ко лбу, вел к виску. Думанье для него всегда начиналось с того, что было под рукой, и развивалось созвучием емкости тела и ближайшего пространства, в котором оно находилось. Неким излучением протяженности, позволявшим телу строить свое расширение на области, удаленные настолько, что там, на краю, захватывались обратные токи времени. Вадя считал, что время и пространство только здесь – вокруг рук, глаз, ног – трутся друг о дружку. А если забраться подальше – там они увиливают от пары, пускаясь в околесицу, способную увести хоть в детство, хоть к мертвым» [3. № 2. С. 39]. Но и интеллектуал Королёв только тогда, когда он выпал из профессиональной научной деятельности, смог отрефлексировать связь эмпирического и сверхэмпирического, отражения ближнего мира и образ мира за пределами феномена человеческого существования. Сознание не сводится к отражению, и Королёв понимает, что человеку дано такое сознание, которое не ограничивается телесно очерченным кругом и позволяет «забраться подальше», он назвал это состояние клаустрофобией.

В этом аспекте история Нади моделирует стадии возникновения и распада мыслящего существа. Ретроспективно дана фаза рождения сознания в живой материи: под влиянием матери, книг, учёбы, упражнения в чтении и сложении Надя достигает нормы мыслящего существа; однако в настоящем времени сюжета изображён процесс утраты разума, возвращение человека к биологическому существу. «...Нельзя было понять, где кончается человек. Она догадывалась, что, если честно, – это не так страшно: потом будет все равно, кто. Что она не заметит грани. Точнее, когда перейдет – ей будет уже все равно. Вот это – и совершенная беспомощность: ни ударить, ни укусить – вот это и был страх. <...> Страшно было то, что она не заметит грани» [3. № 2. С. 31]. «Теперь ум немел, она знала это, так как стала чувствовать его отдельность. Так человек, теряя чувствительность нервных окончаний, начи-

нает относиться к своим членам как к частям постороннего тела. <...> Думанье давалось все труднее. <...> Иногда Наде больно было думать. <...> Но успокаивалась, и равнодушие появлялось в лице, тяжелое безразличие. Слабоумие проникало в Надю онемением. Ей казалось, что она превращается в куст. <...> Что мир вокруг превращался в ветер – тихий или сильный, но только он – единственный, кто мог дотронуться до куста, потянуть его, отпустить, согнуть, повалить порывом» [3. № 2. С. 32].

В конце романа Надя, истончив культурную оболочку, уподобляется живому существу без сознания: «Надя сейчас еще сильнее стала похожа на саженец, невидимо под землей пытающийся развить корни – связи с почвой человеческой реальности. Неизвестно, приживется ли посаженное в марте деревце. Развитие саженца отсталое, почки на других деревьях уже набухли, а он стоит ни живой ни мертвый, и приходится вглядываться в него, все время брать на пробу эфемерные успехи» [3. № 3. С. 85].

Иличевский вписывает распад сознающего себя человека в следующую фазу превращения живой материи в неорганическую. Таков эпизод смерти медведицы, с которой Надя сблизилась (кормила её), а затем наблюдала смерть медведицы и расчленение её тела в неживую материю, груды костей, которые Надя собрала, и «смердный мешок с костями она затащила на чердак».

Повторяя мотив собирания вещей, остающихся после распада человеческой жизни, Иличевский в снах другого персонажа романа, Вади, воссоздаёт тот же процесс распада живого и телесного в нетелесное неживое. Вадя видит во сне самоубийство отца и начало того же распада, что Надя наблюдает в зоопарке с телом медведицы: «Труп отца чуть поворачивался, загибая, шурша, щекой шелушивая со ствола прозрачные чешуйки. Лоснящийся ворон внимательно кружил над полем, низко раскатывался над мерзлой пашней <...> Садился на откинутый подбородок. <...> И вдруг один за другим клевками выкалывал глаза» [3. № 2. С. 38]. В другом сне он видит мешок с вещами, образ которых остался в связи с жизнью отца: «Рюкзак, полный жизни, всех ее стробоскопических мгновений, всей ее вечности, мнимости, муки, глупости, зла, пустоты, тепла, – весь этот мириадный мусорный космос громоздился за его плечами, шлейфом тянулся, бряцал, клацал, пел, влачился...» [3. № 2. С. 37].

Принципиальное отличие Иличевского от Платонова видится в отношении к артефактам, вещам, созданным человеком. Для Платонова труд человека – не простая переделка природного мира, а одухотворение энтропийной материи, приращение её жизненных сил. Машина и любая вещь, к которой прикоснулась рука человека, уподобляется телу, одушевляется по восприятию мифологического сознания. Для Иличевского созданная вещь, способная «улучшить» органический мир и самого человека, – это антропологический конец, подмена человека роботом-гомункулюсом, големом, куклой. Бездушная копия не просто мертва, она – искушение более совершенным, понижающим создавшего её человека до раба вещи. Наблюдая за совершенным, «скульптурным» телом Вади, Королёв чувствует эффект статуи какого-то великого человека: искусство раскрывает лучшее и нереализованное в живом теле и тем подменяет ценность живого. Сам же

Вадя тоже отдаёт приоритет несовершенному живому, задаваясь вопросом, почему мёртвые красивее живых: «Лица их, больше не искажённые мимикой желаний, страха, радости, равнодушия, гнева, оказываются умнее, значительней, краше, порой до неузнаваемости. В смерти, что ли, правда? Нет, он знал, что жизнь – это хоть что-то по сравнению с дыркой от бублика...» [3. № 2. С. 39]. Точно так и естественное чувство Нади мешает ей отдавать приоритет неживому как более совершенному. Когда Наде подарили заводную собачку, которая тьякала, имитируя живую, Надя отвергла подарок.

Напротив, окультуренное сознание готово признать соблазн артефакта выше несовершенного живого явления. Королёв в отчаянии после гибели своей любимой Наташи пытался заменить живое неживым, заказал статую, увиденную на кладбищенском памятнике, и некоторое время общается дома со статуей, одевая её, обедая вместе с ней за столом. Но иллюзия жизни постепенно утрачивает власть над Королёвым, и он принимает реальность, где живое и неживое смешаны, где неживое предстаёт как разложение форм живого, возможно, почва новой жизни, но не более совершенная вещь.

В мастерской скульпторов и на даче Вучетича, в «пространстве, покорённом буйным потоком человеческой плоти», эскизы памятников напоминают «карусель двойников», «каменное столпотворение», «свалку гипсовых голых тел» [3. № 3. С. 35] – «ледяная» нога пугает его. Возникает в воображении фантазмагорическая картина вытеснения неживым живого: «...есть одна такая ночь, когда эти скульптуры оживают и выходят на улицу... толпятся, поводя голыми глазами: жгут костры, погружая в пламя каменные руки». Но мираж исчезает при свете электричества и при свете разума, подмена не торжествует: «...сверху на него обрушились козлоногие маршалы, композиторы на летающих нотных скамейках, богиня правосудия, похожая на прачку...» [3. № 3. С. 36].

В книге эссе «Гуш-Мулла» [13] Иличевский рассуждает о сюжете выхода рукотворного создания из-под власти его создателя и фиксирует в современной культуре новое отношение к сотворенной форме, подменяющей человека: инкубус нацелен на идею полного воплощения, «включает и столь насущную для современности "машинную" парадигму: искусственный интеллект, клонирование и т.д.», тогда как несовершенство голема-инкубуса состоит в «неодухотворенной немоте». В главе «Кукла как упаковка пустоты» Иличевский объясняет архаическое отношение к кукле как имитации человека: куклы отвратительны так же, как и мертвецы. «Душа, еще будучи при теле, словно теплород разогревает чуть выше точки плавления токи этой нижайшей фракции нефти, которой напитаны ткани. Отлетая, душа предоставляет тело участи затвердевания». Негативное отношение к созданному телу, соотносимому с мёртвым телом, Иличевский объясняет мизантропией: «Не-нависть к неживому, но правдоподобному, – по-видимому, есть естественное продолжение мизантропии, каковое столь же естественно, как и продолжение человека – трупом или куклой: человек в подавляющем множестве своих состояний мало чем отличается от этих двух, – даром что дышит, тепел и, возможно, красноречив». «Кукла-пустышка вызывает отвращение не потому, что обманывает <...> а потому, что благодаря сходству отображения показывает вашу собственную суть, или в лучшем случае содержание: рабское ни-

что – пустота, взятая в полон своей же пустотою. Обнаружив себя, кукла как бы говорит: "Привет, это я. Но может быть – и ты. И знаешь, почему? Потому что ты так же, и благодаря тому же похож на самого себя, как и я – на ничто"». «Подлинная жизнь – всегда усилие свободы. Смерть потому и ненавистна, что лишает последнего шанса быть свободным. И только поэтому кукла мертва – у нее нет такого шанса». «Любовь к кукле всегда является вариантом нарциссизма, приумножающего своим влечением к отражению собственное естество – рабство у ничто».

Эти размышления близки к тому амбивалентному отношению к человеческому телу, в котором герои Платонова с сожалением обнаруживают как бы осквернённую несовершенным телом душу, сомневаясь в ценности человека, если неизменно его душа обитает в теле, в органах телесного низа, а не в груди, не в горле или сердце, как в архаической мифологии: «Самбикин вскрыл сальную оболочку живота и затем повел ножом по ходу кишок, показывая, что в них есть ... Сарториус склонился ко внутренности трупа, где находилась в кишках пустая душа человека. Он потрогал пальцами остатки кала и пищи, тщательно осмотрел тесное, неимущее устройство всего тела и сказал затем: "Это и есть самая лучшая, обыкновенная душа. Другой нету нигде"» [2. С. 34].

Разочарование в человеке и его душе связано с разочарованием в том, что не исполнились надежды на быстрое исправление жизни, и причина – в несовершенном человеке. Сарториус приходит к мысли, что «внутренний механический закон человека, от которого бывает счастье, мученье и гибель», связан не с «разумом желудка» и нужно искоренить животную, природную, постыдную сущность человека: «...необходимо понять все, потому что либо социализму удастся добраться во внутренность человека до последнего тайника и выпустить оттуда гной, скопленный каплями во всех веках, либо ничего нового не случится и каждый житель отойдет жить отдельно, бережно согревая в себе страшный тайник души, чтобы опять со сладострастным отчаянием впиться друг в друга и превратить земную поверхность в одинокую пустыню с последним плачущим человеком...» [2. С. 39]. Примечателен ответ Божко: «Пора бы уж <...> Надоело как-то быть все время старым природным человеком» [2. С. 40]. Ранее Сарториус думал, что «лучше преклоняться перед атомной пылью и электроном», и доказывал, что «после классового человека на земле будет жить проникновенное техническое существо, практически, работой ощущающее весь мир» [2. С. 24].

Герой Иличевского, занимавшийся как раз «атомной пылью и электроном», отвергает мизантропию, ведущую к принятию Не-живого, нечеловеческого, хотя, как уже было сказано, понимает, что метаморфозы природной материи приведут к концу человека как сознания и языка материи. Королёв пытается найти возможность преемственности человеческого и постчеловеческого сознания материи: «Человеческое – вот что он всеми силами духа пытался отринуть от себя, пытаясь представить, изобрести язык, которым бы он встал на защиту этого же человеческого перед Неживым. <...> Все привычные картины не годились. Огненные колеса, катящиеся по небу, нагая женщина без головы, выше леса, шагающая впереди войны, стеклянные косцы, бесформенные в своей слепой ярости, широким махом собирающие

дань, – все эти образы были семечками по сравнению с тем, что восставало перед Королевым при мысли о великом Неживом. Там – в этом усилии логического воображения – что-то такое было уловлено им, что не поддается ни историческим, ни мифологическим, ни гуманистическим интерпретациям, и он ошибался: для этого нет языка, – какой язык у смерти, кроме *Ich liebe?*...» [3. № 2. С. 81–82].

В «Счастливой Москве» Самбикин, как и Королёв, осознаёт конечность жизни одного индивида, но под сомнение не ставится жизнь рода, тем более самой материи: «Где тот шлюз в темноте, в телесных ущельях человека, который скуп и верно держит последний заряд жизни?» [2. С. 25]. И он извлекает из мёртвого тела эликсир, спасающий от смерти Москву Честнову. Иличевского сближает с Платоновым антропологическое видение человека как порождение материи, проявления случайных превращений не только живой, но и неживой материи, версия «биогенного происхождения нефти» и, напротив, гипотеза о «возможной не одухотворенности, но оживленности неорганики», «первые организмы зародились именно под землей <...> жизнь восстала из недр»; мысль «о растении менее живом, чем животное, о камне менее живом, чем растение, об атоме менее живом, чем камень... словно бы уподобленном дремлющей перед становлением монаде» [3. № 2. С. 44]. Общее для Платонова и Иличевского представление, что человек возникает как результат метаморфоз природы (живой и неживой), как её рупор, выражение её сознания. Однако в кризисных произведениях Платонова констатируется утрата рождающей силы природы (бездетны Москва и Надя, бездетны мужские персонажи).

У Иличевского человек уже не устремлён к будущему, нет иллюзии преодоления распада, потому что он имеет другую модель бытия – вечный самораспад и стихийное возникновение новых форм, человек может смениться любой иной формой самосознания материи. «Что это? Машина? Но с машиной можно договориться, она сама создана языком, машинным. Неживая материя, атом, находящийся в обмороке? Ген, всей штормовой совокупностью азбучных молекул оповещающий о брошенном им вызове? Мыслящий белок? Всё это было непредставимо...» [3. № 2. С. 81].

Герои Платонова ищут счастья, сначала – всеобщего, затем (кроме Самбикина) частного, «человеческого». Герои Иличевского отказываются от защитных средств цивилизации, оставаясь наедине и с продолжающей быть цивилизацией, и с природно-материальным миром. Они идут к внеэтичности «опрошенного» существования, что возвращает способность слышать «зов бытия», чувствовать бытие не опосредованного знаниями, культурой. В этом персонажи Иличевского подобны персонажам Платонова, не растерявшим «сокровенность» сознания – органичного, телесно-чувственного, слышащего душу природы («джан») вопреки рационалистическим идеям, толкающим к вторжению в природу.

Роман Иличевского связан с романом Платонова не только проблемно, сюжетными ситуациями, художественной перспективой, но и перекличкой некоторых деталей и ситуаций, позволяющих предположить, что «Счастливая Москва» была прочитана современным прозаиком, а возможно, возникала в процессе создания собственного текста о постсоветской андеграундной

Москве. Таковы ситуации, связанные с мотивом метро – котлована для будущего города, губящего людей, – у Платонова, а у Иличевского – построенного и безжизненного подземного мира, удваивающего надземную цивилизацию, ставшего предупреждением исчезновения надземной цивилизации. Метро у Иличевского вписывается в онтологические масштабы геологических слоёв материи под напластованием культурных слоёв как превращение живой материи в неживую (каменеющую, превращающуюся в нефть), и напротив, каменные слои метро готовы к новым метаморфозам, хранят потенциальную энергию (газ, нефть) живого огня. Даже образы городских котлованов, раскопок для новых зданий новых хозяев жизни, даются Иличевским как хранилища распавшихся, ставших ненужными для новой жизни вещей, тел. Надя и Вадя собирают неожиданно открывающиеся «клады», лишившиеся своей ценности и вошедшие в круговорот превращений. Для Иличевского котлованы – не могила, а погребение, проявляющее онтологический закон метаморфоз материи. Город видится Королёву как скрытый в современном ландшафте макет прошлой жизни, можно снять вековые верхние слои и оказаться на улицах, бывших местом жизни людей. Очевиден онтологический масштаб видения социальной истории.

Вертикаль, обозначенная небесной сферой, важна в романе Платонова: равнодушное небо стоит над движущейся жизнью людей, но губит не небо, а неразумение человека: Москва, закулив, поджигает парашют спичкой и падает на землю, повторяя падение Икара. У Иличевского есть ситуация, связанная с подъёмом в небо и прыжком с парашютом. Современный эпизод воспринимается как римейк: аэродром, построенный в романтические 1930-е гг. (время действия романа Платонова), заброшен, сохранившиеся самолёты используются для учебных полётов и прыжков в космическую эпоху, выдвинувшую человека в масштабы Вселенной. Бродячие бомжи на пути к югу поднимаются в небо и совершают прыжок без гибельных последствий, но и без открытия в небе свойств бытия. Напротив, до прыжка небо представляло тайну иного пространства, после оно показалось мнимо доступным. К Королёву вернулось ощущение неба как духа материи не во время полёта, а в ситуации ментальной интерпретации природного явления – шаровой молнии, которая показалась ему «мучительным сгустком сознания» материи: немое сознание бытия явило ему сгусток энергии и, возможно, убило его (финал неопределён).

Тема слова связана у Платонова с Божко – эсперантистом, ищущим универсальный язык, который бы объединил всех людей. Но это искусственный язык, а сюжеты романа показывают непреодолимость границ между людьми, не понимающими друг друга не только потому, что вкладывают в слова разный смысл. У Иличевского слово – средство связи между людьми, отделённое от реальности, поэтому слово способно быть средством коммуникации, но не познания бытия. Убеждённость молодого Королёва, что универсальность математического языка выражает истины бытия, сменяется сомнением и в знаковом, и в вербальном языке: «Давно у него сквозила наивная, но правдивая идея, что музыка – едва ли не единственный язык, чьи атомолексемы либо совсем не обладают означаемым ими смыслом, либо «граница» между этими сущностями настолько исторична, что в результате слышится

не музыкальная «знаковая речь», с помощью которой сознание само должно ухитриться восстановить эмоциональную и смысловую нагрузку сообщения, а, собственно, музыка *уже* то, что мелодия только должна была до нас донести, минуя этот автоматический процесс усилия воссоздания. То есть – *чистый смысл*» [3. № 3. С. 50–51]¹.

Так человек, осознававший свою сущность как способность к интерпретации бытия, приходит к состоянию «усомнившегося» в своих возможностях. И здесь проявляется концептуальное схождение писателей XX в., свидетельствующее о кризисе гуманистических идей и об антропологическом понимании человека. Движение к антропологизму обнаруживает трагический кризис человекоцентристской модели мира.

Литература

1. Корниенко Н. «... На краю собственного безмолвия» // Новый мир. 1991. № 9. С. 58–63.
2. Платонов А. Счастливая Москва: роман // Новый мир. 1991. № 9. С. 29–76.
3. Иличевский А. Матисс: роман // Новый мир. 2007. №2. С. 8–82; № 3. С. 28–93.
4. Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии / пер. А.Г. Чернякова. СПб.: Высш. религиозно-философская школа, 2001.
5. Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988.
6. Гелен А. О систематике антропологии // Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988.
7. Подорога В. Феноменология тела. М.: Ad Marginem, 1995.
8. Хоружий С. Очерки синергийной антропологии. М.: Ин-т философии, теологии и истории, 2005.
9. Дорофеев Д. Философская антропология. URL: <http://antropology.rchgi.spb.ru>
10. Магун А. Отрицательная революция Андрея Платонова // Новое литературное обозрение. 2010. № 106. URL: <http://old.magazines.russ.ru/nlo/2010/106/ma7.html>
11. Пригожин И. Философия нестабильности // Вopr. философии. 1991. № 6. С. 46–52.
12. Платонов А. Из неопубликованного // Новый мир. 1991. № 1.
13. Иличевский А. Гуш-Мулла. М.: Время. 2008. URL: <http://www.netslova.ru/ilichevskii/mulla.html>
14. Рыбальченко Т. Вербальный, визуальный и звуковой языки познания онтологии в романе А. Иличевского «Матисс» // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2012. № 4. С. 98–115.

A. ILICHEVSKY'S *MATISSE* IN THE CONTEXT OF A. PLATONOV'S *HAPPY MOSCOW*: AN ANTHROPOLOGICAL ASPECT

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 3 (41). 135–155. DOI: 10.17223/19986645/41/12

Rybalchenko Tatiana L., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: talery. 48@mail.ru

Keywords: A. Platonov, A. Ilievsky. artistic anthropology, plot of care, natural and social, bodily and spiritual, organic and material.

The article explores links between the artistic conceptions of Andrei Platonov and Alexander Ilievsky who both address a common anthropological turn from humanistic mythology in the twentieth century, as well as a mismatch between the ontological picture of the world and ideas about nature, and man's mission in being.

Happy Moscow (1932–1936) is part of Platonov's unfinished project about the new Soviet reality after the collapse of the old society. The novel was supposed to reflect the first results of civilization changes in the new Russia. The written part of the novel, in spite of the reduced depiction of the situations of social construction, testifies to the author's ambivalent evaluation of the project aimed to per-

¹ Подробнее см.: [14. С. 98–115].

fect nature, society, and man. The reason is the correction of the utopian ideas of the early Platonov, close to the Russian cosmists: man as a transformer of natural matter is replaced by the ethical man who preserves the phenomena of real life. It is possible to say that Platonov, at the time of writing *Happy Moscow*, is close to the anthropological conception of man: man is a product of all natural cosmos; his nature, bodiliness inhibit his pretensions to reorganize social reality and perfect the laws of nature (death of the living, entropy of organic forms, etc.). At the same time, Platonov distinguishes man's ability to animate inert matter through labor and creation of things. As a result, Platonov, in his anthropology, combines archaic mythological ideas about the equality of life phenomena and cosmos, and ideas about man as a creator constructing a more perfect second nature.

Alexander Ilichevsky's novel was also created as an attempt to ponder on the result of the collapse of the previous social system – the collapse that canceled out not only the communist, but also civilization project whose beginning was explored by Platonov. Similarly to Platonov, Ilichevsky writes not a social, but a philosophical novel about the loss of a humanistic myth of man as a peak of natural evolution. The anthropological aspect of depicting man in the situation when all the previous foundations are being broken testifies not only to the reduction of the creative efforts of man when he is occupied exclusively with survival, but also to the reduction of the existential intention to be an interpreter of being.

The comparison of the novels is meaningful not so much due to the direct influence of the classic on the young writer as because of the commonness of important structural elements in their literary systems with similar conceptions of nature, society and man. The article analyses similar situations in the plot: open consciousness after the change of social conditions; refusal from the social status and vagrancy (Moskva Chestnova, Sartorius, Komyagin and Korolyov, the homeless Vadya and Nadya); the situation of approaching ontological consciousness after the loss of social dogmas and epistemes (natural-cosmic aspect of the learning of life); disappointment in the previous philosophical and scientific ideas. The article analyses the system of characters as variants of different paths to ontological consciousness: the meaning of male and female characters with the reduced vital, erotic intention and ethical attitude to life in Ilichevsky's characters; the movement of Platonov's characters from serving distant goals to serving "the close" (Sartorius, Moskva, Bozhko, Komyagin accept the position of service instead of the position of a reformer), and marginalization of Ilichevsky's characters connected with the loss of the evolutionary picture of the world (the influence of the synergetic conception of non-linear development). The article discusses similar plot, imagery, and verbal motifs (flight and going underground; attitude to body and thing; conceptions of soul and body, the dead and the live, etc.)

The anthropologism of Platonov and Ilichevsky is manifested in different conceptions of man as a product of natural cosmos: Platonov's characters tragically go through the powerlessness to harmonize the social and natural world of man and nature; Ilichevsky's protagonist realizes the finiteness of man as a thinking creature of nature that is being ousted by unpredictable biological forms or artifacts, such as electronic civilization.

References

1. Kornienko, N. (1991) "... Na krayu sobstvennogo bezmolviya" ["... At the edge of his own silence"]. *Novyy mir*. 9. pp. 58–63.
2. Platonov, A. (1991) *Schastlivaya Moskva*. Roman [Happy Moscow. A novel]. *Novyy mir*. 9. pp. 29–76.
3. Ilichevskiy, A. (2007) *Matiss*. Roman [Matisse. A novel] *Novyy mir*. 2. pp. 8–82; 3. pp. 28–93.
4. Heidegger, M. (2001) *Osnovnye problemy fenomenologii* [The basic problems of phenomenology]. Translated by A.G. Chernyakov. St. Petersburg: Vysshaya religiozno-filosofskaya shkola.
5. Scheler, M. (1988) *Polozhenie cheloveka v kosmose* [The position of human in space]. In: Popov, Yu.N. (ed.) *Problema cheloveka v zapadnoy filosofii* [The problem of man in Western philosophy]. Moscow: Progress.
6. Gehlen, A. (1988) *O sistematike antropologii* [On the taxonomy of anthropology]. In: Popov, Yu.N. (ed.) *Problema cheloveka v zapadnoy filosofii* [The problem of man in Western philosophy]. Moscow: Progress.
7. Podoroga, V. (1995) *Fenomenologiya tela* [Body phenomenology]. Moscow: Ad Marginem.
8. Khoruzhiy, S. (2005) *Ocherki sinerghiynoy antropologii* [Essays on synergetic anthropology]. Moscow: Institut filosofii, teologii i istorii.

9. Dorofeev, D. (c. 2012) *Filosofskaya antropologiya* [Philosophical anthropology]. [Online]. Available from: <http://antropology.rchgi.spb.ru>.
10. Magun, A. (2010) Otritsatel'naya revolyutsiya Andrey Platonova [The negative revolution of Andrei Platonov]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 106. [Online]. Available from: <http://old.magazines.russ.ru/nlo/2010/106/ma7.html>.
11. Prigozhin, I. (1991) *Filosofiya nestabil'nosti* [Philosophy of instability]. *Voprosy filosofii*. 6. pp. 46–52.
12. Platonov, A. (1991) Iz neopublikovannogo [From the unpublished]. *Novyy mir*. 1.
13. Ilichevskiy, A. (2008) *Gush Mullla* [Gush Mullla]. Moscow: Vremya. [Online]. Available from: <http://www.netslova.ru/ilichevskii/mulla.html>.
14. Rybal'chenko, T.L. (2012) Verbal, visual and sound languages of ontology cognition in Matisse by A. Ilichevsky. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 4(20). pp. 98–115. (In Russian).

УДК 821.161.1.01/09

DOI: 10.17223/19986645/41/13

О.В. Седельникова

**ЛИТЕРАТУРА И ЖИВОПИСЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКЕ
А.Н. МАЙКОВА. СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. ОСНОВЫ СБЛИЖЕНИЯ
СЛОВЕСНОГО И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВ
В КРИТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ А.Н. МАЙКОВА¹**

В статье впервые представлено комплексное изучение вопроса о взаимодействии литературы и живописи в критическом наследии А.Н. Майкова. Установлено, что разговор о живописи становится следствием глубокого интереса критика к закономерностям, определяющим развитие современного искусства, дает особую точку зрения на литературу, с которой можно наглядно осмыслить проблемы, актуальные для современного словесного искусства, открывает новые возможности, учит использованию смыслового потенциала пластически зримых образов.

Ключевые слова: А.Н. Майков, художественная критика, литература, живопись, выставки в Императорской Академии художеств.

На протяжении всех этапов развития европейской культуры словесное и изобразительное искусство существовали в непосредственной взаимосвязи и очевидном обогащающем взаимовлиянии. В связи с этим проблеме взаимодействия литературы и живописи посвящено значительное количество исследований, демонстрирующих ее осмысление с разных методологических позиций [1–8]. Критическое наследие А.Н. Майкова дает богатый материал для изучения различных аспектов указанной проблемы в истории русской эстетической мысли и литературы середины XIX в., однако в силу комплекса обстоятельств [9. С. 34–35] оно еще не становилось предметом научного исследования.

В контексте эстетической ситуации 1840-х гг. и всего многовекового интереса литературы к пластическим искусствам обращение А.Н. Майкова к созданию статей о живописи [9, 10] оказывается закономерным явлением. В период эстетического самоопределения поэт осознанно реализовал себя в качестве художественного критика. При этом он выбрал предметом историко-теоретической рефлексии такой вид искусства, который оказывается очень близким литературе в силу ряда своих особенностей. Уже при беглом знакомстве с текстами статей становится очевидным, что к рассмотрению произведения изобразительного искусства Майков подходит, опираясь на свой опыт литературного творчества, учитывая те оценки и требования, которые выдвигали читатели и критики к современной литературе, в том числе к его собственным стихотворениям и поэмам. Он рассматривает произведение живописи с точки зрения тех эстетических задач, которые заострили современ-

¹ Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-04-00395а).

ная русская литература и литературная критика. Здесь проявляет себя важнейшее свойство статей Майкова о выставках в Академии художеств: восприятие литературы и живописи как двух искусств, использующих разные подходы и технические приемы, но отвечающих общим требованиям, как вечным, так и эпохальным, решающих общие задачи и служащих одному делу. Такой подход обусловлен тем, что в сознании Майкова-критика, наследующего принципы В.Г. Белинского, разные виды искусства живут по одним законам и подчиняются одним и тем же требованиям¹, предъявляемым уровнем нравственного, духовного и умственного развития современного человека. Поэтому за осмыслением той или иной проблемы изобразительного искусства всегда стоит размышление о литературе, а произведения современных писателей становятся зеркалом для трактовки содержания картин самых разных жанров. Живопись и литература выступают здесь в неразрывном единстве.

Важно принять во внимание и то, что изобразительное искусство в данную историческую эпоху несколько отставало от литературы, руководствуясь отжившими принципами нормативной эстетики, настойчиво оберегаемыми Академиями художеств по всей Европе [12. С. 42, 44–45]. Изменения в нем только назревали, но еще не стали всеобъемлющими, не начали определять все в содержании и формальном осмыслении предмета. Такова была ситуация в европейском изобразительном искусстве и искусствознании, важно подчеркнуть эту взаимосвязь. В литературе 1840-х гг. уже утвердились принципы реалистического изображения действительности. Эти принципиальные изменения в сфере содержания и формы уже были зафиксированы литературной критикой, хотя и не получили еще всестороннего осмысления. В изобразительном искусстве пока сохраняли господство эстетические теории, выработанные в эпоху классицизма.

Обращаясь в своих статьях к разбору представленных на выставках произведений изобразительного искусства, Майков смотрит на них с точки зрения тех актуальных потребностей современной культуры, которые обозначены литературно-эстетической борьбой тех лет, и опирается на традиции философской теории эстетики и литературную критику в целом и особенно на методологические позиции Белинского, обосновавшего в своих статьях важнейшие тенденции развития современной литературы. Такой подход проявился уже в путевом дневнике Майкова 1842–1843 гг. [13].

Принцип взаимоотражения двух видов искусств проявляется в осмыслении всех значимых для критика проблем. Выделим важнейшие из них, организуя проблематику статей в целом. Основой для последующих аналитических построений в статьях Майкова становится принцип историзма, принятый им у Белинского, применившего его к оценке литературных произведений. Только такой подход, по его мнению, позволяет дать адекватную оценку и отдельному произведению искусства, и деятельности представителей целого направления. В связи с этим очень важным для Майкова становится вопрос о современном содержании произведений искусства. Решая его,

¹ В.Г. Белинский утверждал эту идею неоднократно. Одно из развернутых ее выражений см. в статье «Ответ «Москвитяину»» [11. Т. 10. С. 248].

он спорит с распространенным в европейской художественной критике убеждением в том, что современное искусство переживает глубокий упадок, лишившись высокого содержания и обратившись к изображению обыденной жизни [14, 15]. Подобный аргумент использовали и противники «натуральной школы», видевшие в обращении к реалистическому изображению жизни признак деградации литературы, отказ от художественности. Размышляя о должном предмете современного искусства, Майков требует отказа художника от ультраромантического мировосприятия, лишённого истинного представления о жизни и отрицающего прекрасное в современной действительности. Молодой критик отстаивает предельно широкий взгляд на проблему, подчеркивая необходимость художественного воспроизведения обыденной жизни в ее типичных проявлениях, внимания ко всем ее сферам (в том числе к изображению социальных пороков), подсвеченного сочувствием художника предмету изображения. Отстаивая свою позицию, он обращается к образу читателя / зрителя и рисует портрет современного человека, чьи духовные потребности определяют предмет изображения в современном искусстве:

В самом деле, он ценит и восхищается Гомером; даже читая его в переводе, понимает лучше, чем понимали реставраторы древности в Египте, говорившие не иначе как языком Гомера и Цицерона; он слушает трагедии Корнелия и Расина, отделяя в них, что принадлежит эпохе, что вечно, истинно и прекрасно; но он же с жадностью читает Диккенса, с жадностью следит развитие тех чувств и положений, в которых сам находился¹. Вот почему в живописи он более всего сочувствует так называемому *genre*'у [16. С. 33].

Майков выявляет историзм культурного сознания современного человека и подчеркивает отсутствие риторической заданности в представлениях об изображении того или иного жизненного сюжета или образа. Кроме того, способность сочувствовать и проникаться тем, что близко человеческому опыту, позволяет критику обосновать то, что предметом изображения в современном искусстве должна быть обыденная жизнь, так как только она, а не идеальные сюжеты понятна современному человеку и вызывает его сочувствие.

Исходя из этой характеристики потребности читателя и зрителя, Майков обращается к осмыслению проблемы художественного метода и жанра, позволяющей художнику ответить на запросы публики, и выявляет ретроградность традиционного понимания жанровых форм в европейских академиях живописи. В начале первой статьи о выставке в Императорской Академии художеств 1847 г. критик обращается к размышлению о формализме традиционных жанровых дефиниций и необходимости переосмысления этого подхода с опорой на опыт литературы [17. С. 64]. В статьях следующих лет Майков развивает эти идеи, рассматривая традиционно применяемые в современном искусствознании категории вкуса, стиля и т. п.:

¹ Здесь и далее в цитатах при отсутствии специальных указаний курсив автора, разрядка моя. — О.С.

...вкус в некоторых картинах с успехом разбивает оковы мнимого *стиля*... Вот слово, которое вы часто слышали из уст знатоков; но спросите их, что они понимают под этим словом, они не дадут вам ясного определения. Это, если угодно, остаток своего рода риторики в теориях искусств – то же самое, что слог высокий, средний и низкий в литературе. <...> Эти забавные толкования в последствии времени изменились, но несколько не уяснили предмета. Под стилем стали понимать «соблюдение известных законов вкуса; при выполнении их – картина хороша, а при опущении – дурна. *Стилю* противопоставляют *манеру*: манера – личное качество художника; так можно иметь *хорошую манеру* и написать картину *без стиля*»... Не видите ли вы из употребления этих слов, что стиль есть то же, что *слог*, а манера – *язык*? Так говорят, что, например, у Гоголя нет *слога*, но язык *хорош*; у Пушкина (в его прозе) не находили *слога*, но не могли не отдать справедливости языку. Как *слог* был принадлежностью произведений писателей псевдоклассической школы, так и понятие о *стиле* родилось в эпоху академического классицизма в искусствах, и стиль тогда разделяли, как мы видели, тоже на *высокий*, *средний* и *низкий*, который только назван *champêtre*¹. В академиях, принявших в основание эстетических начал теории Менгса и Винкельмана, а еще более «очищенный вкус» школы Давида, произошла своего рода сортировка художников <...>. Из этого уже видно, что *высокого* стиля искали преимущественно в условной красоте рисунка и в выборе только тех подробностей обстановки, которые не напоминали ничего обыкновенного; здесь повторилось то же, что и на театре: *высокий* стиль живописи соответствует классической трагедии, и родство его так велико, что этот стиль лучше всего характеризует название *театрального*; от истинной драмы, от драмы жизни, какую мы видим у Шекспира, классические трагедии так же далеки, как и театральный, классический, *высокий* стиль живописи. Таким образом, грация, наивность, истина, мысль, чувство и оригинальность были поглощены *стилем*...» [18. С. 59–60].

Осмысливая проблему стиля, критик постоянно переходит от живописи к литературе, опираясь на общность этих искусств, заключающуюся в возможности прямого изображения жизни и восходящую к теории мимесиса. Сама постановка общих проблем, характеризующих состояние современного изобразительного искусства, свидетельствует о том, что живопись и литература составляют для Майкова единый эстетический контекст, позволяющий реализовать принципы аналогии и уподобления. Такой подход к осмыслению современной живописи возможен потому, что эти проблемы уже эмпирически переосмыслены Майковым на литературном материале. Ретроградность теоретических установок европейских академий живописи, определяющих их требования к современному искусству, была особенно очевидна на фоне активного усвоения современной социальной проблематики художественной литературой и утверждения новых эстетических идей в литературной критике. Принцип аналогии, позволяющий установить подобие между предметно и тематически родственными жанрами живописи и литературы, дал возможность Майкову наглядно и очень лаконично, без лишней риторики, воплотить

¹ сельский (фр.).

свои идеи и показать необходимость существенных изменений в живописи, необоснованно отставшей от современной литературы. Живопись должна пройти путь литературы «натуральной школы», принять обыденную жизнь как предмет художественного исследования, научиться адекватному ее воспроизведению, а художественная критика в ответ на это должна представить адекватную трактовку этого актуального современного содержания.

Опираясь на опыт современной литературы и свои собственные творческие поиски, Майков отстаивает современность популярных в настоящее время так называемых низких жанров – портрета, пейзажа, жанровой живописи, распространение которых, по мнению теоретиков, свидетельствует об упадке современного искусства. Доказывая их актуальность, критик прибегает к литературной аналогии, говоря об интересе к Диккенсу [16. С. 33]. Отсылка к произведению современной литературы позволяет доходчиво объяснить читателю причину отказа от изображения высоких сюжетов и пристального интереса к обыденной жизни. Такие сюжеты позволяют воздействовать на душу читателя и зрителя, апеллируют к его человеческому опыту, возбуждают сострадание, пробуждают эстетическое чувство, а вслед за ним побуждают к размышлениям о жизни, о себе, о возможности улучшить и изменить мир вокруг. Постоянный свободный переход от живописи к литературе и обратно свидетельствует о том, что между ними нет непроходимой границы. Говоря ли о состоянии современной живописи в целом или разбирая отдельные картины, их содержание, особенности сюжета, композицию и т.п., Майков имеет в виду и литературу. Последовательное установление контекстуальной связи между живописью и литературой делает эти размышления критика одновременно важным фактом литературной полемики конца 1840-х гг., органически связанным с теми формальными поисками, которые вели молодые представители новой литературы, прежде всего Ф.М. Достоевский и И.А. Гончаров, обсуждавшие свои произведения в кружке Майковых.

В трактовке вопроса о художественном методе, позволяющем адекватно передать и в живописи, и в литературе все многообразие форм современной жизни, ее драматизм и борьбу страстей, для Майкова-критика важным становится размышление о сложности процесса вызревания поэтической идеи, лежащей в основе художественного произведения, о тонкой взаимосвязи между этой идеей и породившим ее фрагментом реальности, а в связи с этим – о верности природе. Как должно понимать требование верности природе? Что движет художником, что определяет его взгляд на предмет изображения, к чему стремится он: создать копию предмета или творчески переосмыслить его, сопроводить своим осмыслением и переживанием и заставить, таким образом, читателя проникнуться идеей картины и вполне сочувствовать ей. В той или иной степени этот вопрос поднимается во всех статьях, сопровождаемая многочисленными аналогическими уподоблениями подобных случаев в литературе и живописи. В связи с этим уже в первой статье Майков ставит вопрос о соотношении реального факта, положенного в основу произведения, и впечатления художника, преобразованного творческим вдохновением:

Некоторые художники и нехудожники полагают, что пейзаж, как бы его ни изображали, стихами или кистью, должен быть списан именно тогда, ко-

гда смотришь на прекрасный вид <...>. Смею сказать, что это утверждение высказывает только полное незнание психологии. Творчество в искусстве есть акт, требующий полного самообладания; оно исключает всякое постороннее влияние на душу, меж тем как в ту минуту, когда вы наслаждаетесь, созерцая роскошный вид природы, вы ею подавлены: это все равно, что наслаждение музыкой, что беседа с милой.. <...> Слово «вдохновение» слышишь на каждом шагу, так что оно совсем опошлено; но оно точно есть, и вы его чувствуете в произведении художника, только не знаете, что оно такое... Это, как мы сказали, момент полного самообладания; это минута духовного просветления, когда взору вашему вдруг представится ярко и резко то, что вы хотите изобразить, и картина, которую вы пишете, не вне вас, не перед вами, но в вас; вы ее чувствуете; вы ею владеете, вы ее лелеете храня от постороннего развлечения, и только вас нудит передать стихом или кистью так, как она находится в вашем воображении, осветив ярко некоторые точки, которые осветились у вас сильнее, и проводя оттенок и на посторонние предметы, второстепенные, вскользь, но так, чтобы одна господствующая черта, одна эстетическая мысль господствовала в целом и подчиняла своему влиянию части. Вот это-то и есть тайна организма художественного произведения – не копия частей, сложенных механически в целое, не мозаика, не сколок... [19. С. 169–170].

Критик подчеркивает, что важнейшим посредником между реальностью и той картиной, которую мы впоследствии видим в художественном произведении, становится творческая натура художника, которая воспринимает самую суть взволновавшего его сюжета, переосмысливает ее особенности, очищает от всего лишнего и наносного, выделяя главное, расставляет акценты – преобразует в «эстетическую мысль».

Важно отметить, что философско-эстетическая рефлексия начинающего критика (размышления о вдохновении появились в апрельском номере журнала «Отечественные записки» 1847 г. в дебютной статье, посвященной выставке картин Айвазовского) особым образом преломляется в его собственных творческих экспериментах той поры, а также в исканиях его ближайшего окружения. Так, И.А. Гончаров обсуждал в то время в кружке Майковых раннюю редакцию сна Обломова, а Ф.М. Достоевский вдохновенно работал над повестью «Хозяйка» – первым произведением, написанным после разрыва с кружком «Современника» и обретения плодотворной атмосферы интеллектуально-артистических поисков и новых друзей-единомышленников в кружке Майковых, друзей, которые, как писал Достоевский брату, «вылечили меня своим обществом» [20. Т. 28 (1). С. 134]. «Хозяйка» ознаменовала серьезный разворот творческих поисков молодого писателя, в том числе в аспекте художественного психологизма и трактовки внутренней жизни личности. Очевидно, что особенности поэтики этого произведения сформировались в атмосфере напряженных дискуссий в кружке Майковых, где, разумеется, подробно обсуждались и концептуальные идеи, связанные с редакторскими планами Вал.Н. Майкова, и критический дебют А.Н. Майкова. Не вызывает сомнения, что осмысление сложного процесса вызревания «эстетической мысли» неоднократно становилось предметом обсуждения в беседах Майкова с Достоевским. Обращения к ней как в 1840-е, так и в 1860-е гг. предвос-

хищают размышления о поэме «как самородном драгоценном камне, алмазе в душе поэта», высказанные Достоевским в известном письме Майкову из Флоренции от 15 / 27 мая 1869 г. [20. Т. 29 (1). С. 39]¹.

Проблема художественного воображения как средства поэтического преобразования действительности в перспективе становления русской психологической прозы с ее диалектической глубиной и многогранностью восприятия жизненных явлений была одной из актуальнейших в российской эстетической мысли 1840-х гг. Уже Белинский постоянно обращался к ней в связи с осмыслением творчества Гоголя и Диккенса, способных сочувствием и теплым юмором вознести совершенно приземленный предмет до образца высокой поэзии. Одним из ярчайших примеров рассмотрения критиком этой проблемы является анализ художественной природы «Старосветских помещиков» [11. Т. 1. С. 292–293]. Обобщая идеи предшественников и свой собственный опыт изучения произведений литературы, в 1846 г. Вал.Н. Майков, сформулировал в статье «Стихотворения Кольцова» «закон симпатии» как основу художественного воспроизведения предметов и явлений окружающей жизни: «...художественное творчество есть пересоздание действительности, совершаемое не изменением ее форм, а возведением их в мир человеческих интересов (в поэзию)» [22. С. 108]. Весной 1847 г. А.Н. Майков в статье об Айвазовском продолжил мысль своего брата [19. С. 169–170], развив и конкретизировав его философско-эстетический тезис и наглядно применив его к интерпретации художественных произведений. Спустя несколько месяцев к осмыслению проблемы вдохновения как средства поэтического преобразования действительности вновь вернется Белинский, сделав ее одной из концептуальных основ последней своей большой статьи «Взгляд на русскую литературу 1847 г.» [11. Т. 10. С. 279–360]. Важно отметить, что Белинский и братья Майковы одними из первых коснулись здесь важной проблемы современного искусства в целом, которая масштабно разовьется уже в психологии и философии культуры XX в., – специфики рецептивной эстетики, проблемы авторской интенции, направляющей восприятие художественного произведения, ощутили актуальность этого вопроса, потребность в его постановке и постепенном осмыслении². Выдающийся филолог и философ культуры А.А. Потебня в 1862 г. в работе «Мысль и язык» писал:

Искусство то же творчество, в том самом смысле, в каком и слово. Художественное произведение не принадлежит природе: оно присоздано к ней человеком. <...> Искусство есть язык художника, и как посредством слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только пробудить в нем его собственную, так нельзя ее сообщить и в произведении искусства; поэтому содержание этого последнего (когда оно окончено) развивается уже не в художнике, а в понимающих <...>. Сущность, сила такого произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя или зрителя, следовательно, в неисчерпаемом возможном его содержании» [24. С. 186–187].

¹ О влиянии бесед с А.Н. Майковым на рождение этой формулы в сознании Ф.М. Достоевского см.: [21. С. 98–103].

² О роли В. Майкова в постановке этой проблемы см.: [23. С. 344].

Вдохновение, по мысли А.Н. Майкова, как элемент психологии творчества порождает в художнике то сочувствие предмету, которое позволяет изображению стать не холодной копией с натуры, а художественным произведением, будить сочувствие зрителя, служить не средством передачи информации, а прежде всего осуществлять эмоциональное воздействие, обуславливающее нравственную силу искусства¹. В статье о выставке 1853 г. критик разбирает картину мастера изображения сцен народной жизни, «старого любимца нашей публики» [25. С. 34] П.А. Риццони «Кабачок» («Питейный дом»), за которую художник получил звание академика. Несмотря на высокое признание мастерства Риццони академическими кругами, Майков, указывая в подробном разборе на множество неоспоримых достоинств «этой мастерской картины» как в сочинении, так и в подходе к его выполнению («...все поражает необыкновенной верностью; ничего из мельчайших подробностей не упущено художником и изображено так, что вы ни на минуту не задумаетесь, что это такое», «все изумляет вас мастерской отделкой, наблюдательностью и исполнением необычайным» [Там же]), делает существенное замечание по поводу той самой «эстетической мысли», которая призвана одушевлять произведение искусства и поднимать изображение обыденных и пошлых событий до уровня высокой поэзии:

...отчего же отходишь от нее как-то не вполне удовлетворенный? <...> Мы, веря всего более впечатлению и не любя головных суждений, долго пытались отдать себе отчет в неполноте душевного удовольствия при виде этой мастерской картины.<...> Если же картина такого рода лишена высоких человеческих интересов, а передает только то, что бывает в известных местах, она остается изумительно верной копией с действительности. Отчего? Оттого, что художник, как в зеркале, представил то, что происходит перед его глазами, и совершенно скрыл, какое впечатление оно возбуждает в его душе. У <господина> Риццони талант так велик, что мы требуем от него больше, и чего не в праве были бы ожидать от всех других известных нам талантов. Припомните в истории нашей литературы, как при первом появлении «Ревизора» и «Мертвых душ» Гоголя многие из наших писателей, думая подражать ему, ударились в изображение грязного, но действительно встречающегося в некоторых закоулках нашего быта. Изображения их были верны; но попробуйте прочесть их теперь – вы бросите книгу: грязь, ими изображенная, будет не более как грязью; впечатление будет тяжелое, даже несколько не забавное. <...> Эти писатели остановились на одной внешней стороне, на одной поверхности, и на первых порах не заметили, что в комизме Гоголя скрывается сердце, вовсе не сочувствующее грязному миру, который он изображал, и изображал с целью не простого дагеротиписта, а высокого моралиста. Он подставлял пороку зеркало, но так, как мать делает это с капризным ребенком, и говорит притом: «Поглядись в зеркало, на что ты похож теперь». Вот эта-то невидимая мать, это-то любящее сердце и составляет душу гоголевских сочинений, и ее-то не понимали его первые подражатели. Задача искусства не заключается в том, чтобы воспроизводить то, что есть, но в том истинное торжество его, чтоб передать внешними знаками то впечатле-

¹ Об этом свойстве подлинного искусства размышлял Достоевский, утверждая в статье «Г-н -бов и вопрос об искусстве» подлинную ценность таких «бесполезных», с точки зрения утилитаристов, шедевров, как статуя Аполлона Бельведерского или «Илиада» [20. Т. 18. С. 77].

ние, которое производят явления живущего мира на высокую душу, не упускающую никогда из виду идеала человеческого нравственного совершенства (курсив мой. – О.С.) [25. С. 34–35].

Обращение к литературным шедеврам «натуральной школы» позволяет критику без лишних объяснений дать читателю даже не понять, а именно почувствовать недостаток, имеющийся в картине Риццони «Кабачок». Майкова не устраивает в ней именно статистическая точность воспроизведения жизненных явлений при полном отсутствии выраженного авторского отношения к предмету изображения, эмоции, которая без риторических подробностей превращает художника в «высокого моралиста», совмещающего мастерство исполнения и «любящее сердце». Сопоставление нового опыта Риццони с произведениями Гоголя позволяет Майкову наглядно выразить весь комплекс идей, характеризующих гуманистическую позицию художника и роль вдохновения. Сказанное имеет равное значение как для живописи, так и для литературы. Отметим также, что сам подход к описанию картины Риццони «Кабачок» типологически и стилистически сходен с тем, который был реализован Майковым уже в первом подробном описании сюжета картины этого художника (картины «Толкучий рынок» в статье об академической выставке 1847 г. [17. С. 77–79], о которой критик напоминает читателю и здесь, организуя систему интертекстуальных связей между отдельными статьями). Вероятно, размышляя о природе сочувственного обращения автора к предмету изображения и его роли в произведении искусства, Майков высказывает те положения, которые горячо обсуждались с ближайшими единомышленниками. Проблематика размышлений о картине Риццони «Кабачок» коррелирует фрагменту из статьи В. Майкова о Кольцове, где критик, утверждая предметом современного искусства обыденную действительность, сравнивает Гоголя и его бездарных последователей, «полуцинических дагерротипистов, которые ничего не видят в Гоголе, кроме верного изображения всех оттенков действительности» [22. С. 99, 107–108]. Требование совмещения верности действительности с глубоким авторским сочувствием было важным и в эстетике Достоевского, разделявшим эстетические принципы своего друга. Достаточно вспомнить особенно репрезентативные в этом отношении образы Макара Деушкина, Мармеладова, Дмитрия Карамазова, сцены на Конногвардейском бульваре, увиденной глазами Раскольникова.

Предпосылки сближения литературы и живописи обусловлены не только тем, что они живут по одним общим законам, подчиняются общим эстетическим требованиям и различаются лишь техническими способами передачи замысла. С точки зрения Майкова, они отличаются от других искусств тем, что наиболее предметны и конкретны, имеют самую непосредственную связь с потребностями современного человека, отвечая его духовным и умственным запросам и при этом раскрывая ранее неизвестное и подспудно заставляя его размышлять о самых насущных проблемах современной жизни. Вследствие этого критик называет литературу и живопись «образовательными искусствами» и в выводах, которые делает после обсуждения важных историко-теоретических вопросов, говорит о живописи и литературе в целом:

...как видно из предыдущего, напрасно вопят многие, что *genre*, господствующий теперь в искусствах образовательных (т. е. жанровая живопись, физиологический очерк и социальная повесть. – *О.С.*), свидетельствует об оскудении духа... [16. С. 34].

Использование определения «образовательные искусства» по отношению к литературе и живописи весьма показательно: оно свидетельствует об особом понимании искусства как, с одной стороны, средства обучения, выполняющего дидактическую функцию, что не ново, а с другой – как фактора, свидетельствующего о новом уровне развития общественного сознания. Основой для такого объединения является способность этих искусств представить проблемы современной действительности в конкретных жизненных образах. В этом заключалось их коренное отличие от музыки, использующей более опосредованные, деформализованные, субъективные приемы воспроизведения жизненных явлений. Важно, что по отношению к литературе живопись становится не только «ученицей», которая должна пройти проторенным путем и обратиться к изображению всех проявлений обыденной жизни, но и «учителем»: если литература еще только училась воспроизводить при помощи слова объективные внешние формы реальной жизни и отражать через изображение этой внешней оболочки внутреннее содержание предметов, явлений и даже переживаний (И.А. Гончаров, Флобер), то живопись в силу своих родовых особенностей делала это всегда. Обращаясь к шедеврам жанровой живописи, литераторы изучали опыт нериторического художественного исследования жизни, овладевали опосредованными способами анализа внутренней жизни личности, которые станут важной чертой поэтики русской психологической прозы 1860–1870-х гг.

Таким образом, в обсуждении важнейших теоретических вопросов, организующих проблематику всех статей, Майков постоянно проводит аналогии между литературой и живописью или смотрит на них в неразрывном единстве. Это позволяет ему увидеть за отдельными формальными и содержательными изменениями эпохально обусловленные закономерности, лучше понять те тенденции, которые определяют и обосновывают творческие поиски ведущих представителей современной литературы, в том числе Достоевского и Гончарова.

Проблема отражения «внутреннего человека» в пластических искусствах занимает Майкова в связи с общим интересом участников кружка Майковых к разработке системы приемов психологического анализа, позволившей без излишней риторики отразить процессы духовной жизни героя, его внутреннюю сущность. Как показывает анализ особенностей проблематики и поэтики произведений представителей кружка второй половины 1840-х гг., эти вопросы волновали всех, начиная с теоретика Вал. Н. Майкова и заканчивая Е.П. Майковой, чья повесть «Недоумение» явилась интересным опытом, отражающим ранний этап развития русской психологической прозы [26. С. 221–242]. Как «показать», а не «объяснить», как выразить драматизм и трагизм без ложной патетики, как наполнить внутренним содержанием внешние формы? Все эти вопросы определяли направление развития искусства середины XIX в. и, соответственно, становились предметом творческой рефлексии писателей и художников, ищущих адекватных, лишенных ритори-

ки и формализма способов воспроизведения действительности в «образовательных искусствах». Весьма показательно, что они составляли предмет осмысления Майкова-художника в его творческой практике и одновременно предмет его теоретико-критической рефлексии. Отражение этого процесса в статьях является следствием глубокой обдуманности рассматриваемых вопросов и потребности в оформлении своих размышлений в общем контексте культурной полемики тех лет. Этот факт становится важным свидетельством того, что, казалось бы, такой ранее формализованный жанр, как обзор выставки, Майков наполняет глубоким проблемным содержанием, превращая его в факт саморефлексии культуры, отражающий размышления активного участника литературного процесса о том, каким должно быть современное искусство.

Во всех статьях Майкова о выставках в Императорской Академии художеств связь между литературой и живописью становится тем плодотворным началом, которое позволяет им преодолеть узкие рамки традиционных обзоров выставок и стать значимым явлением в развитии русской художественной и литературной критики той поры. Разговор о живописи становится следствием глубокого интереса Майкова к закономерностям, определяющим состояние современного искусства, к выявлению общих законов, обуславливающих тенденции его развития. Поэтому совершенно естественно, что за живописью всегда стоит литература. Живопись для Майкова становится тем материалом, который позволяет проще, выразительнее, нагляднее осмыслить проблемы, актуальные для современной литературы, и открывает новые возможности для самой словесности, обогащая ее тем, что ранее было недоступно, в частности, учит использованию смыслового потенциала пластически зримых образов.

Литература

1. Дмитриева Н.А. Изображение и слово. М.: Искусство, 1962.
2. Альфонсов В. Слова и краски. М.; Л.: Сов. писатель, 1966.
3. Пигарев К. Русская литература и изобразительное искусство. М.: Наука, 1966.
4. Фарыно Е. Семиотические аспекты поэзии о живописи // Russian literature. 1979. Vol. 7. P. 65–94.
5. Алексеев М.П. Взаимодействие литературы с другими видами искусств как предмет научного изучения // Русская литература и зарубежное искусств. Л., 1986. С. 5–19.
6. Женетт Ж. Палимпсесты: литература во второй степени. М.: Наука, 1989.
7. Корецкая И.В. Литература в кругу искусств // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х гг.): в 2 кн. Кн. 1. М., 2001. С. 131–191.
8. Рубинс М. «Пластическая радость красоты»: Экфрасис в творчестве акмеистов и европейская традиция. СПб.: Академический проект, 2003. 354 с.
9. Седельникова О.В. Проблемы атрибуции статей А.Н. Майкова о выставках в Императорской Академии художеств. Статья первая // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. № 380. С. 34–40.
10. Седельникова О.В. Проблемы атрибуции статей А.Н. Майкова о выставках в Императорской Академии художеств. Статья вторая // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. № 381. С. 52–57.
11. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений и писем: в 11 т. М.: АН СССР, 1953–1959.
12. Седельникова О.В. Проблема жанров живописи в художественной критике А.Н. Майкова // Вестн. Том. гос. ун-та. 2011. № 353. С. 42–47.
13. Майков А.Н. Путевой дневник 1842–43 гг. Итальянская проза. СПб.: Пушкинский Дом, 2013.
14. Седельникова О.В. Проблема историзма в статьях А.Н. Майкова о выставках в Императорской Академии художеств // Вестн. Том. гос. ун-та. 2011. № 346. С. 36–39.

15. Седельникова О.В. Проблема современного содержания произведения искусства в статьях А.Н. Майкова о выставках в академии художеств // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Сер. Филология. Искусствоведение. 2009. № 43 (181). С. 123–128.
16. Майков А.Н. Выставка в Императорской Академии художеств в 1849 году // Отечественные записки. 1849. Т. 67, № 11, отд. 2. С. 19–40.
17. Майков А.Н. Годичная выставка в Императорской Академии художеств // Современник. 1847. № 11. С. 57–80.
18. Майков А.Н. Выставка в Императорской Академии художеств // Отечественные записки. 1850. Т. 73, № 11, отд. 2. С. 57–74.
19. Майков А.Н. Выставка картин г. Айвазовского в 1847 году // Отечественные записки. 1847. Т. 51, № 4, отд. 2. С. 166–176.
20. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
21. Седельникова О.В. В дополнение комментария к письмам Ф.М. Достоевского А.Н. Майкову: (Письмо о «поэме» Достоевского и события русской истории в творческом осмыслении Майкова) // Сиб. филол. журн. 2012. № 2. С. 95–103.
22. Майков В.Н. Литературная критика. Л.: Худож. лит., 1985.
23. Манн Ю.В. Русская философская эстетика. М.: Искусство, 1969.
24. Потебня А.А. Мысль и язык. Харьков, 1892.
25. Майков А. Н. Годичная выставка в Императорской Академии художеств // Отечественные записки. 1853. Т. 91, № 11, отд. 2. С. 21–48.
26. Седельникова О.В. Ф.М. Достоевский и кружок Майковых. Томск: Изд-во Том политехн. ун-та, 2006.

LITERATURE AND PICTORIAL ART IN A.N. MAIKOV'S ARTISTIC CRITICISM. ARTICLE ONE: THE GROUND FOR ORAL LORE AND PICTORIAL ART RAPPROCHEMENT IN A.N. MAIKOV'S CRITICAL LEGACY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 3 (41). 156–169. DOI: 10.17223/19986645/41/13

Sedelnikova Olga V., Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: sedelnikovaov@tpu.ru

Keywords: A.N. Maikov, artistic criticism, literature, pictorial art, Emperor's Academy of Arts exhibitions.

In the aesthetic context of the 1840s and centuries-long interest of literature to the plastic arts Maikov's reference to the pictorial art is a natural phenomenon. During his aesthetic self-determination, the poet consciously fulfilled himself as a critic of art. Herewith, for his historic and theoretical reflection, he chose the sort of art which is, due to its constitutive properties, very close to literature.

Maikov's approach to works of visual arts founds on his experience of literary oeuvre, considers the accounts and requests the readers and critics made towards the works of modern literature, including his own poems. He looks at the works of visual art from the standpoint of the aesthetic goals offered by modern Russian literature and literary criticism. Here the major quality of Maikov's articles about the Academy of Arts exhibitions is manifested: the apprehension of literature and painting as the two arts, using different approaches and techniques, but meeting the same eternal requirements and requirements of the time, solving the same tasks and serving the same cause. This approach is determined by the fact that in the mind of Maikov-critic different sorts of art obey the same laws and meet the same requirements specified by the level of moral, spiritual and intellectual development of the modern man. That is why interpretation of different problems of visual arts is always connected with thoughts about literature, and works of modern writers turn into a mirror for reading the content of pictures of different genres. Pictorial art and literature in the critic's articles form an indivisible unity. It is clearly demonstrated in his opinion on the truth to the nature issue and its relation to inspiration and the author's compassion, which are important qualities of the genuine work of art. Using the principle of analogy to analyze *The Little Tavern* by Rizzoni, he appeals to the experience of Gogol, who masterfully combines realistic accuracy of depiction and deep compassion for the depicted.

In all Maikov's articles about the Emperor's Academy of Arts exhibitions, connection of literature and pictorial art becomes a fruitful ground, which helps them overcome the boundaries of traditional exhibition reviews and turn into a significant phenomenon in the development of Russian artistic and literary criticism of the time. That is why the fact that literature always stands behind visual arts is

very natural. For Maikov, painting becomes the material which helps easier, clearer and more expressively understand the topical problems of modern literature development and discovers new opportunities for the lore itself, enriching it with formerly unavailable things, in particular, teaches it to use the semantic potential of visible images.

References

1. Dmitrieva, N.A. (1962) *Izobrazhenie i slovo* [Image and word]. Moscow: Iskusstvo.
2. Al'fonsov, V. (1966) *Slova i kraski* [Words and paints]. Moscow; Leningrad: Sovetskiy pisatel'
3. Pigarev, K. (1966) *Russkaya literatura i izobrazitel'noe iskusstvo* [Russian literature and fine arts]. Moscow: Nauka.
4. Faryno, E. (1979) Semioticheskie aspekty poezii o zhivopisi [Semiotic aspects of the art of poetry]. *Russian literature*. VII. pp. 65–94.
5. Alekseev, M.P. (1986) Vzaimodeystvie literatury s drugimi vidami iskusstv kak predmet nauchnogo izucheniya [Interaction of literature with other forms of art as an object of research]. In: Alekseev, M.P. & Danilevskiy, R.Yu. (eds) *Russkaya literatura i zarubezhnoe iskusstvo* [Russian literature and foreign art]. Leningrad: Nauka.
6. Genette, G. (1989) *Palimpsesty: literatura vo vtoroy stepeni* [Palimpsests: literature in the second degree]. Moscow: Nauka.
7. Koretskaya, I.V. (2001) Literatura v krugu iskusstv [Literature in the circle of arts]. In: Keldysh, V.A. (ed.) *Russkaya literatura rubezha vekov (1890-e-nachalo 1920-kh gg.): V 2-kh knigakh* [Russian literature at the turn of the century (1890s – early 1920s): In 2 books]. Book 1. Moscow: IMLI RAN.
8. Rubins, M. (2003) "Plasticheskaya radost' krasoty": Ekfrasis v tvorchestve akmeistov i evropeyskaya traditsiya ["The plastic joy of beauty": ekphrasis in the works of Acmeists and the European tradition]. St. Petersburg: Akademicheskii proekt.
9. Sedel'nikova, O.V. (2014) Problems of attribution of A.N. Maikov's articles on exhibitions in the Imperial Academy of Arts. Article One. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 380. pp. 34–40. (In Russian).
10. Sedel'nikova, O.V. (2014) Problems of attribution of A.N. Maikov's articles on exhibitions in the Imperial Academy of Arts. Article Two. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 381. pp. 52–57. (In Russian).
11. Belinsky, V.G. (1953–1959) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V XIII t.* [Complete works and letters: in 13 vols]. Moscow: USSR AS.
12. Sedel'nikova, O.V. (2011) Problem of painting genres in Apollon Maikov's artistic criticism. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 353. pp. 42–47. (In Russian).
13. Maikov, A.N. (2013) *Putevoy dnevnik 1842–43 gg. Ital'yanskaya proza* [A travel diary of 1842–43. Italian prose]. St. Petersburg: Pushkinskiy dom.
14. Sedel'nikova, O.V. (2011) Historical method in Apollon Maikov's articles on exhibitions in the Imperial Academy of Arts. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 346. pp. 36–39. (In Russian).
15. Sedel'nikova, O.V. (2009) Problema sovremennogo soderzhaniya proizvedeniya iskusstva v stat'yakh A. N. Maykova o vystavkakh v akademii khudozhestv [The problem of contemporary art content in A.N. Maikov's articles on exhibitions at the Academy of Fine Arts]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Filologiya. Iskusstvovedenie*. 43 (181). pp. 123–128.
16. Maikov, A.N. (1849) Vystavka v Imperatorskoy Akademii khudozhestv v 1849 godu [The exhibition at the Imperial Academy of Arts in 1849]. *Otechestvennyye zapiski*. LXVII:11:II. pp. 19–40.
17. Maikov, A.N. (1847) Godichnaya vystavka v Imperatorskoy Akademii khudozhestv [The year-long exhibition at the Imperial Academy of Arts]. *Sovremennik*. 11. pp. 57–80.
18. Maikov, A.N. (1850) Vystavka v Imperatorskoy Akademii khudozhestv [The exhibition at the Imperial Academy of Arts]. *Otechestvennyye zapiski*. VXXIII:11:II. pp. 57–74.
19. Maikov, A.N. (1847) Vystavka kartin g. Ayvazovskogo v 1847 godu [The exhibition of paintings of Aivazovsky in 1847]. *Otechestvennyye zapiski*. LI:4:II. pp. 166–176.
20. Dostoevsky, F.M. (1972–1990) *Poln. sobr. soch. i pisem: V 30 t.* [Complete works and letters: in 30 vols]. Leningrad: Nauka.
21. Sedel'nikova, O.V. (2012) V dopolnenie kommentariya k pis'mam F. M. Dostoevskogo A. N. Maykovu (Pis'mo o "poeme" Dostoevskogo i sobytiya russkoy istoriya v tvorcheskoy osmyslenii

Maykova) [In addition to the commentary to letters of F.M. Dostoevsky to A.N. Maikov (Letter on the "poem" of Dostoevsky and events of Russian history in the creative interpretation of Maikov)]. *Sibirskiy filologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 2. pp. 95–103.

22. Maikov, V.N. (1985) *Literaturnaya kritika* [Literary criticism]. Leningrad: Khudozhestvennaya literatura.

23. Mann, Yu.V. (1969) *Russkaya filosofskaya estetika* [Russian philosophical aesthetics]. Moscow: Iskusstvo.

24. Potebnya, A.A. (1892) *Mysl' i yazyk* [Thought and language]. Kharkov.

25. Maikov, A.N. (1853) Godichnaya vystavka v Imperatorskoy Akademii khudozhestv [The year-long exhibition at the Imperial Academy of Arts]. *Otechestvennye zapiski*. XCI:11:II. pp. 21–48.

26. Sedel'nikova, O.V. (2006) *F.M. Dostoevskiy i kruzhok Maykovykh* [Dostoevsky and the Maikovs' circle]. Tomsk: Tomsk Polytechnic University.

УДК 82.091

DOI: 10.17223/19986645/41/14

В.Т. Фаритов

ПАМЯТЬ И ИСТОРИЧНОСТЬ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ ПУШКИНСКОЙ ПОЭЗИИ (ПУШКИН И ЯСПЕРС)¹

В статье осуществляется попытка анализа поэтического наследия А.С. Пушкина в рамках концептуального горизонта экзистенциальной философии К. Ясперса. В качестве основных экзистенциальных мотивов творчества А.С. Пушкина рассматриваются припоминание и историчность. В анализ включаются такие философские категории, как экзистенция, самость, наличное бытие. Выявляется эвристический и методологический потенциал экзистенциальной философии К. Ясперса для анализа произведений русской литературной классики.

Ключевые слова: А.С. Пушкин, К. Ясперс, экзистенциализм, память, историчность, самость, русская литература.

Эвристический потенциал экзистенциальной философии для анализа произведений художественной литературы в настоящее время не вызывает сомнения. Категориальный аппарат и концептуальный горизонт экзистенциализма активно применяются в современном литературоведении и для анализа наследия русской литературы. Преимущественно в рамках названного философского течения исследуются произведения отечественных писателей XX столетия (например, Л. Леонова [1], М. Шолохова [2]). Применительно к русской классике XIX в. стал традиционным анализ экзистенциальных мотивов творчества Ф.М. Достоевского [3] и Ф.И. Тютчева [4]. Однако на наш взгляд, разработки экзистенциальной философской мысли не в меньшей степени релевантны для исследования творчества самого главного классика русской литературы – А.С. Пушкина. И речь здесь идет не только о «русском экзистенциализме» (Н. Бердяеве, Л. Шестове), но и о европейской философии: основные положения учения М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.П. Сартра могут быть весьма продуктивно использованы для исследования философских аспектов наследия Пушкина. Пушкинская поэзия насквозь пронизана экзистенциальными мотивами, для экспликации которых необходимо обращение к базовым постулатам экзистенциальной философии. В качестве теоретической основы исследования мы остановимся на концепции К. Ясперса, чтобы не перегружать наше исследование различными философскими учениями и выдержать единство концептуального горизонта.

Основными экзистенциальными мотивами поэзии Пушкина не являются темы смерти, одиночества, страха и отчаяния. Хотя все эти традиционные рубрики экзистенциалистски ориентированного литературоведения и присутствуют в наследии поэта, но не они составляют корень его философского и художественного мировоззрения. Основные экзистенциальные мотивы поэзии Пушкина – это историчность и память. Как таковые темы истории и па-

¹ Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-34-11045.

мяти в пушкинском творчестве хорошо исследованы – можно сослаться хотя бы на масштабную работу С.А. Кибальника [5] (в которой приведены ссылки на публикации других авторов по теме). Однако в существующих исследованиях рассматриваются не историчность и память как фундаментальные экзистенциалы человеческого бытия, но история как совокупность событий в жизни народов и государств и память как психологическая способность человека. Между тем как категории историчности и памяти в экзистенциальной философии имеют специфически иную смысловую нагрузку.

Экзистенциальное значение феномена памяти в общих чертах можно определить как установку на живое присутствие прошлого в настоящем, как волю к возобновлению и вечному повторению однажды бывшего, однажды увиденного и пережитого. Память – не мертвый груз, но определяющий способ экзистирования человека во времени. Экзистенциальную значимость памяти раскрыл уже Ф. Ницше в одном из своих первых философских сочинений: «Тогда научается он понимать значение слова «было», того рокового слова, которое, знаменуя для человека борьбу, страдание и пресыщение, напоминает ему, что его существование, в корне, есть никогда не завершающееся Imperfectum. Когда же смерть приносит наконец желанное забвение, то она похищает одновременно и настоящее вместе с жизнью человека и этим прокладывает свой путь к той истине, что наше существование есть непрерывный уход в прошлое, т.е. вещь, которая живет постоянным самопожертвованием, самопожиранием и самопротиворечием» [6. С. 89]. Таков экзистенциальный удел человека, существующего во времени как в сфере своего бытия. Время – не внешняя, объективная среда, но и не только внутреннее психологическое переживание. Оно – единство внешнего и внутреннего, прошлого и настоящего (а также и будущего), единство «Я» и мира.

На то обстоятельство, что память составляет корень пушкинского творчества, указывает, например, А.Д. Синявский: «В воспоминании – в узнавании мира сквозь его удаленный в былое и мелькающий в памяти образ, вдруг проснувшийся, возрожденный, – мания и магия Пушкина» [7].

К. Ясперс выделяет три типа припоминания: 1) психологическое припоминание – «память о пережитых событиях, и ситуациях, о вещах и людях» [8. С. 257]; 2) историческое припоминание – усвоение традиции [8. С. 257]; 3) экзистенциальное припоминание – единство прошлого с экзистенцией припоминающего: «В свободном избрании некоторой данности я принимаю на себя в припоминаемом то, что я есмь. Я есмь то, чем я был и чем я хочу быть» [8. С. 258].

Формально у Пушкина представлены все три вида припоминания. При этом первый тип – психологическое припоминание – практически никогда не дан в чистом виде – как простая безучастная и объективная память о прошлых событиях. Сложно представить, чтобы такая память вообще могла найти свое место в поэзии. Любое припоминание у Пушкина – будь то память о событиях его личной жизни или исторического прошлого – экзистенциально окрашено. То есть третий вид припоминания – экзистенциальное припоминание собственно – проступает у поэта сквозь первые два.

Так, психологический тип припоминания представлен в стихотворении 1817 г.:

Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!
Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!
На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас?
От вас беру воспоминанье.
А сердце оставляю вам.
Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям,
Приду под липовые своды,
На скат тригорского холма,
Поклонник дружеской свободы,
Веселья, граций и ума.

Однако уже здесь мы не найдем простого воспоминания о «легкокрылых забавах столь быстро улетевших дней». В первых восьми стихах еще представлено сожаление об ушедшем времени. Но в последующей части стихотворения дается установка на возобновление, возвращение того, что было. Причем запечатленные в памяти особенности ландшафта (поля, «липовые своды», «скат тригорского холма») вступают в нерасторжимую связь с экзистенциальным выбором своего собственного «Я»: Я возвращусь к вашим полям как «поклонник дружеской свободы, Веселья, граций и ума» – т.е., как поэт. Герой стихотворения выбирает свое существование в качестве поэта, полагает его как свою сущность. Это выбор собственной экзистенции: будучи однажды сделанным, он должен постоянно возобновляться в настоящем. Способ такого возобновления и есть воспоминание, позволяющее прошлому живо присутствовать в настоящем. Вспоминая обстоятельства своего прошлого, поэт вспоминает свой выбор самого себя, и этот выбор осуществляется вновь – как это показано в другом стихотворении под названием «Царское село»:

Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений,
О ты, певцу дубрав давно знакомый гений,
Воспоминание, рисуй передо мной
Волшебные места, где я живу душой,
Леса, где я любил, где чувство развивалось,
Где с первой юностью младенчество сливалось
И где, взлелеянный природой и мечтой,
Я знал поэзию, веселость и покой...

Веди, веда меня под липовые сени,
Всегда любезные моей свободной лени,
На берег озера, на тихий скат холмов!..
Да вновь увижу я ковры густых лугов
И дряхлый пук дерев, и светлую долину,
И зланных берегов знакомую картину,
И в тихом озере, средь блещущих зыбей,
Станицу гордую спокойных лебедей.

Описание местности, пейзажные зарисовки снова даны здесь в неразрывном единстве с экзистенцией поэта, а такое единство и есть самость, и есть *историчность*: «Данное, ситуация, задачи получают тот смысл, что каждое, в

его частной *определенности* и *особенности*, становится мною самим. То, от чего я отличал себя, унижая его до значения простого существования, становится мною самим, как моим *явлением*. Это мое единство с моим существованием как явлением есть моя *историчность*, уяснение его – *историческое сознание*» [9. С. 123]. В тексте представлены не просто места, но места, «где я живу душой», не просто леса, но леса, «где я любил, где чувство развивалось», а липовые сени предстают как «любезные моей свободной лени». «Ковры густых лугов», «пук деревьев», «светлую долину» поэт хочет увидеть *вновь* – ключевое слово, выражающее характер пушкинского отношения к прошлому. Это экзистенциальное волеизъявление «да вновь увижу я» обращено не к физическому возвращению (которое зависит от внешних обстоятельств и как таковое может и не произойти по самым разным причинам), но к воспоминанию (см. первую строфу текста), осуществляющему активное присутствие прошлого в настоящем. В воспоминании поэт свободен – он свободен во всем внешнем и некогда бывшем находить самого себя, свой собственный исток, свой выбор, свою самость. Прошлое становится настоящим, внешнее – внутренним.

Это экзистенциальное припоминание прошлого как истока своей собственной экзистенции с еще большей силой представлено в начале восьмой главы «Евгения Онегина»:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: муза в ней
Открыла пир молодых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.

Философское содержание этой, а также последующих пяти строф можно представить в формуле Ясперса: «Я есмь то, чем я был и чем я хочу быть» [8. С. 258]. Это постоянное искание истоков своего духовного становления, постоянное стремление к активному и живому возобновлению опыта самосозидания пронизывает все творчество поэта. Память здесь – экзистенциальная свобода и одновременно экзистенциальная необходимость. Осуществив раз – в определенный момент прошлого – экзистенциальный выбор самого себя, он должен вновь и вновь прилагать усилия по возобновлению и поддержанию этого выбора в течение времени. В противном случае время, всякий раз открывающее новые горизонты возможностей, новые повороты судьбы, безжалостно рассеет этот созданный образ самого себя. Течение времени должно быть преобразовано, собрано воедино творческой волей поэта. Настоящее должно постоянно пронизываться лучами прошлого в модусе экзистенциального припоминания:

Зорю бьют... из рук моих
Ветхий Данте выпадает,
На устах начатый стих
Недочитанный затих –
Дух далече улетает.
Звук привычный, звук живой,
Сколь ты часто раздавался
Там, где тихо развивался
Я давнишнюю порой.

Пушкин формирует свой миф о вечном возвращении. В его поэзии этот миф может получать самое разнообразное воплощение. В заключительном стихотворении «Подражаний Корану» возвращение минувшего представлено как чудо:

И чудо в пустыне тогда совершилось:
Минувшее в новой красе оживилось;
Вновь зыблется пальма тенистой главой:
Вновь кладязь наполнен прохладой и мглой.

В стихотворении «Кто видел край, где роскошью природы» этот мотив изображен как стремление к повторению уже бывшего в будущем, определяющее существование поэта в настоящем:

Минувших лет воскреснет ли краса?
Приду ли **вновь** под сладостные тени
Душой уснуть на лоне мирной лени?

Наконец, в стихотворении «...Вновь я посетил» возвращение представлено как реальное событие – как экзистенциальное воспоминание:

Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечер еще бродил
Я в этих рощах.

В конце концов, становится ясно, что эта воля к вечному возвращению, это экзистенциальное припоминание и есть сама поэзия. Именно поэзия обеспечивает постоянное возобновление экзистенции поэта в череде сменяющих друг друга мгновений – даже тогда, когда физическое существование поэта уже прекратится:

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

В «Воспоминаниях в Царском селе» 1829 г. мы находим один из самых ярких примеров ситуации, когда экзистенциальное припоминание вступает в тесное переплетение с припоминанием историческим. Первые три строфы стихотворения описывают опыт экзистенциального припоминания – герой *вновь* переживает и возобновляет истоки своего экзистенциального выбора:

Вновь нежным отроком, то пылким, то ленивым,
Мечтанья смутные в груди моей тая,
Скитаюсь по лугам, по рощам молчаливым,
Поэтом забываюсь я.

Однако в последующих строфах происходит существенное расширение и углубление припоминания: теперь оно охватывает историческое прошлое, которое раскрывается в модусе «вновь»:

И ввявь я вижу пред собою
Дней прошлых гордые следы.

Так совершается переход от экзистенциального припоминания к историческому. По Ясперсу, сущность последнего заключается в способности человека «постигать находящееся вне его пределов бытие, которое было, когда его самого еще не было. Я расширяюсь за предел того существования, которое есмь я сам, в неограниченные отрезки времени» [8. С. 257]. В таком припоминании «Я» постигает в качестве своего экзистенциального истока то, что выходит за временные границы его собственного наличного бытия. Происходит сопряжение «Я» и Другого, причем в этом Другом «Я» находит самого себя:

Среди святых воспоминаний
Я с детских лет здесь возрастал,
А глухо между тем поток народной брани
Уж бесновался и роптал.

Историческое припоминание предполагает установку на раскрытие в настоящем следов прошлого. Причем эти следы обнаруживают себя как живые возможности экзистенции, на что указывает Ясперс: «Историчное припоминание, будучи само живым бытием, схватывает прошедшее как еще живо присутствующую действительность не вполне определившихся возможностей» [8. С. 258]. Пушкин пришел к такому экзистенциальному переживанию истории достаточно рано — уже в стихах лицейского периода мы находим образцы подобного исторического припоминания:

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горестей и бед,
И вы их видели, врагов моей отчизны!
И вас багрила кровь и пламень пожирал!
И в жертву не принес я мщенья вам и жизни;
Вотще лишь гневом дух пылал!..

Мотив исторического припоминания также проходит через все творчество Пушкина. Война с Наполеоном, славные дела Петра, пугачевский бунт — все эти события обретают смысл подлинного истока и внутреннего содержания экзистенции поэта.

Как особую разновидность исторического припоминания мы можем выделить припоминание литературное. Литература является частью истории

экзистенциального самосознания народов и эпох. Поэтому литературные образы и сюжеты также подлежат экзистенциальному возобновлению в качестве присутствующих в действительности возможностей. Так, в «Воспоминаниях в Царском селе» 1829 г. присутствует сразу несколько пластов литературной памяти. Во-первых, этот текст отсылает к стихотворению Пушкина лицейского периода, имеющему аналогичное название, стихотворный размер и тематику. В свою очередь, текст 1814 г. отсылает к поэзии Державина – стилистически, лексически и по духу. Возобновляются не только исторические события военной славы России, но и связанная с той эпохой атмосфера поэтического творчества:

Державин и Петров Героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.

Однако пласт литературных отсылок «Воспоминаний» 1829 г. этим не ограничивается. Все стихотворение, помимо прочего, представляет собой парафраз на «Я помню чудное мгновенье...». Последний текст может быть рассмотрен в качестве архетипа, кода всей пушкинской поэзии, который получает разнообразное преломление в других текстах поэта. Так, в пародийном ключе структура и содержание «Я помню чудное мгновенье...» получает воплощение в следующем стихотворении:

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И вспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.
Хоть я грустно очарован
Вашей девственной красотой,
Хоть вампиром именован
Я в губернии Тверской,
Но колен моих пред вами
Преклонить я не посмел
И влюбленными мольбами
Вас тревожить не хотел.
Упиваясь неприятно
Хмелем светской суеты,
Позабуду, вероятно,
Ваши милые черты,
Легкий стан, движений стройность,
Осторожный разговор,
Эту скромную спокойность,
Хитрый смех и хитрый взор.
Если ж нет... по прежнему следу
В ваши мирные края
Через год опять заеду
И влюблюсь до ноября.

Текст построен на тех же мотивах памяти и забвения, что и хрестоматийное стихотворение 1825 г. Те же «милые черты», та же «суета». И рассматриваемый нами текст 1829 г. построен на тех же самых мотивах памяти и забвения. В первой строфе также задается определяющий мотив памяти: «Воспоминаниями смущенный» – «Я помню чудное мгновенье». Во второй строфе – забвение, утрата, вызванные все той же суетой:

В пылу восторгов скоротечных,
В бесплодном вихре суеты,
О, много расточил сокровищ я сердечных
За недоступные мечты.
(1829)

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты...
(1825)

Также сквозь вихрь и тревоги суеты проступает воспоминание «первоначальных, чистых дней» – формулировка из стихотворения 1819 г. под названием «Возрождение»:

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

Возрождение – это восстановление самости, которая рассеивается в наличном бытии и собирается вновь посредством припоминания и историчности.

Наконец, в «Воспоминаниях» 1829 г. выделяется еще один реминисцентный пласт:

Так отрок библии, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев наконец родимую обитель,
Главой поник и зарыдал.

Припоминание уходит вглубь времен к библейскому сюжету. Не это ли виденья «первоначальных, чистых дней»? Но ведь и в Евангелии речь идет только о притче, которая, в свою очередь, отсылает к другому сюжету, к другому преданию – к Книге Бытия, мифу о грехопадении. Исток экзистенциальных ситуаций уходит очень глубоко, но сами ситуации непрестанно возобновляются.

У Пушкина представлен и другой способ экзистенциального переживания истории, отличающийся от экзистенциального припоминания. Это – переход от истории к вечности. «Мгновение как тождество временности и безвременности есть углубление фактического мгновения до *вечного настоящего* (ewige Gegenwart) [9. С. 128]. В стихотворении «К вельможе» история показана в своем наличном бытии как «вихорь бури», как слепая судьба, безжалостно истребляющая былое:

Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот,
Энциклопедии скептической причот,
И колкой Бомарше, и твой безносый Касти,
Все, все уже прошли. Их мнения, толки, страсти
Забыты для других. Смотри: вокруг тебя
Всё новое кипит, былое истребя.

В этом потоке времени удержать свое самостное бытие может лишь тот, кто в состоянии раскрывать присутствие вечности в текущих моментах существования:

Один всё тот же ты. Ступив за твой порог,
Я вдруг переносусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры, и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты музам в тишине,
Что ими в праздности ты дышишь благородной.
Я слушаю тебя: твой разговор свободный
Исполнен юности. Влиянье красоты
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты
И блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой.
Беспечно окружась Корреджием, Кановой,
Ты, не участвуя в волнениях мирских,
Порой насмешливо в окно глядишь на них
И видишь оборот во всем кругообразный.

Эта вечность находится не в загробном мире ожидаемого посмертного бытия, но проступает непосредственно сквозь череду исторических событий и перипетий личной жизни. Обреченному на исчезновение существованию в одном настоящем поэт противопоставляет «длительность как непрерывность смысла» [9. С. 153], как единство настоящего, прошлого и будущего, как присутствие вечности в мгновении.

Осознание этого неизбежного единства становящегося и преходящего с наличным существованием вызывает тоску. Источник этой экзистенциальной тоски – та же историчность, в которой «пребывающее становится ничтожным, а исчезающее – явлением бытия» [9. С. 257]. Но у Пушкина эта тоска – светла, поскольку исчезновение уравновешено воспоминанием:

Прошли за днями дни. Сокрылось много лет.
Где вы, бесценные создания?
Иные далеко, иных уж в мире нет,
Со мной одни воспоминанья.

И то, что было однажды, будет вновь:

Я думал, сердце позабыло
Способность легкую страдать,
Я говорил: тому, что было,
Уж не бывать! уж не бывать!
Прошли восторги, и печали,
И легковые мечты...
Но вот опять затрепетали
Пред мощной властью красоты.

Таков смысл памяти и историчности как основных экзистенциальных мотивов творчества Пушкина. Таков экзистенциальный контекст художественного и философского мирозерцания Пушкина. Результатом проведенного исследования стало, во-первых, углубление вариантов прочтения философского содержания пушкинского наследия и, во-вторых, раскрытие эвристического и методологического потенциала экзистенциальной философии для анализа произведений художественной литературы.

Литература

1. Дырдин А.А. Проза Л. Леонова: Метафизика мысли. М.: Синергия, 2012. 294 с.
2. Костин Е. Шолохов forever. Вильнюс: ВАГА, 2013. 256 р.
3. Лесевецкий А.В. Конфликт индивидуального и социального в экзистенциальной философии Ф.М. Достоевского. Пермь: ОТ и ДО, 2011. 192 с.
4. Баевский В.С. Тютчев: поэзия экзистенциальных переживаний // Изв. Рос. Акад. наук. Сер. лит. и яз. 2003. № 6. С. 1–10.
5. Кибальник С.А. Художественная философия. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. 200 с.
6. Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Полн. собр. соч.: в 13 т. Т.1/2: Несвоевременные размышления. Из наследия 1872–1873 гг. М., 2013. С. 83–173.
7. Синяевский А.Д. Прогулки с Пушкиным [Электронный ресурс]: Электронная библиотека RoyalLib.com. URL: http://royallib.com/book/terts_abram/progulki_s_pushkinim.html (дата обращения: 07.02.2016).
8. Ясперс К. Философия. Книга третья. Метафизика. М.: Канон+: РООИ «Реабилитация», 2012. 296 с.
9. Ясперс К. Философия. Книга вторая. Просветление. М.: Канон+: РООИ «Реабилитация», 2012. 448 с.

MEMORY AND HISTORICITY AS EXISTENTIAL MOTIFS OF PUSHKIN'S POETRY (PUSHKIN AND JASPERS)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2016. 3 (41). 170–180. DOI: 10.17223/19986645/41/14

Faritov Vyacheslav T., Ulyanovsk State Technical University (Ulyanovsk, Russian Federation).

E-mail: vfar@mail.ru

Keywords: Alexander Pushkin, Jaspers, existentialism, memory, historicity, self, Russian literature.

The main existential motifs of Pushkin's poetry are not the themes of death, loneliness, fear and despair. Although these traditional categories of existential literary criticism are present in the poet's work, they do not form the root of his philosophical and artistic outlook. The basic existential motifs of Pushkin's poetry are historicity and memory. The existential value of the memory phenomenon can be broadly defined as the orientation on the living presence of the past in the present, as the will to renewal and eternal repetition of the once gone, once seen and experienced. Memory is not a dead weight, but the determining method of the existence of man in time. Jaspers identifies three types of recall: 1) psychological recall; 2) historical recollection; 3) existential recall involving the unity of the past and the existence of the recalling person.

Formally Pushkin represented all three types of recall. The first type – psychological recall – is almost never given in its pure form as a mere indifferent and objective memory of past events. It is difficult to imagine that this memory could even find its place in poetry. Any Pushkin's recall – be it the memory of the events of his personal life or of the historical past – is existentially colored. That is the third type of recall – existential recall – emerges through the first two in Pushkin's works. In remembrance the poet is free: he is to find himself, his own source, his choice, his self in the external and in the past. The past becomes the present, the external becomes internal. This constant search for the origins of his spiritual formation, ongoing commitment to active living and the resumption of self-experience permeates all the works of the poet. Memory here is existential freedom and at the same time an existential necessity. Having made an existential choice himself once, at some point in the past, he must make efforts to resume and maintain this option for the time again and again. Otherwise, the time that opens up new opportunities, new adventures will ruthlessly dissipate the generated image of oneself. The flow of time has to be transformed, brought together by the creative will of the poet. The present must always be threaded by the rays of the past in the mode of existential recall. In *Memoirs in Tsarskoye Selo* (1829), we find one of the most striking examples of a situation where existential recall is closely interlaced with historical recollection. In this recollection "I" perceives what goes beyond the temporal limits of his own real being as its existential source. There is an association of "I" and The Other, and "I" finds itself in The Other.

References

1. Dyrdin, A.A. (2012) *Proza L. Leonova: Metafizika mysli* [The prose of L. Leonov: Metaphysics of thought]. Moscow: Sinergiya.
2. Kostin, E. (2013) *Sholokhov forever*. Vilnius: VAGA. (In Russian).
3. Lesevitskiy, A.V. (2011) *Konflikt individual'nogo i sotsial'nogo v ekzistentsial'noy filosofii F.M. Dostoevskogo* [The conflict of the individual and the social in the existential philosophy of F.M. Dostoevsky]. Perm: OT i Do.
4. Baevskiy, V.S. (2003) Tyutchev: poeziya ekzistentsial'nykh perezhivaniy [Tyutchev: Poetry of existential experiences]. *Izvestiya Rossiyskoy akademii nauk. Seriya literatury i yazyka*. 6. pp. 1–10.
5. Kibal'nik, S.A. (1998) *Khudozhestvennaya filosofiya A.S. Pushkina* [The Art Philosophy of A.S. Pushkin]. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin.
6. Nietzsche, F. (2013) O pol'ze i vrede istorii dlya zhizni [On the Use and Abuse of History for Life]. In: Nietzsche, F. *Polnoe sobranie sochineniy: V 13 tomakh* [Complete Works: in 13 vols]. Vols 1/2. Translated from German. Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya.
7. Sinyavskiy, A.D. (1966–1968) *Progulki s Pushkinym* [Walking with Pushkin]. [Online]. Available from: http://royallib.com/book/terts_abram/progulki_s_pushkinim.html. (Accessed: 07 February 2016).
8. Jaspers, K. (2012) *Filosofiya. Kniga tret'ya. Metafizika* [Philosophy. Book Three. Metaphysics]. Translated from German. Moscow: Kanon+, Reabilitatsiya.
9. Jaspers, K. (2012) *Filosofiya. Kniga vtoraya. Prosvetlenie ekzistentsii* [Philosophy. Book Two. Enlightening existence]. Translated from German. Moscow: Kanon+, Reabilitatsiya.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

БЛОХИН Александр Викторович – канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка Государственного гуманитарно-технологического университета (г. Орехово-Зуево).
E-mail: avb6767@mail.ru

БОГОЯВЛЕНСКАЯ Юлия Валерьевна – канд. филол. наук, доцент кафедры романских языков Уральского государственного педагогического университета (г. Екатеринбург).
E-mail: jvbog@yandex.ru

ЖУЧКОВА Анна Владимировна – канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Российского университета дружбы народов (г. Москва).
E-mail: sapra@mail.ru

КОЗЛОВ Алексей Евгеньевич – канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета.
E-mail: alexey-kozlov@rambler.ru

КРАВЧЕНКО Александр Владимирович – д-р филол. наук, зав. кафедрой иностранных языков Байкальского государственного университета (г. Иркутск).
E-mail: sashakr@bgu.ru / sashakr@hotmail.com

НЕЛЮБИНА Марина Сергеевна – аспирант кафедры романских языков Уральского государственного педагогического университета (г. Екатеринбург).
E-mail: maranelubina@rambler.ru

ПЛЕХАНОВА Ирина Иннокентьевна – д-р филол. наук, профессор кафедры новейшей русской литературы Иркутского государственного университета.
E-mail: oembox@yandex.ru

РЕЗАНОВА Зоя Ивановна – д-р филол. наук, зав. кафедрой общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета; профессор кафедры русского языка как иностранного Томского политехнического университета.
E-mail: resso@rambler.ru / resso@mail.tsu.ru

РЫБАЛЬЧЕНКО Татьяна Леонидовна – канд. филол. наук, доцент кафедры истории русской литературы XX века Томского государственного университета.
E-mail: talery.48@mail.ru

СЕДЕЛЬНИКОВА Ольга Викторовна – д-р филол. наук, доцент кафедры русского языка как иностранного Томского политехнического университета.
E-mail: sedelnikovaov@tpu.ru

СКРИПКО Юлия Константиновна – аспирант кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета.
E-mail: freundvolkes@gmail.com

ТВЕРДОХЛЕБ Ольга Геннадьевна – канд. филол. наук, доцент кафедры языкознания и методики преподавания русского языка Оренбургского государственного педагогического университета.
E-mail: ogtwrld@gmail.com

ТОЛСТИК Светлана Александровна – канд. филол. наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета.
E-mail: stolstik@mail.ru

ЧЕРНЯВСКАЯ Валерия Евгеньевна – д-р филол. наук, зав. научно-исследовательской лабораторией «Лингвистические технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
E-mail: tcherniavskaia@rambler.ru

ФАРИТОВ Вячеслав Тависович – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ульяновского государственного технического университета.
E-mail: vfar@mail.ru

ЯКОБА Ирина Александровна – канд. социол. наук, доцент кафедры иностранных языков для технических специальностей № 1 Иркутского технического университета.
E-mail: irina_yakoba@mail.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология» был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29496 от 27 сентября 2007 г.), ему присвоен международный стандартный номер сериального издания (ISSN 1998-6645).

«Вестник ТГУ. Филология» выходит 6 раз в год и распространяется по подписке, его подписной индекс – 44041 в объединённом каталоге «Пресса России». Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе. Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Редакция не вступает с авторами переписку по методике написания и оформления научных статей и не занимается доведением статей до необходимого для публикации уровня.

Редакция может не разделять точку зрения авторов статей. Ответственность за содержание публикуемых материалов несет автор. При любом использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет.

Телефон 8(382-2)52-96-67

Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.

E-mail: katunin@mail.tsu.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОЛОГИЯ**

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

2016. № 3(41)

Редактор *Т.В. Зелева*
Редактор-переводчик *В.В. Капустур*
Оригинал-макет *Г.П. Орловой*
Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Подписано в печать 13.06.2016 г. Формат 70х100 ¹/₁₆.
Печ. л. 11,25; усл. печ. л. 15,75; уч.-изд. л. 15,55.
Тираж 500 экз. Заказ 1902

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru